В. А. МАКЛАКОВ

РѢЧИ

СУДЕБНЫЯ, ДУМСКІЯ И ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ
1904-1926

С ПРЕДИСЛОВІЕМ М. А. АЛДАНОВА

ИЗДАНІЕ ЮБИЛЕЙНАГО КОМИТЕТА
1869-1949

ПАРИЖ
1949

В. А. МАКЛАКОВ

РѢЧИ

СУДЕБНЫЯ, ДУМСКІЯ И ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ
1904 - 1926

С ПРЕДИСЛОВІЕМ М. А. АЛДАНОВА

ИЗДАНІЕ ЮБИЛЕЙНАГО КОМИТЕТА
1869 - 1949

ПАРИЖ
1949

ОТ КОМИТЕТА

В виду отказа В. А. Маклакова от публичнаго чествованія его по поводу исполнившагося его 80-лѣтія, Комитет рѣшил ознаменовать эту жизненную грань изданіем сборника из нѣкоторых его рѣчей и статей. Но выбор их поневолѣ опредѣлялся силой вещей. Не было смысла перепечатывать то, что было напечатано здѣсь, и что легко можно было найти. Но того, что было сказано или напечатано в Россіи до революціи, достать здѣсь было часто уже почти невозможно. Достаточно сказать, что здѣсь не было даже комплектов стенограмм Государственной Думы, не говоря о газетах и сборниках. Приходилось ограничиваться тѣм, что удавалось найти.

Этим больше всего объясняется выбор того, что печатается. Всѣ рѣчи и статьи помѣщены в хронологическом порядкѣ и естественно распадаются на три періода: період дореформенной старой Россіи до введенія конституціи, період конституціонной монархіи и эпоха первой міровой войны. Послѣ нея уже идет эмиграція. Из этого послѣдняго періода, в видѣ исключенія, причины котораго сейчас очень понятны, печатается только рѣчь на праздникѣ Русской Культуры ("Русская культура и Пушкин"), произнесенная в 1926 г. Всему сборнику предпослано предисловіе М. А. Алданова.

Юбилейный Комитет.

К 80-ЛѢТІЮ В. А. МАКЛАКОВА

I.

В одном из лучших европейских энциклопедических словарей, в общей статьѣ об адвокатурѣ в мірѣ, сказано: "В Россіи адвокатов мало; их назначает правительство; они никогда не выступают публично; роль их заключается в том, чтобы составлять записи и посѣщать судей. И гражданское, и уголовное судопроизводство секретны; вопросы об имуществѣ, о свободѣ, о жизни и смерти рѣшаются помимо адвокатуры".

Это сказано об адвокатурѣ императорскаго періода. Правда, словарь довольно старый, но им постоянно пользуются и теперь. Конечно, автор этого сообщенія добыл свои свѣдѣнія из источника еще болѣе стараго, относившагося, вѣрно, к царствованію Павла I. Такія же свѣдѣнія и теперь печатаются о недавнем русском прошлом часто. Никакой злой воли тут нѣт. Злая воля в замалчиваніи всего хорошаго в Россіи была лишь у очень немногих европейцев. Фридрих II ругал Вольтера за то, что он вообще стал писать о "странѣ волков и медвѣдей". В письмѣ к д-Аламберу Вольтер, имѣя в виду Семилѣтнюю войну, замѣтил, что "русскіе в Берлинѣ однако вели себя медвѣдями очень благовоспитанными".

Вышинскій объявил, что совѣтскій судья, в случаѣ столкновенія между законом и генеральной линіей партіи, должен без колебанія руководиться партійными предписаніями; они и составляют высшій закон. По этому поводу западныя газеты писали, что Вышинскій слѣдует традиціям русскаго до-революціоннаго суда. В дѣйствительности, уж если можно тут говорить о традиціи, то скорѣе о западно-европейской: в сущности, Вышинскій повторил 8-ю статью террористическаго закона 22 преріаля: «La règle des jugements est la conscience des juges éclairés par l'amour de la patrie; leur but — le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis».

Европа плохо знала Россію. Не очень хорошо и Россія знала Европу, — только любила ее гораздо больше, почти всѣм европей-

ским в послѣднія два столѣтія восхищалась, почти всѣх европейцев принимала радушно*). Даже за клевету обижалась не так уж сильно. Теперь это очень измѣнилось.

Конечно, до-революціонный русскій суд (за исключеніем сравнительно рѣдких случаев) был судом превосходным — по серьезности тона, по дѣловитости, по внимательному отношенію к подсудимым, по совершенному безпристрастію предсѣдателя. Суд никогда не превращался в балаган, с грубѣйшей бранью между сторонами. Дает ли однако клевета право на "перегибаніе палки"? Много лѣт тому назад я был в Парижѣ на докладѣ извѣстнаго русскаго адвоката; он дѣлился своими воспоминаньями о петербургской адвокатурѣ: всѣ адвокаты были безупречные рыцари, безкорыстные защитники вдов и сирот. Я выходил из зала вмѣстѣ с В. А. Маклаковым. Он развел руками и сказал: "Все-же, как ему не стыдно так врать?"

Тут сказалась одна из самых привлекательных особенностей Василія Алексѣевича: его органическая нелюбовь к неправдѣ — не к "неправдѣ" в каком-либо поэтическом смыслѣ вродѣ "кривды", а просто к искаженіям, к преувеличеніям, к умолчаніям, к односторонности, к невѣрному освѣщенію событій, ко всему тому, что нехорошо выражается словом "тенденціозность". Он один из самых искренних и правдивых людей, каких мнѣ когда-либо приходилось встрѣчать. И, как ни странно, именно эта его черта положила начало совершенно невѣрной легендѣ: "Маклаков? Он и правый и лѣвый, и кадет и не кадет, и либерал и консерватор, он не хочет ссориться ни с кѣм". — В дѣйствительности В. А., будучи либералом, не хотѣл — а может быть, и не умѣл — замалчивать то, что ему в либералах не нравилось. Думаю, что эта черта не только не была ему полезна, но чрезвычайно ему вредила в его политической жизни: "грести против теченія" — дѣло неблагодарное: "теченіям" это очень не нравится. Если-б В. А. хотѣл, Столыпин, навѣрное, предложил бы ему должность министра. Еще легче ему было бы стать министром послѣ революціи (об этом дальше). Но, как кратко сказано в его автобіографіи, он "ни ученых степеней, ни чинов, ни знаков отличія никогда не имѣл".

Мог бы имѣть все это. Немного найдется людей столь необыкновенно одаренных. И друзья, и недоброжелатели согласятся, что тут дѣло не только в громадном ораторском талантѣ В. А. С этим даром у него счастливо сочетаются рѣдкій ум, большія разносторонныя по-

---

*) Бывали и курьезы. Немногим извѣстно, что должность ректора Петербургскаго университета долго занимал при Николаѣ I принявшій русскую фамилію француз, который в молодости был секретарем Робеспьера.

знанія, исключительная память, столь же исключительное личное обаяніе. Маклаков был лучшим украшеніем русской адвокатуры 20-го столѣтія. Но, признаюсь, мнѣ трудно понять, как он вообще мог стать адвокатом.

Андре Зигфрид прочел лекцію о знаменитых ораторах послѣдняго полустолѣтія. Он дѣлит их на три разряда. Первые ставили себѣ задачей волновать (émouvoir), — из них лучшими были Клемансо и Бріан. Вторые старались убѣждать (convaincre),— тут никого нельзя было сравнивать с Анри Робером и с Вальдек-Руссо. Третьи заботились преимущественно о том, чтобы освѣдомлять (informer); эти третьи, не "настоящіе", обыкновенно профессора, — между ними Зигфрид первое мѣсто отводит Брюнетьеру и Альберу Сорелю. Лекція была на рѣдкость блестящая, но, вѣроятно, далеко не всѣ согласятся с одним из основных положеній Зигфрида: ораторы двух первых разрядов (т. е. "настоящіе") всегда так или иначе "лгут". Это не мѣшает им быть искренними и правдивыми людьми. Не лгать они не могут: в любом дѣлѣ есть сильныя и слабыя стороны; задача настоящаго оратора прежде всего заключается в том, чтобы утаить слабыя и преувеличить важность сильных. У каждаго из больших мастеров дѣла, по словам Зигфрида, была для этого своя "система". Так, Вальдек-Руссо в первые полчаса каждой своей рѣчи всегда говорил чистѣйшую правду, — разумѣется, о сильных сторонах своего дѣла. Слушатели мысленно провѣряли его слова и понемногу проникались довѣріем: все правда, ни единаго слова лжи. Через полчаса Вальдек-Руссо начинал "уклоняться от истины", сначала очень осторожно, — "процентов на десять, не больше". Но довѣріе слушателей уже было завоевано, а их способность к критическому сужденію утомлена. Под конец рѣчи Вальдек-Руссо мог "уклоняться от истины" как угодно и почти всѣ свои процессы выигрывал. Его вѣчный соперник Пуанкаре кипѣл от негодованія, — однако "он и в сравненіе не мог идти с Вальдек-Руссо, как адвокат".

Другая система была у Анри Робера, короля уголовных защитников. Он произвел революцію во французском судебном краснорѣчіи. Революція заключалась прежде всего в том, что он никогда не говорил больше получаса: находил, что за полчаса можно сказать рѣшительно все, что дольше присяжные слушать не могут и не хотят, что длинныя рѣчи их раздражают: защитник считает их дураками, которым надо все разжевать. Между тѣм, в судѣ самое важное понять душу присяжнаго и обольстить его; Анри Робер "убѣждал", но убѣждал по-своему. — Я помню, — разсказывал Зигфрид *), — как он выступал по безнадежному дѣлу какого-то ар-

*) Цитирую по памяти.

тиста, ни за что ни про что совершившаго убійство. Во время процесса Анри Робер никого не слушал, все только изучал присяжных. Когда дѣло дошло до него, он встал и поговорил минут двадцать, очень просто, не повышая голоса, без всякаго подъема, — как будто разговаривал с друзьями. Приблизительный смысл его зачаровывавшей рѣчи был таков: да, убил, ах как жаль, однако войдите же в его положеніе: он артист, он южанин, хорошій человѣк, но с горячей кровью; тот его оскорбил, не дал ему безплатнаго пропуска на спектакль, а он в этом театрѣ прослужил нѣсколько лѣт, каково же ему было? На бѣду у него в карманѣ был револьвер, такая досада, разумѣется он выстрѣлил, тот умер, очень жаль, тот тоже был хорошій человѣк, ах, зачѣм он ему не дал билета! Да развѣ он хотѣл его убить? Он артист, южанин, горячая кровь, отличный человѣк; вы тоже хорошіе люди, неужели вы его сошлете на каторжныя работы? Конечно, нѣт, вы должны его оправдать; пожалуйста, оправдайте его. — Поговорил и сѣл. Никто не понимал, что такое происходит; это не была защитительная рѣчь, это было просто чудо. Присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Дѣлаю поправку на остроуміе Андре Зигфрида и на то, что вызвавшую, по его словам, общее остолбенѣніе рѣчь Анри Робера он слышал давно. Вѣроятно, в рѣчи было не только это. Быть может, Зигфрид и слишком заострил свое положеніе: ораторское искусство строится на лжи. Можно было бы однако сослаться на другое, косвенное свидѣтельство. Русская классическая литература, со своей крайней правдивостью, никогда адвокатов не любила. В русской литературѣ есть немало симпатичных убійц, но нѣт ни одного симпатичнаго адвоката. Несправедливо? Да, несправедливо. Она не любила суд вообще и в его изображеніи обычно шла "по линіи наименьшаго сопротивленія". В двух знаменитѣйших романах о нем, в "Братьях Карамазовых" и в "Воскресеніи", происходит судебная о ш и б к а. Все-же, как бы к суду ни относиться, судебныя ошибки происходили не каждый день. "Все понять — все простить"? Но Достоевскій был консерватор и проповѣдывал спасительность наказанія. Толстой, правда, был анархист и отрицал всякое насиліе. Однако, из его многочисленных военных всѣ солдаты и три четверти офицеров очень привлекательны, во всяком случаѣ в сто раз привлекательнѣе адвокатов из "Анны Карениной" и "Воскресенія". Он даже не вполнѣ отражал здѣсь народную мудрость: "То-то закон, как судья знаком"... "Законы святы, да судьи супостаты"... "Не бойся закона, бойся законника" и т. д. Эти изреченія все же больше относятся к судьям, чѣм к защитникам. Между тѣм, как правильно указал Маклаков в своей превосходной рѣчи "Толстой и суд", раздраженіе Толстого в большей степени направлено против адвокатов, чѣм против судей и даже чѣм против прокуроров.

Вот что говорит об этом странном фактѣ сам В. А.: "Адвокаты

люди безпринципные. Я говорю это не в том дурном смыслѣ слова, каким клеймят человѣка, который измѣняет свои убѣжденія. У адвоката просто их нѣт: он хорошо понимает, что во всем двѣ стороны, что обо всем можно спорить; в нем развивается только искусство спорить, обнаруживать то, чего другіе не видят. Но истин и положеній неопровержимых, безспорных для него почти не существует. Посмотрите на адвоката на консультаціи; там, гдѣ ему нужно сказать свое убѣжденіе, он безпомощен, он теряется. Он хорошо знает, что все можно двояко рѣшить: и только, когда ему скажут, чего от него ждут, что желательно, тогда он оживляется и становится на твердую почву. Это свойство адвокатуры, в котором не адвокаты повинны, а самая их профессія; она является типичной профессіональной болѣзнью, она же в значительной мѣрѣ объясняет и роль адвоката в политической жизни, там, гдѣ новыя условія этой жизни предъявляют на них усиленный спрос. Условіями адвокатскаго профессіональнаго воспитанія объясняется та выдающаяся роль, которую они играют в политической жизни страны, и в то же время вредное их вліяніе в ней".

Все это сужденіе необычно и парадоксально. Безпощадно могли говорить об адвокатурѣ Толстой или Наполеон (только в этом эти два человѣка и сходились). Я не помню однако, чтобы подобныя сужденія когда-либо высказывал знаменитый адвокат. Эти слова В. А. в свое время вызвали раздраженіе у его товарищей по профессіи: О. О. Грузенберг гнѣвно высказался о них в печати. Конечно и об адвокатурѣ тоже можно судить "двояко". Но трудно понять, как В. А. Маклаков мог стать адвокатом с такими чувствами и мыслями. Правда, стал он им не сразу: сначала три года проходил в университетѣ курс по естественному факультету, затѣм окончил по историко-филологическому и лишь позднѣе экстерном выдержал экзамен по юридическому.

Конечно, он не мог не сдѣлать блистательной карьеры, хотя конкуренція была очень сильной: в Петербургѣ, в Москвѣ, даже в провинціальных городах Россіи было немало прекрасных адвокатов. "Криминалист это тот, кто не знает гражданскаго права", — такое слово приписывают Пассоверу. По полной своей некомпетентности, не могу судить, но я слышал, что В. А. Маклаков знал и гражданское право. Говорил это знаменитый "цивилист", который, по слухам, знал на память всѣ сенатскія рѣшенія (с пользой проведенная человѣческая жизнь). Маклаков еще до Думы считался одним из лучших ораторов Россіи, впослѣдствіи он стал самым лучшим.

Я нѣсколько раз слышал его в судебных процессах, — по случайности, лишь в таких, в которых он, вопреки Зигфриду и самому себѣ, мог говорить одну чистѣйшую правду. Какія "двѣ стороны" могли быть, например, в московском процессѣ толстовцев или в дѣлѣ Бейлиса? Конечно, как всѣ адвокаты, В. А. выступал и в дѣ-

лах другого рода. Интересно было бы узнать, как в подобных случаях справлялся со своей задачей этот столь правдивый человѣк. По той же причинѣ (далеко не все я слышал и в Государственной Думѣ) мнѣ нелегко было бы опредѣлить особенности его краснорѣчія.

Форма? Есть правила, есть даже руководства. Сначала в важном мѣстѣ рѣчи идет "жест", привлекающій вниманіе слушателей; за ними слѣдует "интонація" — сейчас скажу нѣчто чрезвычайно важное; затѣм бросается "мысль", и все завершается вторым, побѣдоносным жестом. Я часто это наблюдал у знаменитых ораторов, и обычно это бывало ни к чему. Тут самый лучшій адвокат или политическій дѣятель все равно очень высоко подняться и не может. Жорес жестикулировал всегда одинаково и нисколько не красиво: поднимал обѣ руки и одновременно с силой их опускал. Голос у него был превосходный, но большого разнообразія в интонаціях не было. Я видѣл Люсьена Гитри в пьесѣ "Трибун" (говорили, что в ней именно Жорес и изображен). В одной из сцен пьесы трибун репетирует рѣчь. Гитри произносил только двѣ фразы, — ни Жорес, ни другой оратор никогда т а к их произнести все равно не могли бы. Помню, на каком-то московском обѣдѣ заставили говорить Качалова. То, что он сказал, было совершенно не интересно: общія мѣста из передовых газет с цитатой из "Анатэмы" "под занавѣс". Но он т а к это сказал, что всѣ судебные и политическіе ораторы Россіи могли бы удавиться от зависти, даже Карабчевскій, вѣроятно лучшій из всѣх в смыслѣ "жеста" и внѣшности.

Думаю, что В. А. Маклаков никогда о жестѣ и интонаціи особенно не заботился или во всяком случаѣ их не изучал. В теченіе многих лѣт я бывал с ним каждый четверг на завтраках в милом гостепріимном домѣ С. Г. и Е. Ю. Пэти. Другіе русскіе участники этих завтраков были А. Ф. Керенскій, А. И. Гучков, М. В. Бернацкій, И. П. Демидов, И. И. Фондаминскій, В. М. Зензинов и, при их наѣздах в Париж, И. А. Бунин, П. Б. Струве, В. В. Набоков-Сирин. И в столовой, и в гостиной Василий Алексѣевич говорил много, чрезвычайно интересно, всегда с большим оживленіем. При этом "жесты" и "интонаціи" у него бывали совершенно такіе же, как на трибунѣ Государственной Думы или в петербургском, в московском судѣ: все было совершенно естественно. Разумѣется, в огромном залѣ Таврическаго дворца он говорил громче, но он и там никогда не кричал — великая ему за это благодарность. Темперамент и крик — совершенно разныя вещи. Когда человѣк, дойдя до очередного Александра Македонскаго, вдруг с трибуны начинает без причины орать диким голосом, это бывает невыносимо. Если-б еще Александр Македонскій был стоющій! Конечно, когда Мирабо отвѣтил королевскому церемоніймейстеру Дре-Брезе:

«Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la puissance des baïonettes», — он мог довести голос до нечеловѣческаго крика *). Дантон воскликнул: «Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme: c'est la charge contre les ennemis de la patrie! Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, et encore de l'audace et toujours de l'audace!» — очевидец через сорок лѣт вспоминал этот потрясающій бѣшеный крик, эту огромную фигуру с искаженным лицом, с налитыми кровью глазами. Но такія слова говорятся не каждый день и даже не каждое десятилѣтіе. И еще спасибо Василію Алексѣевичу: в его рѣчах почти нѣт "образов". Образы адвокатов и политических дѣятелей, это тоже вещь нелегкая. В началѣ первой войны, один извѣстный оратор все говорил образныя рѣчи. Самым лучшим его образом было то, что Германія бронированным кулаком наступила на маленькую Бельгію. Помню уже в эмиграціи образную рѣчь другого извѣстнаго оратора. Он долго говорил о "чертополохѣ большевистскаго яда", — Бунин только тяжело вздыхал.

Римляне находили, что о малых вещах надо говорить просто и интересно, а о великих просто и благородно. Именно так и говорит В. А. Маклаков. Слушать его — истинное наслажденіе. Так он и пишет. Жаль, что писал мало. "Образов" в его рѣчах, почти нѣт, но есть фразы превосходныя в чисто-литературном отношеніи**). Так, говоря о том, что Плевако "жил в мірѣ героев", он вскользь замѣчает: "Ему всюду мерещилась драма... Всѣ свойства людей представлялись ему ярче, чѣм были; из всѣх красок, которыя должны быть на палитрѣ художника, ему нехватало только сѣрой... Когда он встрѣчал скупца, то сразу видѣл в нем Скупого Рыцаря". — Слова для В. А. очень характерныя.

Не знаю, как именно готовится В. А. к рѣчам. В своей статьѣ о Плевако он разсказывает, что видѣл на процессѣ какого-то богатаго киргиза черновичок замѣток, которыя его друг дѣлал во время рѣчи прокурора. Прокурор призвал судей показать приговором, что суд не боится богатых. Плевако немедленно записал в черновичкѣ одно слово "фейерверк", дважды его подчеркнувши. Когда он в своей рѣчи дошел до этого мѣста, "Плевако разразился такою тирадой, которую, дѣйствительно, нельзя было лучше назвать, как "фейерверк". Тут были и цитаты из Евангелія, и ссылка на суд, уставы, и примѣры Запада, и воззваніе к памятнику Александру II,

*) Воспоминанія очевидцев об этой знаменитой сценѣ впрочем не вполнѣ сходятся. Нѣкоторые утверждали, что Мирабо в тот же вечер для газет нѣсколько пріукрасил и свою фразу.

**) Очень много истинно прекрасных страниц и в книгах Василія Алексѣевича, и в его статьях. У него стиль именно «простой и благородный».

стоявшему перед зданіем суда". Разумѣется, Плевако "захватил всю залу и судей". Кажется, В. А. разсказывает об этом с восторгом. Каюсь, на человѣка со стороны не совсѣм так дѣйствует эта картинка, заранѣе принятое рѣшеніе: вот тут я устрою фейерверк: очевидно, устроить можно всегда, запас, слава Богу, есть. Вѣроятно, у Плевако фейерверк вышел в самом дѣлѣ хорошо; но самый метод, особенно в тѣх случаях, когда оратор не так талантлив, вызывает нѣкоторое недоумѣніе. Здѣсь есть что-то от Островскаго. Ахов обѣщает Кругловой, что на свадебном обѣдѣ будут "двѣ музыки и официанты в штиблетах". — "Ефект?" — спрашивает Ахов. — "Ефект", — соглашается Круглова. Поклонники В. А. искренне огорчились бы, если бы узнали, что и он иногда так заготовлял импровизаціи впрок. Но в его рѣчах, мнѣ извѣстных, нѣт слѣдов фейерверков, как в нем самом никогда и признаков актерства я не замѣчал. Плевако, по крайней мѣрѣ, изготовлял фейерверки без чужой помощи. Говоря о больших ораторах, мы поневолѣ должны обращаться к образцам Французской революціи. Граф Мирабо был, вѣроятно, величайшим оратором в исторіи; но при нем была цѣлая фабрика, занимавшаяся составленіем для него фейерверков. Одному из своих помощников, он, заказывая какой-то пассаж, так дословно и писал: «Trouvez moyen, je vous prie, de placer *une noble reponse* au reproche que l'on m'a fait d'avoir varié sur mes principes».

О существѣ краснорѣчія Маклакова читатель может судить по помѣщенным в сборникѣ образцам. Редакторы поступили правильно, помѣстив и рѣчь о выборгском воззваніи: она так нашумѣла, что ее нельзя было не помѣстить, как, например, в сборникѣ рѣчей Плевако нельзя было бы обойти дѣло игуменьи Митрофаніи. Много было отзывов об этом судебном тріумфѣ В. А-ча. Четвертью вѣка позднѣе, адвокат Мандельштам писал в своих воспоминаніях, что он никогда в жизни лучшей рѣчи не слышал, что ни один оратор никогда на него такого впечатлѣнія не производил. Вѣроятно, эту рѣчь надо было именно с л ы ш а т ь. Возможно также, что оцѣнить ее по достоинству может только юрист. В чтеніи она так сильно не дѣйствует. Здѣсь Маклаков в судѣ, быть может, в первый и в послѣдній раз, говорил о дѣлѣ, которое было или казалось историческим. Через сорок лѣт нас не слишком волнует, что прокурор своим толкованіем 129-й статьи упразднил из закона понятіе составленія и извратил понятіе соучастія. Такой оратор, как В. А., мог сдѣлать исторической и свою рѣчь. Конечно, он сам это понимал. Но в нем сидит человѣк 18-го столѣтія. Должно быть, он вѣрит в идеи Монтескье, — едва ли гдѣ-либо по настоящему осуществленныя. Он не хотѣл в судѣ говорить так, как в Государственной Думѣ. Впрочем, это лишь мое предположеніе. Возможно также, что, как виртуоз, он позволял себѣ роскошь: я и без всяких

«Quousque tandem», без всяких “Выше, выше стройте стѣны”, потрясу Россію анализом 129-й и 132-й статей.

В Долбенковском дѣлѣ нѣт исторіи, есть только жизнь. Крестьяне села Долбенково имѣли надѣлы плохой земли по три десятины. Со всѣх сторон их окружали владѣнья вел. кн. Сергѣя Александровича. Мужики вынуждены были покупать у его экономов хлѣб и отдавать им свой труд за гроши. Управляющій егермейстер Филатьев “путем наложенія штрафов очень строго охранял интересы ввѣреннаго ему имѣнія от всяких, иногда даже незначительных нарушеній со стороны крестьян”. В какое-то февральское утро крестьяне толпой подошли к его воротам и потребовали сложенія штрафов, удаленія нѣкоторых служащих, пониженія цѣны на хлѣб. Филатьев дал им два ведра водки и сам с ними выпил за прочный мир (это был 1905-й год). Крестьяне благодушно распили два ведра, но затѣм, напившись, разгромили лавку какого-то Орлова, особенно им ненавистнаго, разнесли контору, разгромили квартиру Филатьева и избили его самого.

Все это было не по “Бѣдной Лизѣ”, не по Златовратскому и даже не по Максиму Горькому. Думаю, что очень многіе адвокаты того времени, выступая по Долбенковскому дѣлу, не обошлись бы без Челкаша, или без безумства храбрых, или хоть без какой-нибудь фигуральной странницы Манефы. Маклаков подошел к дѣлу “по Толстому”: он достаточно часто бывал в обществѣ Льва Николаевича и достаточно его читал. В памяти В. А., я увѣрен, была недосягаемая по искусству, геніальная сцена убійства Верещагина. Психологія графа Растопчина чувствуется и в изображеніи егермейстера Филатьева: “О, он не вѣдал того, что творил; он думал, что, выпив два ведра спирта, крестьяне не потребуют больше, что года штрафов и притѣсненій можно загладить дружественным тостом, что, направив их на Орлова, он жертвовал им, но зато спасал экономію. Кто сѣет вѣтер, пожинает бурю; он не успокаивал, а подогрѣвал страсти крестьян: когда с орловскаго дома начался погром, он не знал уже ни мѣры, ни удержу. Начался русскій бунт, безсмысленный и безпощадный; безполезно искать в нем плана, руководителей, подстрекателей; разъяренная и полупьяная толпа уничтожала все, что было возможно, била всѣх, кто ей попадался. Ея поступки были неосмысленны, были дики и грубы; но могло ли быть иначе? Чего можно было ожидать от этой толпы? Вѣдь эти люди всегда грубы, грубы в своей ласкѣ, грубы в шутках, грубы в спорах, могли ли они оказаться иными в злобѣ и гнѣвѣ? Их ли за это винить?.. Вы, представители государственной власти, вы, которые осуждаете, а что же вы сдѣлали для того, чтобы излѣчить их от грубости? Государственная власть о многом заботилась: она старалась, чтобы они были покорны, преданны властям, смиренны перед высшими, безотвѣтны перед начальниками;

а заботилась ли она о том, чтобы смягчить их нравы, изгнать из них дикость, вселить отвращеніе к грубости?"

Обрываю цитату, читатель прочтет всю эту огненную рѣчь. Вот образец рѣчи, опровергающей и взгляд Андрэ Зигфрида, и даже его дѣленіе ораторов на разряды. В ней каждое слово правда, в ней никаких "двух сторон" нѣт, она одновременно и "убѣждает", и "волнует". Воображаю, как она была сказана (увѣрен, просто, без крика и без театральных жестов). Судила выѣздная сессія Московской Судебной Палаты. Забыв на этот раз о Монтескье, Маклаков говорил "вы": "Они таковы, какими вы сами их создали"... "Вы пришли, когда беззаконіе сдѣлали они, а гдѣ же вы были тогда, когда беззаконіе творилось над ними?"... "Учитесь на этом примѣрѣ тому, что нас ожидает, но во имя простой справедливости помните, что не на них ляжет за это отвѣтственность"... Сенатор Арнольд и его товарищи могли счесть себя оскорбленными.*). Они, однако, постановили ходатайствовать о помилованіи долбенковских крестьян. Крестьяне были помилованы.

II.

У стараго генерала Драгомирова на столѣ лежала сабля, а рядом с ней том Спинозы. Он каждый день читал "Этику", не то на сон грядущій, не то перед началом работы. Хвалил: "Умно, очень умно... Глубоко"... А затѣм показывал на саблю и говорил: "А все таки это вѣрнѣе. Какое уже там царство разума? Его никогда не будет, а если оно будет, то продержится двѣ недѣли".

Он читал "Этику" — и писал "Лекціи тактики", "Опыт руководства для подготовки частей к бою" и т. п. Не знаю, как Драгомиров понимал спинозизм. Вѣроятно, только, как "писаный разум". А может быть, как свѣжій человѣк и не профессор, он видѣл, что это ученіе начинено взрывчатыми веществами. Да, конечно, выше всего "человѣк, руководящійся разумом", "единеніе руководящихся разумом людей". Но то, что есть, и то, что должно быть — вещи разныя. "Люди перемѣнчивы, ибо рѣдки живущіе по правилам разума, чаще всего они завистливы и больше склонны к мести, чѣм к жалости". И связывать людей может не только разум. "Лесть тоже

---

*) Судьи рѣдко обижались на Маклакова, он и их умѣл обвораживать. Слушалось дѣло о московском вооруженном возстаніи. Предсѣдатель Ранг рѣзко обрывал перваго защитника. Затѣм выступил В. А. — он по существу говорил не менѣе опредѣленно, чѣм его товарищ по защитѣ, но предсѣдатель его ни разу не прервал. По окончаніи рѣчи Ранг, обращаясь к другим судьям, замѣтил вполголоса: «Вот что значит, когда говорит умный человѣк!» (Слышал от А. Я. Столкинда, который, составляя отчет для газеты, сидѣл около судейскаго стола).

В. Маклаков

1922 г.

может порождать общее согласіе"... "Позор тоже способствует общему согласію, если только скрыть его невозможно". — Сталинская круговая порука общаго униженія на основѣ небывалой в исторіи лести также осуществляет одну из идей этой знаменитой книги, — в каком то смыслѣ, Сталин сам того не знающій "спинозист"! Генерал Драгомиров в наивности Спинозу упрекнуть не мог бы. "Сабля вѣрнѣе"? Конечно, на штыках м о ж н о сидѣть долго и даже комфортабельно. Но бѣда "сабли" в том, что она быстро совершенствуется. Быть может, когда-то пуля была дурой, а штык молодцом. Однако, атомная бомба уж совсѣм не дура, а она "вѣрности" никому не обѣщает. Едва ли и людям драгомировскаго типа может нравиться хирошимское пониманіе исторіи. Что-ж дѣлать, в этой "антиноміи" между "саблей" и "разумом" мір давно запутался; выйти из нея теперь особенно трудно. Если-б гдѣ-то, на каком-то островкѣ в Соединенных Штатах, сейчас не хранились сотни атомных бомб, то чествованіе В. А. Маклакова могло бы происходить развѣ только на Соловках или на Колымѣ.

В. А. Маклаков так же мало любит "саблю" и так же мало в нее вѣрит, как Вольтер, как люди 18-го вѣка, столь ему близкіе по духу и складу ума. Надо-ли говорить, что в пору второй міровой войны он желал всей душой пораженія Гитлеру (вел себя в пору оккупаціи, как всегда, с совершенным достоинством и с большим мужеством). Однако, разные Кенигсберги его никак не соблазняют. Он такой же государственник, каким был П. Н. Милюков, но с той разницей, что Милюков, уж не знаю умом или сердцем, цѣнил "престиж", "военную мощь", "стратегическія границы" и т. п. В 1914-16 гг. — в значительной мѣрѣ под вліяніем этого большого человѣка — Дарданеллы в прямом и символическом смыслѣ слова прельстили многих людей либеральнаго образа мыслей. Василій Алексѣевич стоял за войну до побѣднаго конца, но Дарданеллы ему не были нужны. В своей рѣчи 16 мая 1916 года, сказанной в честь Вивіани и Тома, он прямо заявил, что всегда был пацифистом и от этого не отказывается. В воспоминаніях Мориса Палеолога говорится об огромном впечатлѣніи, которое произвела эта рѣчь, сказанная «dans un français excellent avec une articulation mordante et un geste tranchant...».

Иностранные послы и пріѣзжавшіе в Петербург государственные дѣятели вообще чрезвычайно цѣнили В. А. Маклакова. Они мало знали о русских дѣлах и еще меньше в них понимали. Наиболѣе освѣдомленным считался и, вѣроятно, был Палеолог, человѣк очень способный и живой. Он был знаком с русской исторіей и литературой, много писал о русской душѣ (в своих писаніях не то выдумывал несуществующія русскія народныя поговорки, не то без особенной точности переводил существующія:

жалует царь, да не жалует его собачка). Россію он любил, но по своему. В дневникѣ (запись 1 апрѣля 1916 г.) он весьма откровенно говорил, что нельзя сравнивать французскія и русскія потери только количественно, — надо принять во вниманіе и качество: "во Франціи всѣ солдаты образованы, громадное большинство их очень умны и очень тонки", тогда как Россія "самая отсталая страна на свѣтѣ". Правда, тут же всячески оговаривался, но все же эту мысль высказывал. В русских политических дѣлах Палеолог разбирался не очень хорошо. Он думал, что газета "Рѣчь" в своем отношеніи к союзникам расходится с Милюковым, считал генерала Алексѣева "диким реакціонером" и "страстным сторонником самодержавія"*). Кажется, он был не слишком доволен, что в Петербург в 1916 г. пріѣхали столь лѣвые люди, как Вивіани и Альбер Тома, и их надо будет представить царю. Сам Тома, умница, благодушный человѣк и замѣчательный работник, по дорогѣ в Царское Село комически говорил о себѣ: «Ah, mon vieux Thomas, tu vas donc te trouver face à face avec Sa Majesté le tsar de toutes les Russies... Quand tu seras dans son palais, ce qui t'etonnera le plus, ce sera de t'y voir». Все обошлось хорошо. Царь был очень любезен с Тома, великая княгиня Марія Павловна устроила в честь его и Вивіани завтрак, на других завтраках Тома мило бесѣдовал со Штюрмером — и даже ухитрился напасть на него справа: совѣтовал ему "милитаризовать" русских рабочих; Штюрмер отвѣчал, что это невозможно: Государственная Дума не согласится. Палеолог рѣшительно высказался против встрѣчи Тома с Бурцевым и сам встрѣч с русскими соціалистами избѣгал. Из людей либеральнаго міра он считался, повидимому, только с Милюковым, Маклаковым и М. Ковалевским. Давал им совѣты "хранить терпѣніе". Но именно они в этих совѣтах не нуждались.

Если в чем-либо В. А. сходился совершенно с главой партіи Народной Свободы, то лишь в крайней нелюбви к революціи. Можно сказать, что этим никого не удивишь: еще острѣе ненавидят революцію правые. Конечно. Однако громадная разница — пропасть — в том, что идеям февральской революціи и Милюков, и Маклаков сочувствовали. Кромѣ того, как не раз правильно указывалось, рѣчь Милюкова о "глупости и измѣнѣ" объективно была революціонной. Не рѣшаюсь утверждать, что в таком же смыслѣ была революціонной и рѣчь Маклакова на засѣданіи Государственной Думы 3 ноября 1916 года, помѣщенная в настоящем сборникѣ.

---

*) Алексѣев, очевидно, не раздѣлявшій мнѣнія Палеолога о сравнительной цѣнности жизни русских и французских солдат, рѣшительно высказался против отправки на западный фронт 400-тысячной русской арміи (на этом настаивали Вивіани, Тома и Палеолог): неохотно согласился лишь на отправку шести бригад.

Эта рѣчь очень сильна. Тѣм не менѣе, трудно с совершенной точностью сказать, к чему именно "объективно" призывал в ту пору В. А. Маклаков. Сто раз цитировалась его "статья о шофферѣ". В кои вѣки В. А. построил статью на образѣ — и вышло нехорошо, хотя и не потому, что образ был сам по себѣ плох. Он просто был неясен, и выводы из него можно было дѣлать разные. При дословном пониманіи статьи надо было бы предположить, что В. А. выдал в ней бронзовый вексель. Такіе векселя в политикѣ выдаются почти всѣми чуть не каждый день; однако, именно Маклакову это никогда свойственно не было. "И вдруг вы видите, что ваш шоффер править не может. К счастью, в автомобилѣ есть люди, которые умѣют править". На моей памяти, это постоянно говорила молодая Россія Россіи старой. Если все познается по сравненію, то, конечно, сравненіе и в смыслѣ "человѣческаго матеріала" было в послѣдніе два-три года императорскаго строя никак не в его пользу: что же сравнивать с разными Протопоповыми Львова, Милюкова, Керенскаго, Церетели? В перспективѣ четверти вѣка консервативный историк мог бы, напримѣр, сказать: что же сравнивать члена Временнаго правительства Скобелева с графом Витте? — Слѣдовало бы сопоставлять не людей, а только идеи. Умѣніе править — понятіе весьма относительное и очень зависящее от исторических условій. В обыкновенное тихое время править не так уж трудно; тот же Скобелев, человѣк не лишенный способностей, мог бы быть министром не хуже другого. Но тогда править надо было именно "над пропастью", — так ли много у нас было Черчиллей? Вдобавок, за Черчиллем стояла тысячелѣтняя государственная машина Англіи, в общем хорошая, чинившаяся часто, своевременно, без спѣшки. Весьма возможно, что своим словам "умѣют править" В. А. и в то время придавал иной смысл. Однако, это значенія не имѣло: истолкована она была читателями (вѣроятно, за исключеніем людей очень освѣдомленных) именно, как вексель, — общественное мнѣніе его "бронзовым" не считало. Цензурныя условія не требовали чисто-аллегорической формы статьи, зачѣм же В. А. выбрал чисто-аллегорическую? "Что будете вы испытывать при мысли, что ваша мать обвинит вас в бездѣйствіи?" — Едва ли можно сказать, что эти слова заключали в себѣ ясный вывод. И если признать, что "объективно" статья о шофферѣ была столь же революціонной, как знаменитая рѣчь Милюкова, то остается только лишній раз удивиться парадоксам русской исторіи.

Иногда и до революціи В. А. терял терпѣніе. Об одном таком моментѣ говорит в своих воспоминаніях Ллойд-Джордж: "Выдающійся русскій юрист Милюков и большой оратор Государственной Думы Маклаков страстно протестовали против даннаго им (Думергом) совѣта" (все того же: терпѣніе). "Субъективно", Василій Алексѣевич, вѣроятно, и в ту пору находил, что все лучше,

чѣм революція. Таково было его убѣжденіе в теченіе всей его жизни. "Вина его ужасна, берендѣи!": ему всѣ революціонныя снѣгурочки, тающія или не тающія, были всю жизнь чрезвычайно противны. Быть может, и автора этих строк не упрекнут в чрезмѣрной любви к ним. Тѣм не менѣе, я считаю именно э т у позицію В. А-ча крайней, догматической и своеобразно максималистской.

Насколько я могу судить, он совершенно не вѣрил в успѣх февральской революціи. Это дѣлает большую честь его проницательности. Мнѣ в другом мѣстѣ приходилось писать о замѣчательных словах, сказанных П. Н. Милюковым на историческом засѣданіи, кончившемся отреченіем великаго князя Михаила Александровича. Почти всѣ другіе дѣятели февраля вѣрили в успѣх. Но остается очень спорным вопрос, давало ли невѣріе право отойти в сторону. Временному правительству ум и дарованія В. А-ча чрезвычайно пригодились бы. Он недавно говорил, что ему тогда портфеля и не предлагали. Ф о р м а л ь н о это так. Но вѣдь всѣм извѣстно, как дѣло происходит в мірѣ. Мосье Дюбуа хочет войти в правительство, составляемое мосье Дюраном. Надо шепнуть кому слѣдует, что, уступая чувству долга, по государственным и патріотическим соображеніям, мосье Дюбуа готов принести себя в жертву и принять бремя власти на таком-то отвѣтственном посту. Именно так составлялись и самые идеалистическіе кабинеты исторіи, например, жирондистскій кабинет 1792 года. В квартиркѣ Верньо на Place Vendôme, в салонѣ г-жи Ролан на rue Guénegaud три дня и три ночи шли самопожертвованія. Бриссо сообщил, что его шурин Клавьер согласился бы стать министром финансов; Жансонне объявил, что генерал Дюмурье готов принять министерство иностранных дѣл; госпожа Ролан сказала, что ея муж не имѣет права отказываться от министерства внутренних дѣл в виду трагическаго положенія родины. У нас в ф е в р а л ѣ этой невинной человѣческой трагикомедіи почти не было. Все произошло слишком быстро, положеніе было очень неопредѣленное (возможность висѣлицы никак не исключалась), и вдобавок люди, ставшіе министрами, дѣйствительно, стояли в моральном отношеніи высоко. Нѣсколько позднѣе за должности, как и за мѣста в кандидатских списках на выборах в Учредительное Собраніе, началась глухая, напряженная, по формѣ тоже самоотверженная борьба. Отрицать это было бы столь же странно, как осуждать: так было всегда и вездѣ. Разумѣется, Маклаков, с его именем, популярностью, умом и талантами, м о г б ы стать министром. Вдобавок, он был тогда с Г. Е. Львовым в лучших отношеніях, чѣм в слѣдующіе годы. Думаю, что он все-таки обязан был войти в правительство. Если он этого не сдѣлал, то, вѣроятно, только вслѣдствіе отвращенія, которое ему внушала революція, в с я к а я революція.

Здѣсь, конечно, не мѣсто говорить о февральской революціи вообще. "Дѣло побѣдителей было угодно богам, но дѣло побѣжденных — Катону". Мы здѣсь и "побѣжденные", мы и "Катоны". По замыслу, эта революція должна была стать торжеством "спинозизма", в условном смыслѣ этого понятія. Так ее понимали, например, такіе люди, как покойные Н. В. Чайковскій или И. И. Фондаминскій. Побѣда над Германіей ожидалась скоро, должен был послѣдовать мир без аннексій и контрибуцій, и "разум" надолго, навсегда восторжествовал бы над "саблей" и во внѣшней, и во внутренней политикѣ. Основным идеям февраля не мог не сочувствовать и В. А. Маклаков. К власти пришли очень честные люди. За исключеніем Парижской Коммуны, во всѣх западных революціях дѣлались и дѣла денежныя, иногда на верхах, иногда очень темныя. В нашей февральской революціи их не было и слѣда. Это относится ко всѣм партіям. Корнилов и Деникин были такіе же безкорыстнѣйшіе люди, как кн. Львов, Милюков или Керенскій. Как "человѣческій матеріал", русскіе политическіе дѣятели 1917 года были едва ли ниже дѣятелей французской революціи (выдѣлим в особый разряд Мирабо). Из "гигантов Конвента" (в очень общем, собирательном смыслѣ слова) большинство тѣх, что на эшафот не попали, закончили дни князьями, герцогами, милліонерами. Наполеон, довольно благодушно презиравшій людей, с особенным удовольствіем жаловал титулы бывшим террористам и при этом через тайную полицію наводил справки, — сколько денег они нажили: у Фуше есть пятнадцать милліонов, ну, вот, значит новый герцог Отрантскій позаботился о себѣ, даром времени не терял и оправдал свои революціонные идеалы. У нас не было ничего похожаго. Русская революція, правда, сложилась так, что людям 1917 года никто титулов не предлагал и предлагать не мог, но пристроиться при новом строѣ, сдѣлать хорошую карьеру мог собственно каждый. К большевикам пошла мелкая сошка. Из главных же не перебѣжал никто. От своих идей кое-кто кое-в-чем много позднѣе отступил, но основным мыслям почти всѣ остались вѣрны. Так называемый, "суд исторіи" должен будет это зачесть.

Идеи были хорошія, люди в большинствѣ были хорошіе. Больше ничего хорошаго не было, но и этого очень много. Спасти свободный режим в Россіи тогда могла либо быстрая побѣда союзников на западном фронтѣ, либо сепаратный мир с Германіей. Между тѣм, сепаратный мир был психологически невозможен для всѣх, кромѣ большевиков. Конечно, он был так же невозможен и для Маклакова. В близкую побѣду союзников он, очевидно, не очень вѣрил. Революція, по его мнѣнію, должна была привести к катастрофѣ. Ему приписывают шутку: В. А. будто бы хотѣл, что бы его назначили "сенатом": не сенатором (это было бы чрезвычайно легко), а именно "сенатом": он мог бы слѣдить

за соблюденіем законов. Василій Алексѣевич, дѣйствительно, всю жизнь подчеркивал, да и теперь подчеркивает, свою любовь к "законам". Очень ли это вяжется с тѣми мыслями, которыя он высказывал о судѣ и об адвокатах, — не знаю. Тут возможен неновый спор юристов с не-юристами: — "А что же дѣлать, если законы плохіе? — "Тогда их надо измѣнить". — "А что же дѣлать, если их без революціи измѣнить нельзя?" Весьма сомнѣваюсь, чтобы В. А. считал возможной революцію, слѣдующую указаніям юрисконсульта. Весьма сомнѣваюсь и в том, чтобы любовь к законности была главной причиной отвращенія, которое ему внушают революціи.

Писателя может и должен занимать вопрос о корнях антиреволюціонности столь замѣчательнаго человѣка. Какіе же были главные "корни": чисто-политическіе? психологическіе? эстетическіе? Здѣсь я перехожу к догадкам: никогда об этом говорить с В. А-чем не случалось. Думаю, что "корней" надо искать в той же основной чертѣ его сложнаго характера: в его крайней нелюбви к театральности, к преувеличеніям, к громким словам, к самообману, как к глупѣйшей формѣ обмана, да еще в том, что можно было бы назвать бытовой охлофобіей. Вѣроятно, В. А. и французскую революцію "любит" не больше, чѣм русскую. Он кстати знает ее не по Блоссу, и даже не по однотомной исторіи Олара. Мнѣ приходилось слышать, как В. А. цѣлыми страницами наизусть цитирует рѣчи ея главных дѣятелей — и цитирует правильно. Быть может, он находит, что во всѣх революціях слово "идеализм" склоняется во всѣх падежах слишком часто.

У нас это было особенно замѣтно не на верхах, а чуть пониже. Засѣданія, собранія, "концерты-митинги" бывали иногда невыносимы: помѣсь Гамлета с Репетиловым чувствовалась в выступавших слишком сильно. Подлинный идеализм обычно кончается тогда, когда кончается жертвенность. Конечно, доля жертвенности в политикѣ почти всегда остается, — люди жертвуют хотя бы покоем и здоровьем. Но обычно минусы перевѣшиваются плюсами (и не в дурном смыслѣ слова), да и то, и другое покрывается спортивным инстинктом, играющим огромную, еще не оцѣненную роль в политикѣ вообще, а в революціонной политикѣ в особенности. Вдобавок, слово идеализм не очень много и значит. Не так давно извѣстный Нимеллер, к общему изумленію всей англо-саксонской печати, назвал подлинным идеалистом («through and through» — по нѣмецки вѣрно «durch und durch») какого-то палача в концентраціонном лагерѣ Гитлера. Формальных возраженій быть не может, — идеалы могут быть разные. Гитлер тоже был "идеалист". Идеалистом был даже Бальдур фон Ширах, — если вѣрить дневнику Евы Браун, он говорил, что его идеалом было бы открыть дом терпимости в Будапештѣ. Но оставим в сторонѣ злодѣев, пси-

хопатов и кретинов. В политикѣ и очень порядочные люди должны были бы возможно меньше говорить о своем идеализмѣ и даже об идеализмѣ своей партіи. Этим грѣшил сам Жорес, человѣк исключительный по умственным и моральным качествам. Он считался, особенно послѣ дѣла Дрейфуса, воплощеніем идеалистической политики. Позднѣе, в пору генерала Андре, Карл Каутскій в рѣзкой формѣ обвинил главу французских соціалистов в том, будто он, защищая систему "фишек", отказался от основ своего міросозерцанія. Жореса изо дня в день травили газеты, он давно к этому привык, но, как мнѣ приходилось слышать, никогда он не чувствовал себя столь оскорбленным, как послѣ отзыва Каутскаго.

Думаю (не настаиваю на этом), что В. А. Маклакову были непріятны нѣкоторыя чрезмѣрныя формы идеализма 1917 года. Быть может, он находил, что, если это слово, к счастью, не всегда пахнет кровью, то, к несчастью, слишком часто пахнет пудрой и актерскими бѣлилами. Повторяю, В. А. очень много слушал и читал Толстого, который всѣ виды обмана и самообмана замѣчал немедленно. Тот же Спиноза говорил (здѣсь и он сошелся с Наполеоном), что главный двигатель всѣх революцій — честолюбіе, часто прикрывающееся в человѣкѣ "благочестіем" (по современной терминологіи: идеализмом). Это большого значенія не имѣет: вѣдь это "общія скобки". Однако, зачѣм же непремѣнно называть скрягу Скупым Рыцарем? На событія 1917 года тоже можно смотрѣть "двояко". Разные Иван-царевичи всегда внушали Маклакову крайнее недовѣріе. Все могло быть и проще. Царь отстаивал самодержавіе. Солдаты не хотѣли воевать. Крестьяне требовали земли. Помѣщики ея не давали. Историческій ореол? На него с самаго начала особенно разсчитывать нельзя было. Жорж Сорель в своей прославленной книгѣ доказывал, что весь ореол Французской Революціи создался на основѣ ея военных побѣд, этой "новой Иліады". Д о л я правды в утвержденіи Сореля была. В 1917 году ни на какую Иліаду надѣяться не приходилось. В лучшем случаѣ можно было продержаться до наступленія на западном фронтѣ (которое, конечно, было бы преподнесено, как побѣда союзников).

Условное царство условнаго разума в самом дѣлѣ продолжалось недолго. Восторжествовала большевистская "сабля", в ту пору и не очень грозная. В ближайшее время послѣ октябрьскаго переворота положеніе было таково, что, если-б на южном фронтѣ оказалось лишних десять иностранных дивизій, то большевики были бы сломлены. Черчилль, повидимому, и стоял за отправку войск на помощь генералу Деникину. Ллойд-Джордж и лѣвые всѣх стран этого не хотѣли. Маклаков, как и Милюков, был за интервенцію. Нѣкоторые из людей 1917 года ее срывали и помогли ее сорвать. Высказывалось и такое сужденіе: народ потому не свергает большевиков, что боится реакціи; когда опасность реакціи исчезнет, он

тотчас их свергнет. Безполезно в политикѣ попрекать людей прошлыми ошибками и бронзовыми векселями; ошибки дѣлают всѣ, бронзовые векселя, повторяю, выдают почти всѣ. А. И. Деникин, в качествѣ "царскаго опричника", был, конечно, находкой. Люди, так его опасавшіеся, получили Сталина с Беріей. Теперь у большевиков сотни дивизій, сокрушить их могла бы только атомная бомба, которая заодно разрушила бы Россію и остатки цивилизаціи. Однако, нѣкоторые из прежних противников интервенціи теперь стоят за войну. К счастью, очень немногіе. Во всяком случаѣ, В. А. Маклаков не только к войнѣ не призывает: он войны не хочет.

Вопросы о войнѣ, революціи, интервенціи не допускают принципіальных рѣшеній: все зависит от обстоятельств. Когда В. А. ошибался, он, думаю, ошибался потому, что принимал рѣшеніе догматическое и сам "перегибал палку". Можно ненавидѣть всякую революцію, но рѣшить для себя — я так ненавижу великую безкровную, что не хочу другой великой безкровной ни против каких форм государственнаго насилія — это значит именно занять догматическую позицію там, гдѣ ее занимать нельзя. Карлейль саркастически называл одного англійскаго государственнаго дѣятеля "безсмѣнным предсѣдателем общества объединенія ада с раем". В. А. Маклаков никогда цѣлям такого общества не сочувствовал. Но он в политикѣ не признает существованія рая и ада. Относительно рая он совершенно прав; вопрос об адѣ болѣе спорен.

Не могу на этом останавливаться, как не могу остановиться и на послѣднем произведеніи В. А. — на его "Еретических Мыслях". Оно интересно в очень многих отношеніях. Думаю, что в нем есть нѣкоторая недоговоренность. О самом главном автор высказывается лишь в нѣскольких словах. Он очень изобрѣтательно критикует принципы демократіи. Прагматическаго смысла, практической цѣли этой критики я, признаюсь, в настоящее время не вижу: вѣдь это еще не исторія. Демократія уже пятнадцать лѣт отчаянно защищается от врагов (может быть, от них и не защитится) — что же ей защищаться еще и от друзей? Но дѣло, быть может, в другом. Дѣло не в критикѣ демократіи по существу, а в том, как создать свободный государственный строй, при котором всякая революція, коммунистическая или фашистская, станет невозможной. Если бы В. А. Маклаков так опредѣленно поставил вопрос, он, думаю, мог бы написать свои "Размышленія о насиліи", прямо противоположныя сорелевским. Это привело бы его к тому же драгомировскому вопросу: сабля или разум? "Истина и насиліе ничего друг против друга сдѣлать не могут". Теперь в мірѣ идет борьба с огромной разницей в степени истины и с нѣкоторым перевѣсом в пользу насилія. Ближайшее десятилѣтіе, быть может, этот вопрос разрѣшит по новому.

Возможен и такой подход к очень выдающемуся, замѣчательному человѣку: гдѣ и в какое время ему лучше было бы жить? В. А. Маклаков был бы "на мѣстѣ" в царствованіе Александра I, в пору Сперанскаго, либеральных салонов и не очень либеральных конгрессов. Однако, без парламента он всѣх своих огромных дарованій не проявил бы. Как человѣк по природѣ не слѣдующій за теченіем и не имѣющій за собой большой политической группы, он, вѣроятно, нигдѣ не мог бы стать главой правительства. Всего больше ему подходила бы должность министра иностранных дѣл, но, конечно, только в долгій період мира: войны с аннексіями и контрибуціями или без аннексій и контрибуцій у него ничего, кромѣ отвращенія, не вызывают. На других правительственных должностях он, быть может, сам создал бы для себя затрудненія, так как при старом строѣ непремѣнно заполнил бы свое министерство либералами, а при новом — консерваторами. Добавим, что в русской адвокатурѣ В. А. работал в пору ея высшаго расцвѣта. И даже его эмигрантскій період был сравнительно счастливым, — поскольку он может быть счастлив у кого бы то ни было. В общем, В. А. Маклаков не очень неудачно выбрал время своего рожденія.

М. Алданов.

I

ПЕРІОД ДОРЕФОРМЕННОЙ МОНАРХІИ

Дѣло М. А. Стаховича с кн. Мещерским

(Петербургскій Окружный Суд, Ноябрь 1904 года)

В 1903 или 1904 г. Орловскому губернскому предводителю М. А. Стаховичу пришлось, в качествѣ сословнаго представителя, участвовать в судѣ над представителями полиціи, обвиняемыми в превышеніи власти. В основѣ дѣла лежало убійство ни в чем не только не повиннаго, но и незаподозрѣннаго сарта, который не говорил по-русски, был схвачен полиціей и избит до смерти. На судѣ выяснились такіе полицейскіе нравы, что М. А. Стахович не стерпѣл, описал то, что обнаружилось на процессѣ и свои впечатлѣнія и послал об этом в "Право" статью. Она не была допущена и была вырѣзана из очередного номера. Экземпляр этой статьи все-же получил распространеніе и дошел до литератора Г. Волконскаго, проживавшаго за-границей; он отдал ее в "Освобожденіе", гдѣ она и была напечатана с примѣчаніем редактора, что печатается без вѣдома и согласія автора, что было правдой. Кн. Мещерскій разразился в "Гражданинѣ" громовой статьей, обвиняя Стаховича, что он, будучи губернским предводителем, сотрудничает в нелегальном заграничном органѣ. Стахович, который был накунѣ отъѣзда на японскій фронт, гдѣ был уполномоченным Краснаго Креста, рѣшил привлечь Мещерскаго к отвѣтственности за клевету. Перед отъѣздом он просил В. А. Маклакова поддержать эту жалобу, уполномачивая его ставить обвиненіе так, как он сочтет нужным. Ни В. А. Маклаков, который был сам сотрудником "Освобожденія", ни другіе единомышленники М. А. Стаховича не могли считать такое участіе дѣйствіем противным "правилам чести", как этого требовала статья уголовнаго закона. В этом была для Маклакова политическая щекотливость процесса. Ф. Н. Плевако, большой поклонник Стаховича, предложил ему выступить совмѣстно с В. А. Маклаковым.

Дѣло слушалось в Петербургѣ, почти одновременно с 1-м Земским Съѣздом (в ноябрѣ 1904 г.). Мещерскій на суд не явился и был заочно приговорен к двум недѣлям военной гауптвахты.

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА.

Отдавая на ваш суд, господа судьи, статью кн. Мещерскаго, я буду строго держаться исключительно юридической почвы. В сущности, никто не сомнѣвается в политическом характерѣ этой статьи. Сам кн. Мещерскій, в № 30 "Гражданина", так глядит на нее: "Мое обвиненіе против Стаховича, пишет он, я высказал на почвѣ чисто политической". Да, это вѣрно. Статья есть своеобразный пріем политической борьбы, полемическій ход против политическаго противника. Иначе ее невозможно понять, и, казалось бы, что процесс превратится невольно в спор двух политических партій. Но как ни заманчиво было бы именно так поставить вопрос, я этого дѣлать не стану. Наши политическія разномыслія ни при чем при оцѣнкѣ этой статьи. Я буду обвинять кн. Мещерскаго в простом уголовном дѣяніи, в клеветѣ, которая, хотя бы и была допущена в политических видах, но которая все же останется клеветой безразлично. в каком бы лагерѣ, с какими бы мотивами и с какими бы цѣлями к ней ни прибѣгли. Но раз я так поставлю свое обвиненіе, то всякую партійную, политическую точку зрѣнія я умышленно совсѣм устраняю. Мы можем сохранить при себѣ всѣ наши политическія симпатіи и антипатіи, мы можем во многих вопросах совсѣм разно мыслить и все-таки признать одинаково, что кн. Мещерскій подлежит осужденію.

Но, утверждая это, мы имѣем в виду содержаніе, а не форму статьи. Вопрос г. предсѣдателя поставил на очередь и эту сторону дѣла. Да, форма статьи удивительна и характерна. Достоинство кн. Мещерскаго не пострадало бы от того, что, говоря о своем политическом противникѣ, он воздержался бы от словаря дурных слов, не пестрил бы статьи выраженіями: "плевать на самого себя", "хамское своеволіе" и т. д. Эти вульгарныя слова одинаково неумѣстны, имѣлось ли в виду ими обидѣть противника, или имѣть дешевый успѣх у читателей. Но стиль — человѣк, и мы за него не преслѣдуем. Не за злословіе, не за оскорбленіе, а за клевету мы преслѣдуем кн. Мещерскаго.

И, преслѣдуя его, мы утверждаем, что кн. Мещерскій ложно приписал Стаховичу дѣяніе, противное правилам чести. И первый пункт нашей жалобы тот, которым ограничатся мои объясненія, имѣет в виду утвержденіе кн. Мещерскаго, будто ту прекрасную статью, которую вы знаете, Стахович послал напечатать в "Освобожденіе".

Я здѣсь останавливаюсь; я не буду скользить мимо щекотливых вопросов; в процессах такого масштаба недомолвок не нужно, нужно договаривать мысль до конца.

Что утвержденіе кн. Мещерскаго ложно, это достаточно ясно. Так ли ясно другое; ясно ли, что если бы утвержденіе не было

ложно, то оно обвиняло бы Стаховича в поступкѣ, противном правилам чести?

Об этом могут быть разныя мнѣнія. Любопытный образчик тому дает сам дневник кн. Мещерскаго. В № 28 "Гражданина", гдѣ он возвѣстил urbi et orbi, что Стахович послал статью в "Освобожденіе", он называл этот поступок оскорбленіем патріотизма, измѣной присягѣ. В № 30 он пишет иное: "Никаких обстоятельств, позорящих доброе имя Стаховича, я не излагал" — пишет он. Пусть кн. Мещерскій объяснит, как умѣет, эту загадку. Пусть объяснит, каким образом то, что нынче есть измѣна присягѣ, завтра перестает порочить доброе имя! Пусть объяснит, что он понимает под честью, под добрым именем, если этого добраго имени не позорит даже измѣна присягѣ. Но пусть объясняет он это читателям своего "Гражданина". Я имѣю в виду не их, а всякаго непартійнаго, непредубѣжденнаго человѣка, который в правѣ спросить: что же позорнаго в том поступкѣ, который приписали Стаховичу?

Конечно, с точки зрѣнія извѣстных политических партій, этого вопроса возникнуть не может. Для них "Освобожденіе" — не только запрещенный, но и вредный журнал; Струве, который еще недавно жил между нами, — человѣк, знакомства с которым нельзя продолжать. Но если мы станем разсуждать таким образом, мы сдѣлаем то, что я хотѣл устранить, мы станем на точку зрѣнія партій, гдѣ все субъективно и спорно. Я хочу подняться над ними, над политическими настроеніями, которыя все же проходят, хочу стать на ту высоту, с которой независимый суд изрекает свои приговоры, и, идя навстрѣчу всѣм возраженіям, я спрашиваю и себя, и вас: поступок, приписанный Стаховичу, противорѣчит ли правилам чести?

Сам Стахович отвѣчает на это: да, противорѣчит. С щепетильной добросовѣстностью относясь к обязанностям своего званія, он находит, что для него сотрудничество в запрещенном журналѣ не может быть дозволено; что, дѣлая это, он обманул бы довѣріе своих избирателей и власти, его утвердившей. Так глядит на это Стахович и так это от его имени изложено в жалобѣ. Но даже на эту точку зрѣнія я становиться не стану и по многим причинам. Я пойду дальше его. И особенную злостность клеветы кн. Мещерскаго я вижу именно в том, что он приписал Стаховичу такую форму сотрудничества, которая для всѣх направленій и лагерей, и для противников Струве, и для тѣх, кто продолжает с глубоким уваженіем относиться к личности Струве, и к журналу им издаваемому, — одинаково покажется недостойной его и противной правилам чести.

Статья Стаховича вам извѣстна; вы знаете, что в предисловіи к ней от редакціи заявляется, что она печатается без вѣдома и согласія автора: "во имя неприкосновенности русской мысли и русскаго слова, — пишет редакція, — мы нарушаем авторское право Стаховича".

Кн. Мещерскому предисловіе было извѣстно, и вот что он об нем говорит. Он называет это глумленіем над читателем. Он не допускает мысли, чтобы статья могла попасть куда бы то ни было без согласія автора. Что же он этим внушает читателю? Во-первых, то, что статья послана не кѣм иным, как Стаховичем лично; во вторых, и это самое главное, если статья была послана Стаховичем, если это предисловіе неправда, военная хитрость, то кѣм же и для кого она сдѣлана? О, мы умѣем читать. Ясно, что не сам Струве, не по своей инициативѣ, не в своих интересах, не ради своего достоинства — будет признаваться в некорректности, которой не дѣлал, и просить извиненія за проступок, котораго не совершал. Ясно, что если сам Стахович, как утверждает кн. Мещерскій, если сам М. А. Стахович послал эту статью, то он же послал указаніе и как ее напечатать. Ясно, что, если Стахович в сношеніях и в соглашеніи со Струве, то и эта оговорка, сдѣланная в интересах Стаховича, была сдѣлана по соглашенію с ним. Вы видите, что рѣчь идет совсѣм не о простой посылкѣ статьи. Во имя того, что мы здѣсь не партійны, во имя свободы политических взглядов, предоставим каждому сотрудничать там, гдѣ он хочет, и не будем его за выбор винить; но когда говорят, что Стахович тайно участвует в органѣ, а явно от него отрекается, когда говорят, что он дѣлает то, в чем не смѣет признаться, что свое появленіе в "Освобожденіи" он оправдывает неправдой, что он ищет спасенія во лжи, тогда ему приписывают поступок, который объясняется уже не политическими взглядами, а который зависит от его воззрѣній на честь; и когда такое обвиненіе брошено, мы можем спросить кн. Мещерскаго: какое право, какое основаніе имѣете вы говорить, что если бы Стахович захотѣл сотрудничать в "Освобожденіи", то он стал бы это скрывать?

Да, это клевета на Стаховича, и тѣм болѣе злостная, чѣм менѣе она заслужена. Кн. Мещерскій давно избрал Стаховича мишенью своих политических стрѣл: пусть он, как хочет, осуждает его взгляды и дѣйствія. Но кн. Мещерскій знает сам, и лучше, чѣм многіе, что Стахович ни взглядов, ни дѣйствій своих никогда ни перед кѣм не скрывал. Гдѣ же он видѣл примѣр, чтобы Стахович скрывал или просто смягчал свои мнѣнія, дѣйствовал через подставное лицо, молчал, заставляя других говорить за себя? Не потому ли он и был для нападок такой удобной мишенью, что этого не было? Не потому ли и был он так ненавистен их лагерю, что он был слишком яркой фигурой, что в том дортуарѣ — да простится мнѣ крылатое слово князя Трубецкого, — что в том дортуарѣ при полицейском участкѣ, его спящим никто не видал, что перед ним оказались безсильны их брань и злословіе, как безсильны всегда, когда встрѣтятся с живым и искренним убѣжденіем? Да, кн. Мещерскій может бранить и поносить его убѣжденія, но в них весь секрет жизни Стаховича, вся разгадка его общественной дѣятельности. С

ними одними, с велѣніями долга и совѣсти согласует он свои дѣйствія, не обращая вниманія на злобное негодованіе тѣх, которые от всѣх, даже от губернскаго предводителя хотѣли бы одного: угодливаго послушанія велѣніям бюрократических канцелярій, да благоговѣнія перед тѣм, что они самозванно и самоувѣренно выдают за виды правительства. За это его могли ненавидѣть. Его называли измѣнником родины. О, в этом мы не столкуемся с ними; мы разно понимаем пользу отечества и измѣну ему. Но когда в него бросают новым и гадким камнем, когда его обвиняют в политическом двоедушіи, — этим говорят клевету, которой сам клеветник не повѣрит.

Да, это клевета на Стаховича, ибо такой поступок был бы недостоин его и не похож на него. Пусть объяснит кн. Мещерскій, ради чего Стахович стал бы это скрывать, если бы это он написал в "Освобожденіи"? Из-за страха отвѣтственности, из-за боязни потерять свое положеніе? О, какая мелкая, недостойная Стаховича, точка зрѣнія, достойная пониманія тѣх, кто даже в статьѣ Стаховича не усмотрѣл ничего, кромѣ желанія подорвать административную власть! О, это полицейское пониманіе жизни, сколько зла оно причинило Россіи. Они думают, кн. Мещерскій и его близкіе, что нѣт ничего выше страха, что в нем весь секрет управленія! Нѣт, так нельзя судить о Стаховичѣ. Он знает отвѣтственность пострашнѣе, чѣм отвѣтственность перед полицейской властью. Отвѣтственность перед самим собой, перед своим личным достоинством, которое не позволит ту единственную жизнь, которой мы живем на землѣ, проводить в трепетаніи перед тѣми кумирами, которые нынче стоят, завтра падают и увлекают с собою все то зло, которое при жизни они успѣли надѣлать. Отвѣтственность перед исторіей, которая не простит того, кто свое положеніе будет покупать цѣною не только лживаго слова, но и благоразумнаго умолчанія. О, нѣт, кн. Мещерскій может быть спокоен. В тот час, когда Стахович рѣшил бы служить своей родинѣ не здѣсь в званіи предводителя, а пером в заграничной печати, он не стал бы хитрить и лукавить. Он открыто подписал бы там свое имя, не обращая вниманія на негодованіе кн. Мещерскаго и его чиновных друзей. Пусть кн. Мещерскій не раздѣляет его политических взглядов; пусть их оспаривает, если умѣет; пусть поносит их, сколько захочет. Но когда он касается не политических взглядов, а политической честности Стаховича, пусть будет осторожнѣе: ему никто не повѣрит!

Итак, я думаю, что достаточно ясно, что кн. Мещерскій приписал Стаховичу поступок, который для всѣх лагерей, для всѣх направленій недостоин Стаховича и противен правилам чести. Я должен теперь доказать, что его утвержденіе было ложно и завѣдомо ложно.

Закон не на нас, а на кн. Мещерскаго возлагает обязанность доказывать истину его утвержденій. Но мы пошли навстрѣчу ему.

Мы доказали, что не Стахович, а кн. Волконскій, и то без вѣдома Стаховича, послал в "Освобожденіе" эту статью. Лживость утвержденій кн. Мещерскаго стала теперь внѣ сомнѣній. Но мы узнали еще нѣчто большее. Мы узнали, что еще в апрѣлѣ кн. Григорій Волконскій, возмущенный клеветой на Стаховича, опечаленный тѣм, что он стал для этого невольной причиной, послал письмо кн. Мещерскому, обратился к его добросовѣстности и просил снять со Стаховича то пятно, которе он на него наложил. Судите же сами теперь поведеніе кн. Мещерскаго. Он взвел на Стаховича ложное обвиненіе, он получает письмо, даже не к нему, а к читателям его адресованное, и он скрывает это письмо. Он является к слѣдователю, в карманѣ его полное доказательство того, что Стахович был прав, — и он молчит. Он прислал бумагу в суд и снова молчит и допускает, что бы про это письмо, к нему адресованное, мы узнали не от него.

О, я понимаю, что в пылу увлеченія может сорваться лишнее слово, может вырваться утвержденіе, котораго нельзя доказать; это будет клевета, но для нея можно найти извиненіе. Но клевета кн. Мещерскаго не увлеченіе; он сказал ее словом, он продолжает ее молчаніем, он усиливает ее тѣм, что скрывает от читателей тѣ письма, которыя к ним адресуют. В чем-же для него извиненіе?

В одном из позднѣйших своих дневников кн. Мещерскій, по поводу недовѣрія к нему издателя "Новаго Времени", помѣстил такія строки: "приведи Суворин свой разговор с кѣм либо из покойных людей, я бы прочел и мнѣ в голову не пришло бы не только обвинить, но даже заподозрить во лжи г. Суворина. Почему? Потому что я относительно печати не допускаю возможности лгать или выдумывать, и порядочность в том и заключается, чтобы не приписывать того другому, чего сам не сдѣлаешь". Какія прекрасныя слова, полныя чувства собственной порядочности, своей безупречной правдивости! Но что сказать про человѣка, который пишет такія слова, имѣя в карманѣ письмо, которое он утаивает от читателей, боясь, чтобы его неправда не обнаружилась. Что сказать про это слово, когда за ним нѣт правды! То, что казалось чувством собственнаго достоинства, становится недостойным притворством, а прекрасныя слова — кощунством, над которым он сам смѣется в душѣ.

Послѣднее, что мы должны доказать, — это, что утвержденіе кн. Мещерскаго было и завѣдомо ложно.

Закон не возлагает на нас непосильной задачи проникать в душу кн. Мещерскаго и доказывать, что ему доподлинно, навѣрное было извѣстно, что то, что он пишет, неправда.

Охраняя честь даже от легкомысленных на нее посягательств, закон называет клеветником и того, кто не провѣрил своих утвержденій, кто не принял всѣх мѣр, чтобы убѣдиться, что то, что он пишет, есть истина.

Какія же мѣры были приняты кн. Мещерским, какія сообра-

женія, какіе факты ввели его в заблужденіе? Мы их не видим. Все, на что ссылается кн. Мещерскій, все, чѣм он оправдывает себя, — это увѣренность, что, помимо желанія автора, ни одна статья в "Освобожденіи" появиться не может. Эта ссылка была бы наивна, если бы в ея искренность на один миг можно было бы повѣрить. Вѣдь кн. Мещерскій читает "Освобожденіе", раз он его обличает. Он знает, слѣдовательно, что на страницах его печатается много официальных документов, нигдѣ не оглашенных, много циркуляров, тайно разосланных и т. д. Что же, и они туда посылаются их авторами? В том самом номерѣ, который лежит перед вами, на послѣдней страницѣ есть секретный циркуляр на имя министра народнаго просвѣщенія; на предпослѣдней — приведен подлинник рѣчи, произнесенной в негласном совѣщаніи покойным министром внутренних дѣл. Что же, и это сотрудники "Освобожденія"? Да, князь Мещерскій понимает прекрасно, что не автор бумаги, а ея случайный читатель, всякій, до кого она так или иначе доходит, может послать ее туда, куда найдет нужным. Зачѣм же он все это забыл, когда рѣчь зашла о Стаховичѣ?

Князь Мещерскій мог знать и другое — он достаточно богат историческим опытом; он мог знать, что чѣм строже цензура, тѣм богаче, тѣм живѣе печать внѣцензурная. Там, гдѣ цензура давит, искажает свободное слово и свободную мысль, там бок о бок неизбѣжна и относительная поправка к такому порядку вещей, развивается средство общенія, перед которым цензура безсильна. Во всем обществѣ создается круговая порука, которая спасает все, чего не пропускает цензура. Князь Мещерскій не мог не знать, что среди русскаго общества всегда найдется князь Григорій Волконскій, который не потерпит, чтобы цензура зажимала рот предводителю. Все, что не пропущено здѣсь, пойдет за-границу, и это становится не личным дѣлом задѣтаго автора, а, как это прекрасно сказал Струве, актом обязательной общественной борьбы против цензуры. Но что долго распространяться об этом? Что у кн. Мещерскаго не было никаких основаній вѣрить тому, что он утверждал, он признает это сам. В № 30 "Гражданина" он пишет, что, если статью переслал не Стахович, он тотчас свою ошибку признает. Как должны мы понимать все это? В № 28 он заявляет, что у Стаховича всѣ моральныя струны заржавѣли, что у него не осталось ни честности, ни порядочности, а в № 30 говорит, что, по первому слову этого безчестнаго человѣка, свою ошибку тотчас признает. И говорит это тот, кто смолчал, когда имѣл несомнѣнное доказательство своей ошибки. Говорил это тот, кто утаил от читателей, в какое он ввел их заблужденіе. Нѣт, не готовность кн. Мещерскаго покаяться доказал его № 30, доказало его поведеніе, оно доказало только, что он клевещет сознательно. Так, я думаю, что всѣ три момента, которые дают клевету в статьѣ кн. Мещерскаго, — всѣ налицо, и вы ее именно так назовете.

(Перепечатано из журнала "Право". Декабрь 1904 г.).

АГРАРНЫЕ БЕЗПОРЯДКИ

ДОЛБЕНКОВСКОЕ ДѢЛО

(Московская Судебная Палата в г. Дмитровскѣ, 30 іюня 1905 г.)

В началѣ 1905 года ряд уѣздов Курской, Орловской и нѣкоторых других губерній охватили, так называемые, крестьянскіе безпорядки, выразившіеся в самовольном отобраніи у помѣщиков хлѣба и скота, а в нѣкоторых случаях в разгромѣ и поджогах помѣщичьих усадьб. 28-го февраля 1905 г. такой погром усадьбы, сопровождавшійся поджогом, имѣл мѣсто в селѣ Долбенковѣ, Дмитровскаго уѣзда, Орловской губ., в экономіи Великаго Князя Сергія Александровича.

По словам обвинительнаго акта, при разслѣдованіи причин, вызвавших эти безпорядки, допрошенные в качествѣ свидѣтелей мѣстные уѣздный предводитель дворянства, земскій начальник, волостной старшина и полицейскій урядник установили, что крестьяне села Долбенкова и окрестных деревень, имѣя надѣл в количествѣ около трех десятин на ревизскую душу весьма плохого качества земли и живя среди окружающих их со всѣх сторон обширных земельных угодій экономіи Великаго Князя, находились в полной экономической зависимости от послѣдней и были принуждены арендовать у нея землю и покосы, покупать хлѣб и другіе сельско-хозяйственные продукты, а также отдавать ей свою рабочую силу по цѣнѣ и на условіях в высшей степени обременительных для крестьян.

Все это вызывало у крестьян чувство недовольства своим положеніем и создало весьма обостренныя отношенія между крестьянами и администраціей экономіи. Эти отношенія с теченіем времени все болѣе обострялись также и вслѣдствіе того, что управляющій имѣніем Великаго Князя егермейстер Двора Его Величества Филатьев, как дословно говорится в обвинительном актѣ, "путем наложенія штрафов очень строго охранял интересы ввѣреннаго ему имѣнія от всяких, иногда даже незначительных нарушеній со стороны крестьян".

27-го февраля, поздно вечером, крестьяне толпою человѣк в 70 подошли к воротам экономіи и предъявили к управляющему требованія сложить штрафы, удалить нѣкоторых служащих, позволить про-

гонять скот по землѣ помѣстья и понизить цѣну на хлѣб. Филатьев согласился исполнить эти требованія и по просьбѣ нѣкоторых пришедших дал им два ведра спирта.

Утром 28-го февраля крестьяне нѣскольких деревень громадной толпой двинулись на экономію. Встрѣтив Филатьева, толпа сперва была очень мирно настроена: крестьяне приняли от Филатьева отпущенную по его запискѣ из казенной винной лавки водку и роспили ее тут-же, при участіи Филатьева, который выпил с ними за здоровье крестьян, за прочный мир и добрыя сосѣдскія отношенія. Но затѣм крестьяне разгромили еще в присутствіи Филатьева лавку нѣкоего Орлова, сидѣвшаго на землѣ, принадлежавшей экономіи, вклинившейся в крестьянскіе надѣлы и проданной тѣм не менѣе Филатьевым, несмотря на просьбы крестьян, дававших за эту землю какую угодно цѣну, не им, а Орлову. Далѣе крестьяне принялись и за экономію, причем разгромили контору, квартиру управляющаго, а также ректификаціонный и водочный заводы, принадлежавшіе экономіи Великаго Князя. Были нанесены легкіе побои и самому управляющему егермейстеру Филатьеву.

В общем, по исчисленію администраціи экономіи, послѣдней причинен убыток в размѣрѣ около 250.000 рублей.

На скамью подсудимых были привлечены 63 человѣка крестьян окрестных деревень по обвиненію их по п. п. 1 и 3 статьи 279-I Улож. о Наказ., а нѣкоторых еще и по 1.606 и 1.609 ст. того же Уложенія, т. е. в поджогах.

Дѣло слушалось с 30-го іюня по 2-ое іюля 1905 г. в гор. Дмитровскѣ Орловской губ. выѣздной сессіей, согласно состоявшагося опредѣленія Сената, не Харьковской, как бы то слѣдовало, а Московской Судебной Палаты, с участіем сословных представителей. Предсѣдательствовал тогдашній Старшій Предсѣдатель Московской Судебной Палаты Ф. Ф. Арнольд. В составѣ сословных представителей — Орловскій губернскій предводитель дворянства М. А. Стахович. Защищали Н. А. Бакулин (Орел), В. А. Маклаков и Н. К. Муравьев (Москва).

Приговором Палаты из 63 подсудимых Палата обвинила 45 и оправдала 18. Кромѣ того Палата ходатайствовала перед Государем Императором о нелишеніи прав состоянія тѣх из подсудимых, которые лишены были приговором Палаты этих прав и о непримѣненіи к ним надзора полиціи и других ограниченій свободы передвиженія.

Это ходатайство Палаты было уважено Государем.

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА.

Уголовная сторона этого дѣла исчерпана. Но так как это послѣднее слово защиты, то я хочу сначала отвѣтить на мысль, которую затронули представители обвиненія.

Они поняли оба, что это не простое уголовное дѣло, а страница исторіи. Как бы мы ни закрывали глаз, ни зажимали ушей, мы знаем,

что не только в лобановской экономіи был нарушен порядок; что в одной Орловской губерніи три судебных палаты одновременно съѣхались, чтобы судить безпорядки, что внѣ этой губерніи такія же событія и еще гораздо болѣе грозныя льются широким потоком. И сейчас нѣт на Руси Архимеда, который в тиши своего кабинета не знал бы, что город берут, до котораго не доносились бы раскаты боя на улицах.

И в этих крестьянах поэтому мы можем видѣть не отдѣльных подсудимых, которые в своей личной винѣ дают отвѣт своим судьям. Они — только маленькая часть большого цѣлаго, они — непокорная часть общества, которая теперь в лицѣ вашем дает отвѣт государственной власти. И когда вы, эта государственная власть, находите, что *они* во всем виноваты, что за то, что творится, *они* заслужили возмездіе, позвольте обратиться к вам не как к судьям, а как к власти и как таковой отвѣтить нѣсколько слов.

Вы вините их по 269-1 ст. Уложенія; я с этим не спорю; я стану на вашу же точку зрѣнія и только прошу довести вашу мысль до конца.

В преступленіи этом есть двѣ стороны: преступны самыя дѣйствія — поврежденіе, расхищеніе, насиліе...; но преступен в глазах закона и *повод:* вражда, выросшая из экономических отношеній.

Вот, в чем вы обвиняете их.

Но кто же виноват во всем этом?

Их поступки, их дѣйствія были преступны — об этом не будет двух мнѣній. Было бы лучше, конечно, если бы "мирная демонстрація", о которой говорил нам Филатьев, кончилась иначе. Было бы лучше, типичнѣй, привычнѣй, если бы, изложив свои пожеланія, крестьяне мирно разошлись по домам, если бы, пока они там дожидались исполненія обѣщаній, им данных, нагрянула бы военная сила, вытащила их из домов, отобрала зачинщиков, примѣнила к ним крайнія мѣры воздѣйствія и навела ужас на прочих. Если бы таким образом "бунт" был усмирен, порок наказан, добродѣтель восторжествовала. Это было бы лучше, быть может. Но вѣдь сам Филатьев постарался о том, чтобы этого не было.

Вы уже знаете, как грубо нарушил он самыя элементарныя правила осторожности; как он поил вином возбужденных крестьян, как с ними говорил об Орловѣ.

О, он не вѣдал того, что творил; он думал, — sancta simplicitas —, что выпив два ведра спирта, крестьяне не потребуют больше, что годы штрафов и притѣсненій можно загладить дружеским тостом, что направив их на Орлова — он жертвовал им, но зато спасал экономію.

Кто сѣет вѣтер, пожинает бурю; он не успокаивал, а подогрѣвал страсти крестьян; когда с Орловскаго дома начался погром, он

не знал уже ни мѣры, ни удержу. Начался русскій бунт, безсмысленный и безпощадный; безполезно искать в нем плана, руководителей, подстрекателей; разъяренная и полупьяная толпа уничтожала все, что было возможно, била всѣх, кто ей попадался. Ея поступки были неосмысленны, были дики и грубы; но могло ли быть иначе? Чего другого можно ожидать от этой толпы? Вѣдь эти люди всегда грубы, грубы в своей ласкѣ, грубы в шутках, грубы в спорах, могли ли они оказаться иными в злобѣ и гнѣвѣ? Их ли за это винить?

Пусть винит их историк, когда через много лѣт будет описывать наше печальное время. Пусть винит иностранец, порицая наш нрав и обычай. Пусть они осуждают, если им нравится. Но если порицать и обвинять станете вы, представители государственной власти, то я спрошу вас: *вы,* которые осуждаете, что же вы сдѣлали для того, чтобы излѣчить их от грубости? Государственная власть о многом заботилась: она старалась, чтобы они были покорны, преданы властям, смиренны перед высшими, безотвѣтны перед начальниками; а заботилась ли она о том, чтобы смягчить их нравы, изгнать из них дикость, вселить отвращеніе к грубости?

Когда, в чем оказалась такая забота? В том ли, что как в данном дѣлѣ уже послѣ 11 августа в волостях при допросѣ грозили им розгами? В том ли, что всѣх их до этого дня могли дѣйствительно выпороть? В том ли, что и теперь казацкія нагайки свищут по улицам, никого не разбирая, не щадя ни дѣтей, как в Курскѣ, ни священников, как на Кавказѣ? Жестоки нравы у нас, но жестоки и сверху и снизу. Мы пожинаем в их грубости то, что сами старательно сѣяли. Карайте же их, если можете, за то, что они, наконец, возмутились, за то, что и они потеряли терпѣніе. Но знайте, что раз толпа разошлась, она неминуемо должна была сдѣлать все то, что надѣлала. Государственной власти винить их за грубость — горькая насмѣшка над ними. Они таковы, какими вы сами их создали, и за грубость вы можете их упрекать так же мало, как можете упрекать за безграмотность народ, которому вы не даете учиться, или посаженных на корабль пѣхотинцев за то, что они не умѣют сражаться на морѣ.

Учитесь на этом примѣрѣ тому, что нас ожидает: но во имя простой справедливости помните, что *не на них* ляжет за это отвѣтственность.

Но, господа судьи, вы их вините не только за дикія дѣйствія, а еще болѣе за мотивы их дѣйствій, за ту вражду, которая толкнула их на путь безпорядков.

Быть может, в этом *они* виноваты?

Мой товарищ уже показал вам, каково было экономическое положеніе этих крестьян, как отражались на них эти штрафы и вычеты. Но мы, как юристы, прежде всего должны не забывать, что они беззаконны.

Право штрафов — публичное право; внѣ закона и сверх закона оно невозможно. И устав о наймѣ сельских рабочих, который ввел право штрафа, достаточно позаботился об интересах хозяина. Но и этого было мало для господина Филатьева. Законом он не стѣснялся. Штрафовать по закону можно только срочных рабочих, а здѣсь вопреки статьѣ 1 устава — штрафовали *посторонних* крестьян. Штрафовать можно только за опредѣленный поступок, указанный в 50 статьѣ; а здѣсь штрафовали за все, что угодно, в мѣру фантазіи. Штрафовать по закону можно только в опредѣленном размѣрѣ, не свыше двухдневнаго жалованья, а здѣсь штрафы доходили до сотен рублей, здѣсь, как говорил нам Филатьев, штрафы сообразовали с убытками.

Нѣт, это не только негуманно — как признавал здѣсь земскій начальник; не только не сердечно, как выражался предводитель дворянства. Это беззаконно. Не будем замазывать правду, будем громко кричать: годы, долгіе годы в экономіи, у всѣх на глазах, совершалось вопіющее беззаконіе.

Кто же его допустил, кто виноват в беззаконіи? Кто принимал мѣры к его устраненію? Филатьев? Мы спрашивали его, как мог он это позволить? Оказывается, он про это не знал. Он, который, по собственным словам, душа всего дѣла, без котораго печки не сложат, он не знает, как и за что штрафуют приказчики. Болѣе того: это не его дѣло. Если штрафы беззаконны, сказал он на судѣ, пусть их устраняет земскій начальник.

А земскій начальник? "Если бы я знал про это, я бы счел своим долгом положить конец таким штрафам", отвѣтил нам Шамшев. Но он не знал. Это знали всѣ, молва ходила по цѣлой губерніи, она стала легендой — а земскій начальник не знал. Предводитель Васич ѣздил в Москву, докладывал Великому Князю о том, что дѣлает намѣстник Филатьев — а о беззаконности штрафов и он не слыхал.

Нѣт, на Руси не в почетѣ закон. У всѣх на глазах, на виду, к общему соблазну, закон нарушается, беззаконіе процвѣтает, и никто не смущается этим, никто не подумал об этом.

И когда теперь вы, представители государственной власти, пріѣхали, чтобы наказывать этих людей, я вам в правѣ сказать: вы пришли, когда беззаконіе сдѣлали они, а гдѣ же вы были тогда, когда беззаконіе творилось над ними? Вы обвиняете их за то, что порядок нарушен был ими, а почему же вы молчали тогда, когда он нарушался Филатьевым? Не вы ли сами допустили то, за послѣдствія чего вы караете их?

Но так говорю вам я — их защитник; сами они разсуждали иначе. Они не знали многаго, но тѣм хуже. Они не знали статей устава о наймѣ, но зато они знали, что их раззоряют, что у них уничтожают хозяйство, что жить так нельзя.

Мы знаем, что закон охранял их права, что им было тяжело

только оттого, что закон нарушался; они не знали того и думали, что сам закон позволяет тот гнет, под которым они задыхались.

Мы знаем, что власти были на *их* сторонѣ, что Васич представительствовал за их интересы, что сам Шамшев, если бы знал, пришел к ним на помощь; они этого не знали и вѣрили, что власть против них, что она за Филатьева, за их разорніе, что власть продалась, как они говорили, Филатьеву.

Но от этого их положеніе лучше не стало и перед этими темными головами, перед этой безпомощной массой встал во всем его ужасѣ роковой вопрос: что же дѣлать, когда правда безсильна? Что же дѣлать, когда несомнѣнно правда за нас, а закон против нас? Когда власть охраняет неправду?

Что же дѣлать тогда? Покориться? Но покориться неправдѣ, значит отречься от правды; умирает народ, который ввел бы это в систему; умрет государство, которое потребует этого.

А если не покориться, то значит надо бороться с тѣм, что воплощает неправду, бороться с властью, которая ее охраняет.

Они и сдѣлали это; их борьба была неразумна, их пріемы нелѣпы, всѣм существом я осуждаю то, что они натворили: — но осуждая их, я хотѣл бы без задора, а с грустным сознаніем того, что такой вопрос не разрѣшится словами, спросить вас: а *какое* средство борьбы могли бы вы им предложить вмѣсто этого?

Громить экономіи, вымещать злобу на лицах — послѣднее и вполнѣ безполезное дѣло. Бороться надо иначе; надо распространять свои взгляды, надо объединять недовольных, надо обличать перед общественным мнѣніем и дурной закон, и близорукую власть, надо бороться с самыми порядками, которые нас давят. Да, *это* надо дѣлать, *это* надо им сказать, *это* надо им посовѣтовать: тогда не будет погромов. Но вы ли, представители закона и власти, это им скажете? Вы ли, перед которыми на скамьѣ подсудимых проходят тѣ, которые слѣдуют *такому* совѣту? Вы ли скажете это, вы, которые считаете преступленіем не только погром, но и мирное устройство союзов и распространеніе идей и понятій, которыя считают за правду?!

Вы осуждаете их, как судьи, по уголовному уложенію; но как представители государственной власти постарайтесь быть справедливыми. Вы не защитили их тогда, когда беззаконным путем их разоряли в деревнѣ, вы закрыли для них всѣ пути законно стоять за свои интересы, вы цѣлой системой воспитали в них грубость. Результатом было то, что вы знаете. Признайте же, что если они виноваты, то и мы всѣ виноваты перед ними — и в этом дѣлѣ справедливостью может быть только *высшая* милость.

Перепечатано из сборника «Молодая адвокатура».

II

ПЕРІОДЪ
КОНСТИТУЦІОННОЙ МОНАРХІИ

Законопроект об отмѣнѣ военно-полевых судов (Государственная Дума — 12 марта 1907)

В эпоху междудумія, для борьбы с революціонным террором, П. А. Столыпин в порядкѣ 87 ст. Осн. Зак. провел 19 августа 1906 г. чрезвычайную мѣру, получившую названіе "Положенія о военно-полевых судах". По этому Положенію, "в тѣх случаях, когда совершенное преступленіе являлось настолько очевидным, что, по мнѣнію Генерал-Губернатора, не было надобности в его разслѣдованіи, он получал право предавать обвиняемаго *особому* военно-полевому суду с примѣненіем наказаній по законам *военнаго* времени". Такой Суд составлялся из *строевых* офицеров, без представителей военно-судебнаго вѣдомства, без участія прокурора; приговор суда не подлежал никакому обжалованію и исполнялся немедленно. Защита не допускалась. "Положеніе" это не осталось мертвой буквой и примѣнялось очень часто до самаго созыва 2-ой Думы 20 февраля 1907 г.

По тексту ст. 87 Осн. Зак. "дѣйствіе принятой мѣры прекращается, если надлежащим Министром не будет внесен в Государственную Думу, в теченіе первых двух мѣсяцев послѣ возобновленія занятій Думы, соотвѣтствующій принятой мѣрѣ, законопроект или его не примут Государственная Дума или Государственный Совѣт".

2-ая Дума была созвана 20-го февраля 1907 г.; военно-полевые суды должны были прекратить свое дѣйствіе 20-го апрѣля этого года, но они, таким образом, могли при Думѣ дѣйствовать еще два мѣсяца. Дума не захотѣла с этим примириться и уже 9 марта внесла свой законопроект об *отмѣнѣ* военно-полевых судов. Практически этот законопроект разрѣшеніе вопроса ускорить не мог. При правѣ Министра не давать в теченіе мѣсяца *хода законопроекту*, разсмотрѣніе его могло начаться только 9 апрѣля и не могло кончиться до 20 апрѣля, т. е. к этому сроку быть разсмотрѣнным в Государственном Совѣтѣ и получить утвержденіе Государя. Дума на это и не надѣялась. Она хотѣла только немедленно поставить этот вопрос, чтобы высказать свое к нему отношеніе. Этой цѣли она достигла.

Послѣ двухдневных горячих преній, 13 марта 1907 г, Столыпин заявил, что не хочет становиться защитником военно-полевых судов, как судебнаго института; но что у государства бывают минуты "состоянія

необходимой обороны", когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между цѣлостью теорiи и цѣлостью государства. Он обѣщал, что правительство примет мѣры для того, чтобы ограничить примѣненiе этого суроваго закона только самыми исключительными случаями самаго дерзновеннаго преступленiя, с тѣм, чтобы закон этот пал бы сам собой путем невнесенiя его на утвержденiе законодательнаго собранiя. Столыпин слово сдержал, военно-полевой суд больше *не примѣнялся,* и 20 апрѣля в Думу закон внесен не был.

В эти два дня — 12 и 13 марта — по вопросу о военно-полевых судах выступило болѣе 40 ораторов; в своем отвѣтѣ 13 марта П. А. Столыпин сказал, что нападки на самую природу закона 19 августа "получили самое яркое отраженiе в рѣчи члена Думы Маклакова".

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА

Я бы хотѣл, господа, вернуться к обсужденiю настоящаго вопроса и потому оставлю без отвѣта ту критику, которую один член Думы (В. М. Пуришкевич) счел себя в правѣ по каким-то, нам неизвѣстным документам, дѣлать относительно цѣлой части собранiя. Я возвращаюсь к военно-полевым судам и, говоря о них, мнѣ хотѣлось бы стать на точку зрѣнiя наших *противников,* скажу болѣе, на точку зрѣнiя *авторов* этого суда. В первый день, когда читалась декларацiя Совѣта Министров, как справедливо отмѣтил докладчик, о военно-полевых судах ничего не было сказано; у всѣх явилась надежда, что они умрут своей естественной смертью. Но мимоходом в этой декларацiи, и еще болѣе в отвѣтной рѣчи предсѣдателя Совѣта Министров, была указана точка зрѣнiя, с которой он оправдывал эту печальную, исключительную и даже, по его взгляду, только временную мѣру. Предсѣдатель Совѣта Министров сказал: "власть — хранительница государственности; ударяя по революцiи, нам пришлось не щадить частных интересов". Я совершенно согласен с первым положенiем. Да, власть есть, дѣйствительно, хранительница государственности, и я привѣтствую ту власть, которая этого не забывает. Но я обращаюсь к тѣм, кто произнес эти слова, и к тѣм, кто им тогда аплодировал, и спрашиваю: неужели вы не видите, что военно-полевые суды в той постановкѣ, которую вы им дали, есть учрежденiе глубоко антигосударственное, что одно номинальное существованiе этого закона, даже если бы он не примѣнялся, уничтожает государство, как правовое явленiе, превращает его в простое состязанiе физических сил, в максимализм сверху и снизу?

Вы хотите с революцiей бороться строгой репрессiей. С своей точки зрѣнiя я бы сказал, что это путь ненадежный, который был уж испробован и ни к чему не привел. Но я стану на вашу точку зрѣнiя и спрошу оратора, который только что покинул эту трибуну,

который указал на примѣры Англіи и Франціи, на страны строгой уголовной репрессіи, и в этом видит спасеніе: развѣ в этих странах поступают так, как у нас? Что значит увеличеніе репрессіи? Что в правѣ сдѣлать государство, которое *этого* хочет? Оно может издать новый закон, т. е. издать общее правило, увеличить уголовную кару для всѣх, кто совершит опредѣленный проступок. Да, вы могли постановить, что не только покушенія на должностное лицо, но даже словесное его оскорбленіе карается смертной казнью. Это было бы свирѣпо, это было бы жестоко, но это было бы правовое явленіе, это было бы то, что и в Англіи, когда, как говорит г. Пуришкевич, за 12 пенсов казнили смертью, это было бы нѣчто, не допускающее произвола, общее правило для всѣх одинаковое, и хотя свирѣпый, но для всѣх одинаковый суд. Но, господа, есть нѣчто, чего всегда боится наше правительство — это общій закон. Не этим путем пошла наша власть, когда еще в 1881 году было издано печальное положеніе об усиленной охранѣ. Общій закон у нас не отмѣнен; мы при случаѣ им перед Европой гордимся; мы киваем на Англію, в которой за кражу могут повѣсить; у нас поступали иначе: дали администраторам право закон нарушать. Так было в положеніях об усиленной и чрезвычайной охранах, так в чудовищной степени вышло в отношеніи военно-полевого суда. Знаете ли вы ст. 17 Положенія об охранѣ, которая является предвѣстником того, что потом сдѣлано военно-полевыми судами? "Генерал-губернаторам, говорит эта статья, предоставляется передавать на разсмотрѣніе военных судов отдѣльныя дѣла о преступленіях, когда они признают это необходимым". Вот право, которое положеніе об охранѣ дало генерал-губернаторам; право передавать дѣло воен. суду тогда, когда он этого захочет, судить человѣка не по новому, болѣе строгому общему закону, а по спеціальному, тогда, когда он этого пожелает. И мы получили тогда ту практику нашей репрессіи, которая составляет загадку для нас, для Европы и особенно для юристов: за одно и то же преступленіе, при одинаковых условіях совершенное, — за убійство министра, в одном случаѣ судят военным судом и вѣшают, в другом — судебной палатой и не вѣшают. В один и тот же год вѣшали за убійство городового и не вѣшали за убійство министра, и это было не по закону, а по простому усмотрѣнію министра и даже просто генерал-губернатора. Был полный произвол, разрѣшенный законом, произвол, введенный ст. 17-й, в которой говорилось, что не общій закон, для всѣх одинаковый, не суд, для всѣх равный, рѣшает судьбу человѣка, а генерал-губернаторы поступают так, как хотят. И вот полевая юстиція сдѣлала слѣдующій шаг в том же духѣ: "в тѣх случаях, говорит Положеніе, когда для генерал-губернатора дѣяніе является настолько очевидным, что, по его мнѣнію, нѣт надобности в его разслѣдованіи, он это дѣяніе предает военно-полевому суду". Господа, по каким же законам мы живем, под какой закон

подпадает теперь преступник? Под любой: он может судиться в палатѣ сословных представителей по одному закону, военно-окружным судом — по другому, военно-полевым судом — по третьему, и все это по усмотрѣнію генерал-губернатора, как ему заблагоразсудится — так, этак или иначе. Когда нѣт одного общаго закона, когда есть три закона, тогда закона нѣт вовсе. Я вижу в этом не то, о чем говорил депутат, только что покинувшій эту трибуну, — не строгую репрессію, а отрицаніе общих норм права, отрицаніе самой законности. И первое, что я говорю против военно-полевых судов — это то, что они у нас, гдѣ уваженіе к суду и закону и без того уже подорвано, они дали право генерал-губернаторам открыто и явно говорить, что они выше закона, что у них в карманѣ по три закона, что для каждаго подсудимаго у них есть три различных скамьи и что от них, генерал-губернаторов, зависит, на какую его посадить и по какому закону судить. Военно-полевая юстиція есть отрицаніе закона и его для всѣх обязательной силы, отрицаніе *главнаго* устоя государственности, есть удар по самому государству.

Но этого мало; не только закон унижен этой юстиціей, ею унижен и суд. Я присоединяюсь к словам того депутата (В..Д. Кузьмина-Караваева), который сказал, что его, как юриста, оскорбляет необходимость называть военно-полевой суд судом. В судѣ самом строгом есть один элемент: свобода судейской совѣсти, судейскаго мнѣнія. Судьям дают в руки уголовный закон, но им предоставляют право в предѣлах закона назначить ту мѣру наказанія, которая по их мнѣнію справедлива. В военных судах этого права нѣт; нѣт с 1881 года, с положенія об усиленной охранѣ, коего военно-полевой суд явился логическим продолженіем. Военные законы строги. Статья 279 устава воинскаго говорит, что за разбой, за грабеж, за поджог и за убійство караются смертной казнью; но этот закон, хотя и строгій, есть все-таки закон, есть правовое явленіе, и когда военные судьи по этому закону судят людей, они все-таки судьи; у них есть 906 статья устава военно-судебнаго, которая дает право по мѣрѣ отдѣльной виновности понижать наказаніе. Положеніе об охранѣ измѣнило все это: во-первых, опять-таки по усмотрѣнію генерал-губернаторов, вмѣсто 279 статьи примѣнялась другая, болѣе строгая, кровавая ст. 18 положенія об охранѣ; по ней карают смертью не только за убійство, а за покушеніе, не только за лишеніе жизни, а за простое нанесеніе ран; по ст. 18 можно карать смертью даже за неосторожное убійство. Но этого мало; оно в его законных правах ограничило суд; ст. 906, которая говорит о правѣ понижать наказаніе, не отмѣнена, она существует,но в 1887 году был издан тайный циркуляр, который военный министр сообщил судьям к руководству, а именно тайное Высочайшее повелѣніе о том, чтобы судьи статьей 906 не пользовались. Так совершилось это глубоко антигосударственное явленіе, по которому закон не отмѣняли, но судьи, храни-

тели закона, не смѣли его примѣнять. Тогда стали появляться тѣ ужасные приговоры, против которых протестовала совѣсть судей, которых они не хотѣли, в которых они, судьи, были не судьями, а игрушкой в руках генерал-губернаторов. На этих судей негодовали, их клеймили именем палачей; я не хочу винить их, жалких исполнителей суроваго долга, но называть такой суд судом для юриста кощунство. Но военно-полевой суд пошел еще дальше. Военно-окружному суду оставалась одна возможность: признать в том случаѣ, когда это было мыслимо, что преступленія не было, что разбой не был окончен, что грабеж только предполагался, отвергнуть отягчающій признак. Но даже этого права не осталось у военно-полевого суда. Указ 19 августа говорит, что военно-полевому суду предают только тогда, когда преступленіе настолько очевидно, что нѣт надобности в его разслѣдованіи. Эти слова предрѣшают приговор суда. Гдѣ найдете вы подчиненных офицеров, которые рѣшатся сказать генерал-губернатору: вы находите, что преступленіе так очевидно, что нѣт надобности в самом судѣ, а мы находим, что это неправда: преступленія не было. Для того, чтобы так отвѣтить, нужно имѣть то гражданское мужество, котораго требовать невозможно. Смотрите же, господа, что вы дѣлаете. Есть два государственных устоя: закон, как общее правило, для всѣх обязательное, и суд, как защитник этого закона. Когда цѣлы эти начала — закон и суд — стоит крѣпко и сама государственность. И их вы должны защищать, вы, хранители государственности. А вы подорвали закон, вы в грязь втоптали суд, вы подкопались под самыя основы государства — и все это сдѣлано для храненія государственности. Вы говорили: ударяя по революціи, мы не могли щадить частных интересов. Насколько мелка эта оговорка сравнительно с тѣм, что вы сдѣлали. Не о частных интересах идет теперь рѣчь. Их дѣйствительно не щадят ни власть, ни максималисты. Но есть нѣчто, что надо было щадить, нѣчто, что вы должны защищать, это — государственность, суд и закон. Ударяя по революціи, вы ударяли не по частным интересам, а по тому, что всѣх нас ограждает — по суду и законности. Я думаю, что это ошибочный путь — ударять по революціи для ея прекращенія. Я не менѣе, чѣм власть, хочу конца революціи, жду момента, когда Россія сойдет с того пути отчаяніія и самосуда над своими обидчиками, говоря словами депутата Шульгина, которым она идет до сих пор. Я жду того момента, когда революція кончится, начнется мирное преуспѣяніе. Я жду этого, но увѣрен, что этого мы достигнем не такими путями. Но и вам, которые думают иначе, я скажу, что, ударяя по революціи военно-полевыми судами, вы ударяете по нам, мирным гражданам, по всѣм тѣм, которые хотят суда и законности. Если вы так добьете революцію, то вы добьете одновременно и государство, и на развалинах революціи будет не правовое государство, а только одичавшіе люди, — один хаос государ-

4

ственнаго разложенія. *(Оглушительные аплодисменты слѣва и центра).*

И этого мало. Нам здѣсь говорил предсѣдатель Совѣта Министров, что "власть иногда ошибается". Людям свойственно ошибаться, и даже, как откровенно и честно сказал он, злоупотреблять властью. И вот этому злоупотребленію властью военно-полевой суд открыл широкій произвол. И какія же мѣры приняли вы, чтобы этих злоупотребленій властью не было, хотя бы в тѣх случаях, когда от таких злоупотребленій воздвигаются висѣлицы? Я этого не знаю, я знаю только, что был разослан циркуляр 10-го октября, в котором указывалось генерал-губернаторам на тѣ злоупотребленія, которыя они дѣлали. Это ужасный циркуляр. Он удостовѣрил, что смертная казнь примѣняется там, гдѣ это невозможно, что военно-полевыми судами злоупотребляют. Он признал существованіе ужаснаго факта, что когда находились мужественные судьи, которые говорили, что "мы, судьи, признаем, что вы, администрація, ошиблись", то генерал-губернаторы стали отмѣнять приговоры. Предсѣдатель Совѣта Министров разослал циркуляр, в котором сказал, что этого права они не имѣют, что приговор военно-полевого суда окончательный и что измѣнять его не смѣет никто. Но развѣ не знает предсѣдатель Совѣта Министров, что этот циркуляр не исполнен? Если он не знает, то я скажу ему, как москвич, что через нѣсколько дней послѣ этого циркуляра у нас в Москвѣ генерал-губернатор Гершельман отмѣнил приговор, который не послал на висѣлицу Тараканова и Коблова, и предписал их повѣсить. Это было оглашено в печати. Я бы мог сказать: почему человѣк, который до такой степени злоупотребляет своей властью, остается во главѣ управленія, но об этом мы предъявим запрос своевременно. Теперь я скажу: что это за порядок, который сдѣлал это возможным, который жизнь человѣческую завѣдомо предоставил безконтрольному усмотрѣнію людей, склонных к злоупотребленію властью? Такой порядок не только нарушает законность и компрометирует суд, он плодит ту атмосферу безправія, которая составляет язву Россіи, порождает печальныя послѣдствія снизу.

И вот защитники этих судов приходят к нам с наивным или ядовитым вопросом и говорят: вы осуждаете полевые суды, а чѣм лучше революціонный подпольный трибунал? Осудите убійства слѣва и тогда все прекратится. Господа, придет время и на этот вопрос я вам отвѣчу с этой трибуны с полной откровенностью; но теперь я хочу стоять на вашей точкѣ зрѣнія и спрошу: развѣ вы не видите, что, оправдывая военно-полевые суды ссылкой на революціонный трибунал, который таится в подпольѣ, вы этим даете самую убійственную характеристику ваших судов; вы уподобляете их тому революціонному трибуналу, который вы сами казните во имя закона? Подражая им, вы думаете спасти государственность; но развѣ госу-

дарственность станет цѣльнѣе, если вы пойдете по пути ваших врагов, усвоите у тѣх, кого вы караете, и пріемы и метод дѣйствія? Но я скажу больше. Если вы хотите сравнить себя с ними, то подумайте, что как ни ужасно то, что дѣлает террор снизу, но это менѣе ужасно, чѣм ваш террор военно-полевых судов. Я противник убійства, я понимаю ужас людей, которых подстрѣливают на улицѣ, которых на куски разрывают бомбы; я понимаю, как это ужасно, но это ничто в сравненіи с тѣм, что дѣлают военно-полевые суды. Все-таки нѣт ничего отвратительнѣй, как легальное священнодѣйствіе казни. Там, при убійствах, все же есть возможность борьбы, есть надежда спастись, хотя и тщетная. А что дѣлается у вас, при этих безчисленных казнях? Приводят человѣка, пойманнаго, обезоруженнаго, связаннаго и объявляют ему, что через нѣсколько часов он будет убит; допускают родных, которые прощаются с ним, дорогим и близким, молодым и здоровым, и который по волѣ людей должен умереть. Его ведут на висѣлицу, как скотину на бойню, его тащат к мѣсту, гдѣ стоит уже приготовленный гроб, и в присутствіи доктора, прокурора и священника, которых кощунственно призывают смотрѣть на это дѣло, спокойно и торжественно его убивают. И этот ужас легальнаго убійства превосходит всѣ эксцессы революціоннаго террора. Рекорд по части забвенія человѣческой природы власть побила над революціей. *(Аплодисменты).*

Я возвращаюсь к тому, чѣм я начал. Я понимаю, что государственная власть защищается, понимаю, что бывает нужна и строгость, но есть нѣчто, чего нельзя забывать: это то, что государство должно жить по закону, что суд должен быть судом, что нельзя освящать произвола. Полевые суды в этом смыслѣ так позорны, что если бы они даже болѣе не примѣнялись, одна их возможность абсолютно несовмѣстима с тѣм, что предсѣдатель Совѣта Министров говорил о государственности. Я скажу, что если его декларація не только слова, не одни обѣщанія, то министерство присоединится к нам в этом вопросѣ и, не выжидая мѣсячнаго срока, само скажет: позора военно-полевого суда в Россіи больше не будет. *(Бурные аплодисменты). Голоса:* "перерыв").

Перепечатано из стенографическаго отчета Государственной Думы.

ДѢЛО О ПОДПИСАВШИХ ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ

(Петербургская Судебная Палата в Петербургѣ 12 – 18 декабря 1907 г.)

Как извѣстно, послѣ роспуска 8 іюля 1906 г. І-ой Государственной Думы члены ея отправились в Выборг, гдѣ приняли и подписали воззваніе "Народу от народных представителей", в котором призывали страну не платить налогов и не давать рекрутов в армію до новаго созыва Государственной Думы.

"Дѣло" о Выборгском воззваніи слушалось в С.-Петербургской Судебной Палатѣ с участіем сословных представителей от 1-го до 18-го декабря 1907 г. Многое было необычно в этом процессѣ. Судилось 169 человѣк, обвиняемых в одном и том же преступленіи, в подписаніи воззванія. У них было 100 с лишком защитников, которые по обычаю защищали всѣ — всѣх. Но из этих 100 защитников только трое защитительныя рѣчи сказали — Тесленко, Пергамент и Маклаков. А. М. Александров от имени трудовиков и соціал-демократов от защиты отказался, сдѣлав мотивированное заявленіе; другіе просто молчали. Из самих 169 подсудимых правом слова воспользовались 16 человѣк.

Всѣ подсудимые, не отрицая подписанія воззванія, виновными себя не признали и объяснили, почему считали себя обязанными так поступить. *Этой* стороны дѣла защитники не касались. Их задача была оспаривать квалификацію преступленія. Обвиненіе с первых подготовительных шагов к дѣлу считало самое "подписаніе воззванія" преступленіем, предусмотрѣнным знаменитой 129-ой статьей Уг. Уложенія; оно имѣло бы послѣдствіем потерю осужденными навсегда их *политических прав*. Такую постановку защита оспаривала, как искусственную, преслѣдующую посторонні правосудію цѣли.

В настоящем сборникѣ помѣщается послѣдняя из трех сказанных защитой рѣчей — рѣчь В. А. Маклакова.

Приговором Палаты всѣ обвиняемые, кромѣ двух, были осуждены по 129-ой ст. на 3 мѣсяца тюрьмы.

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА

Мои товарищи по защитѣ*) исчерпали юридическій матеріал и мнѣ остается добавить немного. Вѣдь если смотрѣть на выборгское воззваніе с исторической или политической стороны, то оно — неисчерпаемая тема для разсужденій и размышленій. Но если смотрѣть с точки зрѣнія юридической, притом с точки зрѣнія не юриста-теоретика, который критикует закон, а юриста-практика, который заботится только о том, чтобы правильно его примѣнять, весь этот процесс крайне прост и несложен. Правда, эта точка зрѣнія суха, ограничена, неблагодарна, она ниже вопроса, но она имѣет то преимущество, что она единственная, на которой может остановиться судья.

Когда выборгское воззваніе появилось, его критиковали, его осуждали с разных сторон. Его осуждали тѣ, кто видѣл в нем уклоненіе от пути строгой законности, орудіе, которое добровольно давали против себя в руки врагам. С неменьшей горячностью и еще с большим правом его осуждали тѣ, кто видѣл в нем палку, которая была кинута в колеса активной, кровавой революціи, видѣли пониженіе революціоннаго настроенія, призыв к мирным, пассивным формам борьбы. Его осуждало правительство, в борьбѣ с которым оно было новым и, казалось, опасным пріемом: и правительство не только его осуждало, оно с ним боролось, и иначе быть не могло.

Неожиданным было лишь то, что в этой борьбѣ правительство прибѣгло к услугам суда, к защитѣ общих законов. И не только потому, что, как показывает нелицемѣрный опыт исторіи, правительство наше надѣлено достаточно широкими полномочіями, чтобы расправляться со своими противниками своими средствами, не прибѣгая к суду, слугѣ закона, а не перемѣнчивых видов правительства. Это было неожиданно потому, что, как бы ни смотрѣть на воззваніе, ясно, что подведеніе его под уголовное уложеніе, под сакраментальную формулу, что оно такой-то статьей "предусмотрѣно", было явным анахронизмом. Глубоко вѣрно сказал И. И. Петрункевич, что бывают народныя переживанія, которыя в уголовное уложеніе не укладываются. Но этого мало: то дѣяніе, за которое их судят, в рамках того историческаго момента, когда уложеніе составлялось, было немыслимо. Вѣдь по смыслу, по цѣли своей оно есть попытка дать отвѣт на вопрос: как защитить нарушенныя права народнаго представительства?

Такой вопрос не мог быть даже поставлен в то время, когда писалось уголовное уложеніе, когда самая идея народнаго представительства была преступленіем и права его защитой не пользовались. Такой акт, как выборгское воззваніе, являющееся протестом одной части государственнаго механизма против другой на защиту прав, по закону ей предоставленных, в глазах законодателя того

*) Тесленко и Пергамент.

времени стоял внѣ предѣлов возможнаго. Но обращеніе власти к суду было не только неожиданным, оно для многих казалось отрадным. Для тѣх оптимистов, быть может наивных, которые привыкли вѣрить словам, разрѣшеніе этого дѣла не экстра-ординарными средствами, передача его простому суду казалась подтвержденіем тѣх офиціальных сообщеній, в которых правительство заявляло, что оно безповоротно вступило на путь закона и права. Обращеніе к суду, который служит не политикѣ, а только закону, к суду, от котораго, как гордо говорили когда-то французскіе суды, власть может ждать приговоров, а не услуг, к суду, для котораго нѣт различія между людьми, облеченными властью и ей подчиненными, — обращеніе к такому суду, как бы ни была узка и формальна задача, которую ставили на его разрѣшеніе, казалось все же торжеством правосудія.

Но чѣм отраднѣе были надежды, тѣм печальнѣе тот конец, к которому мы приходим теперь. Ибо то обвиненіе, в которое выродилось это обращеніе к суду, не вызывает в нас прежняго чувства; в нем нѣт и помина законности. Пусть весь процесс развѣнчан и сведен к простому спору об уголовной статьѣ. Даже на этой почвѣ прокурор закона не соблюдает. Не мы выносим окончательный и полный приговор тому, что они сдѣлали в Выборгѣ. Он будет произнесен помимо нас, и мы не знаем его. Прокурор напрасно говорит о приговорѣ, который будто бы страной уже вынесен. Он не знает, что сказала и что еще скажет страна.

Я думаю даже, что то отношеніе, которое они сейчас к себѣ вызывают, характерно не столько для них, сколько для тѣх, кто их судит. О конечно... Есть люди, которые теперь, видя их неудачу, считают себя умнѣе и дальновиднѣе их и готовы бросать в них каменьями, вымещая на них и свои разбитыя надежды, и свое собственное безсиліе. Но есть и другіе, которые в своем отношеніи к своим первым избранникам, чьи ошибки, даже преступленія были совершены ради них, найдут в себѣ то величіе духа, которое проявил когда-то римскій сенат, когда консул Варрон, легкомысленно вступив в бой, потерял и битву, и армію и привел государство к великой опасности, и который обратился к нему не с упреками и укоризной, а с благодарностью за то, что он не отчаялся спасти государство. Не знаю, как отнесется к ним русскій народ, и не с прокурором я хочу спорить об *этом*. Ему я скажу: вы обвиняете их в неповиновеніи закону, а сами здѣсь, на судѣ, требуете его нарушенія; своим обвиненіем вы создали то положеніе, что вы, прокурор, блюститель закона, явно для всѣх его нарушаете, а против вас закон защищают тѣ, кто выборгское воззваніе подписал. Для того, чтобы их защищать, не нужно даже сочувствовать им; их воззваніе можно считать не только ошибкой, но преступленіем, но когда к ним подходят с *таким* обвиненіем, которое предъявил прокурор, самый строгій их

критик должен сказать прокурору: "нѣт, на этот путь беззаконія мы с вами не встанем". Не буду судить: заслужена ли кара, которой требует для них обвинитель, но навѣрное знаю, что она незаконна. И в обвинительной рѣчи я вижу поэтому не торжество, а распинаніе правосудія. Нарушеніе закона со стороны прокурора началось с первых шагов обвиненія. Мой товарищ указывал, что раньше, чѣм были установлены факты распространенія, было начато слѣдствіе предложеніем прокурора палаты примѣнить именно эту статью.

Таково было начало, но возьмите конец. Я спрашиваю вас: почему вы, с.-петербургская палата, признали это дѣло подсудным себѣ? Ссылаясь на ст. 208, обвинитель доказывал, что преступленіе это подсудно русским судам.

Если обвинить их в распространеніи, то, правда, оно подсудно русским судам; но почему же все-таки петербургской палатѣ? Распространеніе, в котором их обвиняют, имѣло мѣсто в курской, симбирской, самарской, пензенской губерніях, но не в петербургской. Оно, может быть, подсудно казанской, кіевской, московской палатѣ, но не петербургской. Закон знает случаи и порядок, когда рѣшеніем сената подсудность может быть измѣнена. Такого рѣшенія не было. По какому же основанію, больше, по какому праву дѣло судите вы? Здѣсь было допрошено нѣсколько совсѣм ненужных свидѣтелей, говоривших о том, что кто-то когда-то близ Петербурга выбросил прокламацію за окошко. Уж не благодаря ли этому показанію вы измѣнили подсудность? Мы в гражданских процессах знаем, какія ухищренія принимаются для того, чтобы произвольно мѣнять установленную законом подсудность; привлекают фиктивных отвѣтчиков только затѣм, чтобы судиться там, гдѣ угодно. И когда это дѣлают частные люди в защиту своих интересов, это вызывает самое строгое порицаніе. Но что же сказать про государственнаго обвинителя, который прибѣгает к *таким* же пріемам и устанавливает такую же исключительную, незаконную, чисто выборгскую подсудность этого дѣла?

Но это нарушеніе для нас, по существу, безразлично. Мы готовы судиться в петербургской палатѣ. Дальнѣйшее уже гораздо важнѣе. Оно состоит в неправильном, незаконном подведеніи их поступка под 129 ст. И об этом я говорю не за тѣм, чтобы уменьшить наказаніе. Сами подсудимые себя так не защищают. Они от кары не бѣгут. И это не фраза. Это не фраза, потому что все, что в этом дѣлѣ есть против них, все это только их слова, их показанія, без них в процессѣ нѣт ничего. На листѣ 55 вы увидите запрос слѣдователя финляндскому губернатору прислать ему "необходимый для него подлинник воззванія". Он его не достал. Прокурор не может нам доказать, что то воззваніе, которое расходилось во множествѣ списков, было, дѣйствительно, подписано и составлено в Выборгѣ. Он не знает, кто его там подписал. На листѣ 187 вы увидите, как один из тѣх,

чье имя значилось на этих списках, отрекся от подписи, и ему пришлось поневолѣ повѣрить — он не привлечен. Стоило всѣм обвиняемым не запираться, не отрекаться, а только почувствовать себя в той роли, в которую их поставило обвиненіе, в роли простых обвиняемых по уголовному дѣлу, и, вспомнив о тѣх правах, которыя им предоставлены законом, отказаться от всяких отвѣтов, и в этом дѣлѣ нѣт ничего, никакое обвиненіе невозможно. Но вы знаете, что они этим путем не пошли, что они свою подпись признали, что они, и только они, дали вам возможность себя обвинять, и свою уголовную отвѣтственность уменьшить не пытаются.

Но если они не защищают себя, то мы, юристы, должны их защищать; и не их мы защищаем против нападенія прокурора, мы защищаем от него самый закон.

Мои товарищи по защитѣ уже старались вам доказать, почему ст. 129 не примѣнима. Я, для простоты разсужденія, соглашусь с прокурором, что содержаніе воззванія было преступно, что под уголовную статью оно подошло. Но я спрошу вас все-таки, *в чем* они виноваты? Наш уголовный закон знает два различных дѣянія, двѣ различныя статьи: о составленіи и о распространеніи преступных воззваній. И прежнее уложеніе (ст. 252, 274) различало опредѣленно тѣх, кто воззваніе составил, но не изобличен в его распространеніи, и тѣх, кто распространял, все равно, свое или чужое. На той же почвѣ стоит и новое уложеніе. 129 ст. карает только тѣх, кто распространяет, а ст. 132 тѣх, кто составил для распространенія, но сам не распространял. Можно говорить, что такой закон несправедлив, что тот, кто составил, виновнѣе тѣх, кто потом составленное распространял. С этим можно спорить, с этим можно и согласиться? Но что же дѣлать? Таков наш закон, который прокурор призван примѣнять, а не исправлять. Такова наша неизмѣнная практика. Я могу напечатать преступное воззваніе за-границей; привезенное потом в Россію, распространенное там, оно может подвести под отвѣтственность тѣх, кто за это распространеніе взялся. Морально я виновнѣе их, но судить меня не станут.

Вот как по закону прокурор должен отнестись к тѣм, кто составил и подписал воззваніе в Выборгѣ.

Единственный спор, который мог здѣсь возникнуть, мог идти лишь о том, возможно ли примѣнить ст. 132 нашего уложенія, или же должно примѣнить финляндскій закон: как примирить столкновеніе двух противоположных статей — 5 ст. уложенія и ст. ст. 216, 217 устава уголовнаго судопроизводства? В этих предѣлах между нами мог бы быть интересный юридическій спор, но только в этих предѣлах. Когда же прокурор вмѣсто этого требует примѣненія 129 ст., когда это дѣлается по первоначальному предложенію прокурора палаты, тогда невольно возникает вопрос, зачѣм было нужно такое явное насиліе над уголовным законом? Я не буду разбирать,

зачѣм было нужно. Здѣсь начинается область догадок. Но мы знаем слишком хорошо, что из-за этого вышло. Из-за этого вышло, что в теченіе $1\frac{1}{2}$ года эти люди уже лишены того, что им дороже всего — политических прав, что какова бы ни была та мѣра наказанія, которую им назначат по этой статьѣ, они будут лишены этих прав навсегда. Уголовный суд становится, таким образом, орудіем борьбы политической, цѣль его свести противников с политической сцены. И чтобы достигнуть таких результатов, обвинителю пришлось дать ст. 129 такое своеобразное толкованіе, от котораго у юриста станут волосы дыбом. Ему приходится говорить, что составленіе есть не что иное, как участіе в распространеніи. Мой товарищ доказывал вам, что это есть полное извращеніе понятія соучастія. А я укажу вам на то, что таким толкованіем прокурор упраздняет из закона понятіе составленія. Как? Вот статья, которая говорит, что есть два наказанія — одно за составленіе, другое за распространеніе. Там это написано черным по бѣлому. Но является г. прокурор, блюститель закона, и заявляет, что наказаніе за составленіе ему кажется малым, и чтобы это затрудненіе обойти, он в понятіи составленія будет видѣть участіе в распространеніи.

Тогда получается, что по своему произволу, без всякаго основанія, кромѣ своего пожеланія, прокурор будет карать автора то за составленіе по уголовной статьѣ, то за участіе в распространеніи, как в выборгском дѣлѣ. Тогда выходит, что закон напрасно устанавливает кару за составленіе, что эта кара, этот закон прокурору не нужен. И это значит закон примѣнять?

Прокурор скажет, быть может, что, по новому уложенію, этот обход прямого закона можно сдѣлать свободнѣе, что в ст. 132 говорится лишь о том составленіи, которе не получило распространенія вовсе, и что, если хотя бы распространеніе совершилось другими руками, в этом случаѣ составитель под эту статью не подходит. Но если он явится с подобной теоріей, то это будет нарушеніем ст. 15 нашего уложенія, по которой отвѣтственность измѣняться не может в зависимости от того, что будет сдѣлано чужими руками. Ст. 132 карает за провоз сочиненія из-за границы. Если я провез, но не распространил, то ко мнѣ примѣнят 132 статью. Но неужели мое преступленіе превратится в дѣяніе, предусмотрѣнное ст. 129, только от того, что сочиненіе, мной провезенное и не распространенное, будет привезено и распространено иными, помимо меня? Не значило ли бы это попросту карать меня за других, а не за то, что сдѣлано мною? И никакія попытки, никакія ухищренія не сдѣлают возможным карать составителя не по тѣм статьям, которыя написаны для составителя, а по тѣм, которыя карают только распространителя. Но мало того, что для примѣненія вашей статьи вам пришлось изломать уголовный закон, вам приходится сдѣлать то же и над фактами этого дѣла. Как! Всѣх подписавших, только потому, что они подписали, вы обвиняете

одинаково — в общем соглашеніи на распространеніе, и не хотите видѣть, что среди этих людей есть люди враждующих политических партій, люди, по разному глядящіе на этот вопрос, вы не хотите видѣть того, что в вашем же обвинительном актѣ записано, что нѣкоторые из них прибыли в Выборг уже послѣ того, как воззваніе было составлено и было подписано, и ни в какое соглашеніе ни с кѣм не входили; вы забываете, что, как показали ваши свидѣтели, многіе из тѣх, которые это воззваніе подписали, против него возражали, подписали лишь потому, что в этот трагическій миг не допускали раскола. Но распространять не могли того, чего выпускать не хотѣли. Вы закрыли глаза на все это, и из одной подписи, которая дѣлалась по побужденіям столь различным, с цѣлями, столь разнородными, людьми, по своему существу столь друг другу враждебными, — из одной этой подписи, без тѣни других доказательств, с простотой, достойной не судьи, а механика, выводите, что лицо подписавшее не только подписало, но одинаково вмѣстѣ со всѣми другими согласилось продѣлать все то, что другіе продѣлали. И эта простота нужна вам лишь потому, что если вы на минуту отступите от этого разсужденія, если вы допустите то, чего невозможно не видѣть, что вина не всѣх одинакова, подпись сама по себѣ еще не все доказала — то от всего вашего обвиненія ни слѣда не останется. Ибо, кромѣ подписи, у вас нѣт ничего; и если мы потребуем, чтобы вы хоть чѣм-нибудь доказали все то, что вы про них говорите, то вам придется умолкнуть.

И всѣ эти юридическія хитросплетенія, эти насилія и над законом, и над фактами, вам пришлось сдѣлать только за тѣм, чтобы во что бы то ни стало примѣнить 129 ст. там, гдѣ ее примѣнить невозможно; только потому, что в этом дѣлѣ шли не от фактов к выводу, а к готовому, заранѣе указанному, прокурором предложенному выводу не стѣсняясь истиной, вы подгоняете факты.

И такая постановка обвиненія не есть торжество правосудія; я скажу про нее, что она общественное бѣдствіе. И во мнѣ говорит сейчас не их политическій единомышленник, который относится к ним, когда они сидят на этих скамьях, с тѣм же уваженіем, с каким относился к ним, когда они сидѣли на наших скамьях; не юрист, которому больно равнодушно смотрѣть, как на его глазах истязают закон, — во мнѣ говорит человѣк, который имѣет слабость думать, что суд есть высшій орган государственной власти, как закон есть душа государственности. Бѣда страны не в дурных или, как принято говорить, в несовершенных законах, а в том, что беззаконіе может твориться у нас безнаказанно. И какіе бы хорошіе законы ни были изданы, как бы ни был хорош законодательный аппарат, который теперь установлен, но если законы охранять будет некому, то от них не будет блага Россіи. А охрана закона от всякаго нарушенія и сверху и снизу есть задача суда. Им могут быть за то недовольны,

его могут втягивать в борьбу политических партій, могут грозить его несмѣняемости, но пока суд, хотя и очень смѣняемый, но независимый суд, стоит на стражѣ закона, — до тѣх пор живет государство.

И когда я вижу, что прокурор, блюститель закона, просит, публично просит его нарушенія, когда не для торжества правосудія, а ради политических цѣлей он просит примѣнить статью, которую нельзя примѣнять, тогда наступает тот политическій соблазн, перед которым в отчаяніи опускаются руки. И не о судьбѣ этих людей, как бы они ни были близки и дороги, я думаю в эту минуту. Для них ваш приговор многаго сдѣлать не может, — но от него я жду отвѣта на тот мучительный вопрос, с которым смотрят на этот процесс многіе русскіе люди, вопрос о том, — есть ли у нашего закона защитники? (*Аплодисменты подсудимых и перерыв засѣданія*).

(Перепечатано из стенографическаго отчета о засѣданіи Пет. Судебной Палаты 12-18 декабря 1907 г. Изд. "Общественная Польза" 1908 г.).

ЗАПРОС ОБ АЗЕФѢ

(Засѣданіе Государственной Думы 13 февраля 1909 г.)

Дѣло Азефа — общеизвѣстно. Глава боевой организаціи, устроившій много террористических актов, в том числѣ убійство Плеве, Вел. Кн. Сергѣя Александровича и др. оказался агентом охраннаго отдѣленія. Был избран в главы боевой организаціи, уже находясь на службѣ этого отдѣленія. Его разоблачило чутье В. Л. Бурцева и то, что А. А. Лопухин, бывшій ранѣе директором департамента полиціи, узнав о подвигах Азефа, как революціонера, не стал его покрывать и признал перед Бурцевым, что Азеф был в связи с полиціей. Это разоблаченіе вызвало невѣроятную сенсацію и в Россіи, и за-границей, т. к. в то время провокація еще ни разу не достигала подобных размѣров. В результатѣ Азеф скрылся, а А. А. Лопухин был предан суду за пособничество революціонной партіи и был в 1-ой инстанціи приговорен к каторгѣ, а во второй к ссылкѣ на поселеніе. В Думѣ, в январѣ 1909 г., был предъявлен запрос, который слушался в февралѣ 1909 г. На запрос отвѣчал Столыпин, который, отвергая участіе Азефа в совершеніи террористических актов, представлял его только агентом полиціи, который раскрывал и предупреждал преступленія, а не организовал их. "Нельзя же обвинять правительство за непорядки по революціи", иронически замѣтил он. Одновременно с защитой Азефа, и рѣшительным осужденіем Лопухина, Столыпин высказал свое принципіальное порицаніе "провокаціи". Октябристское большинство в Думѣ стало на ту же позицію; была принята октябристская формула, признавшая объясненія правительства удовлетворительными.

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА

Маклаков (г. Москва). В этом дѣлѣ, господа, правительство не захотѣло, как заявил предсѣдатель Совѣта Министров, становиться в положеніе стороны. Еще менѣе слѣдует это дѣлать Государственной Думѣ. Вѣдь, что бы ни говорило правительство, все таки, весь вопрос об Азефѣ есть спор, тяжба между правительством и революціей, и сам предсѣдатель Совѣта Министров признал это, когда говорил о встрѣчном искѣ, который к ним, к правительству, предъявила революція. Но в этом спорѣ Государствен-

ная Дума, дѣйствительно, не сторона. Государственная Дума может к нему подойти с той точки зрѣнія, с которой хотѣл подойти сам предсѣдатель Совѣта Министров, подойти с точки зрѣнія государственности, которой она является не только защитницей, но в настоящее время скорѣе созидательницей. И, вѣдь, ясно, господа, что дѣло Азефа важно не тѣм, что оно раскрыло перед нами что-то неслыханное и невиданное; масштаб, дѣйствительно, новый, но картина очень знакомая; вы всѣ знаете, что была сначала попытка со стороны правительства пойти прежним путем — все отрицать, оштрафовать газеты, которыя об этом заговорили, яко бы за явную неправду, и похоронить это дѣло вмѣстѣ со многими другими, уже похороненными провокаціями. Но, слава Богу, и в том-то заслуга этого дѣла, что в данном случаѣ это так не окончилось. Вопрос поставлен, вопрос стал на обсужденіе Думы, и мы услышали от представителя правительства много подробностей, которых мы, быть может, слышать не ожидали. Однако, выяснилось ли все до конца? Можно ли сказать, что в этой грязи, в кровавой грязи, в которой вертится все дѣйствіе, связанное с именем Азефа, что в этой грязи мы видим все отчетливо и ясно? К несчастью, — нѣт; многое и теперь остается неясным. Я даже скажу, что едва ли здѣсь, в думской залѣ, мы можем все выяснить. Вѣдь тѣ источники, которыми нам приходится пользоваться, эти источники и с той и с другой стороны заранѣе опорочены. Вѣдь правду знает кто? Знают ее революціонеры, и знает ее охранное отдѣленіе. Только они ее знают вполнѣ. И что ж мы видим? Принесены здѣсь свѣдѣнія от одной стороны. Прочтено постановленіе центральнаго комитета партіи соціалистов-революціонеров, лица заинтересованнаго, но находящагося в курсѣ этого дѣла. Нам говорят: им вѣрить не слѣдует; они — сторона. Прочли здѣсь документ, подлинность котораго предлагают вам удостовѣрить судебным порядком, документ, который по своему характеру, дѣйствительно, носит всѣ признаки подлинности, который говорит о том, что человѣк, обвиняемый в провокаціи, сослался перед своими сотрудниками, в опроверженіе этого, на то, что они сами знают, что он участвовал, организовывал убійство Плеве, убійство Великаго Князя, слѣдовательно, стоит внѣ подозрѣнія. Господа, для прокурора этот документ должен был быть рѣшающим. Я не думаю, чтобы был у нас прокурор, который, получив подобное признаніе в письмѣ, хотя бы даже перехваченном, чтобы он сказал: все это вздор, он говорит о себѣ самом и потому мы ему вѣрить не можем. Но, когда говорят, что документ исходит от заинтересованнаго лица, и что ему поэтому вѣрить не слѣдует, я готов признать, что вы правы; я готов сказать: будем осторожны, будем недовѣрчивы и оставим вопрос об этом письмѣ, по крайней мѣрѣ, открытым. Но, к сожалѣнію, что нам принесли с другой стороны? Вѣдь предсѣдатель Совѣта Министров, который выступил с

утвержденіем, что эти факты невѣрны, что эти факты ложны, откуда почерпнул свои свѣдѣнія? Вы не будете отрицать, что его свѣдѣнія взяты прямо от заинтересованной, прямо от судимой стороны. В этой тяжбѣ охранки и революціи — охранка сама есть судимое лицо, Вѣдь из-за нея сюда сошлись, вѣдь ее защищает здѣсь предсѣдатель Совѣта Министров. И думаете ли вы, что эта охранка, полная Азефов неразоблаченных, скажет всю правду про Азефа разоблаченнаго? Относитесь же к этому источнику с тѣм же скептицизмом, с тѣм же здоровым недовѣріем и скажите: в этом дѣлѣ до сих пор правда еще не далась, по крайней мѣрѣ, в подробностях. Мы будем ее ждать, эту правду, не от печати, не от донесеній охраннаго отдѣленія, а будем ждать ее, как сказал предсѣдатель Совѣта Министров, от нелицепріятнаго суда. Нам здѣсь обѣщан процесс, нам сказали, что суд, суд нелицепріятный, выскажется по дѣлу Лопухина и раскроет всю ту картину, которую мы здѣсь обсуждаем. Да, я хотѣл бы закрѣпить это обѣщаніе предсѣдателя Совѣта Министров, я хотѣл бы, чтобы мы дѣйствительно могли быть увѣренными, что не здѣсь, гдѣ мы друг другу не вѣрим, не здѣсь, гдѣ мы заранѣе опорачиваем всѣ документы, а там, на судѣ нелицепріятном, на судѣ, гдѣ мы увидим живых людей, гдѣ нам покажут не то, что хотят, а все, что извѣстно, гдѣ мы поставим свидѣтелей на очную ставку, что там станет ясно, что такое охранное отдѣленіе, провокація, и прежде всего станет ясно для предсѣдателя Совѣта Министров. Но для того, чтобы суд чего-нибудь достиг, чего нибудь добился, я хотѣл бы, чтобы поняли, что значат эти слова "нелицепріятный суд". Пусть это будет суд гласный, но этого мало. Для того, чтобы этот суд раскрыл правду, был дѣйствительно нелицепріятным судом, для этого нужно, чтобы прежде всего этот суд кое-что позабыл: чтобы он позабыл ту оцѣнку, которую раньше суда всему этому дѣлу со ссылкой на документы сдѣлал предсѣдатель Совѣта Министров; чтобы он позабыл тѣ угрозы, которыя с этой трибуны в министерской деклараціи были пущены по адресу непокорных судей; чтобы он позабыл печальные примѣры того, как у нас уважают и судейскія сужденія, и судейскую независимость, и судейскую несмѣняемость. *(Рукоплесканія слѣва)*. Когда это суд позабудет, тогда я буду ждать отвѣта на мой вопрос от суда. Но, господа, я хотѣл бы и еще кое что подчеркнуть в этом процессѣ; я хотѣл бы, чтобы предсѣдатель Совѣта Министров отдал себѣ отчет в той громадной борьбѣ, которая начнется на этом судѣ против охраннаго отдѣленія, чтобы он не забыл все могущество этого отдѣленія. Вѣдь в тюрьмах есть кое что недоброе; мы знаем из одного запроса, который в Думѣ будет обсуждаться, что, однажды в камеру обвиняемаго проник, под видом защитника, член охраннаго отдѣленія. Господа, в дѣлѣ, гдѣ пойдет борьба против охранки, этого допущено быть не может. Я хотѣл бы подчеркнуть, что на отвѣт-

ственности предсѣдателя Совѣта Министров остается то, чтобы до этого суда не было ни угроз, ни вліянія и никаких попыток сношенія между обвиняемыми и между членами охраннаго отдѣленія; и тогда мы будем ждать результатов суда. Но, господа, в предѣлах вопроса об Азефѣ мы можем теперь ограничиться тѣм, что несомнѣнно. Я готов признать, что здѣсь возможны легенды, о которых говорил предсѣдатель Совѣта Министров; странно, если бы их не было, и не такія дѣла порождают легенды. Но вѣдь кое что есть несомнѣнное, кое что есть правительством признанное, им установленное, — и вот в предѣлах того, что им признано, в предѣлах этого, Государственная Дума, как незаинтересованная сторона, может высказать свое сужденіе. Правильным ли путем идет наше правительство и уничтожит ли оно то зло, с которым обѣщает бороться? Я внимательно слушал здѣсь рѣчь предсѣдателя Совѣта Министров и хотѣл отдать себѣ отчет, хотѣл понять: почему в этом дѣлѣ, гдѣ мы как будто исходим из одинаковой позиціи, мы начинаем в конкретных случаях говорить на разных языках? Мы враги провокаціи, но, вѣдь, и предсѣдатель Совѣта Министров враг провокаціи; вѣдь представитель его и раньше по виленскому дѣлу тоже говорил, что провокація недопустима. Таким образом, со стороны правительства нѣт поблажки, нѣт потворства, нѣт разрѣшенія провокаціи, мы всѣ одинаково ее осуждаем; а между тѣм, когда мы начинаем говорить о конкретном явленіи, мы говорим на разных языках и друг друга больше не понимаем. И мнѣ кажется, что из рѣчи предсѣдателя Совѣта Министров я в значительной мѣрѣ мог понять, гдѣ начинается та идейная пропасть между нами и им, из которой вытекает наше дальнѣйшее непониманіе. Предсѣдатель Совѣта Министров начал с опредѣленія того, что он считает провокаціей, которую он осуждает, которой он не позволяет агентам, за что он их обѣщает карать. И это сказано было ясно и нѣсколько раз подчеркнуто. Провокація, т. е. недопустимый пріем сыска, говорил предсѣдатель Совѣта Министров, бывает в том случаѣ, когда мы имѣем лицо, которое само принимает на себя иниціативу преступленія, вовлекая в это преступленіе третьих лиц, которыя вступили на этот путь по побужденію провокатора. Вот и все. Предсѣдатель Совѣта Министров различает двѣ группы: агентов, которые доносят и которые поступают правильно, и тѣх, которые берут на себя иниціативу преступленія и, сочинив преступленіе, других в него вовлекают. Нельзя не удивиться тому громадному пробѣлу, который прдсѣдатель Совѣта Министров сдѣлал в этом разграниченіи. Развѣ все исчерпывается тѣм, кто сочинял преступленіе, и тѣм, кто донес на него? Развѣ вы не знаете, что среди этого стоит цѣлая группа участников, та главная группа, в которую входят агенты, группа, которая, пожалуй, всѣх опаснѣе, которая не сочиняет, не выдумывает, не изобрѣтает преступленіе, а помогает в его испол-

ненія. Эти люди не иниціаторы; и потому тѣ, которые, видя человѣка, рвущагося на террористическіе акты, снабжают его детальным планом, помогают ему достать бомбу, приводят и ставят его на нужное мѣсто, а потом на него доносят, — эти люди не провокаторы, с точки зрѣнія предсѣдателя Совѣта Министров. Но развѣ вы скажете, что дѣянія их правомѣрны? Если у вас было лицо, которое, засѣдая вмѣстѣ с кучкой людей, замысливших террористическій акт, своей помощью и связями дало возможность довести этот план до конца, снабдило оружіем, без котораго преступленіе не могло быть совершено, помогло его выполнить и потом донесло, развѣ вы нашли бы, что это дѣяніе правомѣрно только от того, что идея пришла не ему? Вѣдь в наше революціонное время идея убійства всего менѣе цѣнна; эта идея живет в революціонных низах, она проповѣдуется в их засѣданіях, она повсюду в их протоколах, во всей их политикѣ. Эта идея была у всѣх, она была готова, но нужно было помочь ей осуществиться. И вот, если мы видим агента, который этому помогает, который дает возможность довести идею до дѣйствія, мы называем его провокатором; но с точки зрѣнія предсѣдателя Совѣта Министров, это, повидимому, только доносчик. Господа, в прошлом году здѣсь был примѣр того преступленія, в котором осталась, можно сказать, визитная карточка провокатора. В одно утро были сразу арестованы в разных частях города нѣсколько молодых людей с бомбами. Было извѣстно, что эти бомбы были приготовлены для того, чтобы произвести покушеніе на министра юстиціи. Когда преступленіе так раскрывается, когда берут людей в разных концах, берут только их, заранѣе зная, гдѣ они стоят, каковы они из себя и зачѣм они здѣсь, тогда ясно, что тот, кто их выдал, был вмѣстѣ с ними и слѣдил за их работой до самаго конца. *(Шум справа).* И тогда я спрошу вас: почему эти люди не были арестованы раньше, почему они не были взяты тогда, когда они не шли еще с бомбами? *(Шум справа).* Вы потом мнѣ на это отвѣтите, ибо слово за вами. Вы скажете: потому, что без этого не могли бы им построить висѣлицу, чт нужно было дать им дойти до конца, чтобы имѣть право, хотя спорное, впослѣдствіи их повѣсить. *(Шум).* Да, господа, если вы так на это отвѣтите, то я вас спрошу: то лицо, которое вмѣстѣ с ними работало, которое довело их до возможности сдѣлать преступленіе, помогало ему, то лицо, которое, пользуясь своими связями с полиціей, дало возможность им безпрепятственно собираться там, гдѣ собираться было нельзя, жить в Петербургѣ тѣмъ, кому в Петербургѣ жить было нельзя, то лицо, которое снабдило их бомбами и потом дало возможность их повѣсить, есть ли это лицо только доноситель, или так же и провокатор? По моему взгляду, это есть провокатор, и в этом все различіе между нашими взглядами. Если вы скажете, что это только доносчик, если вы скажете, что снабдить человѣка бомбой

не преступленіе, что толкнуть на преступленіе другого — правомѣрно, тогда не будем говорить, или мы друг друга не понимаем. Вѣдь провокація тогда будет фантастическим дѣлом, в котором вы никогда никого уличить не сумѣете. А между тѣм, если вы признаете, что пособничество преступленію тоже есть преступленіе, если вы вспомните, что карают не только того, кто бросил бомбу, но и того, кто доставил ее, вспомните, что дать оружіе преступнику значит помочь преступленію, то вы скажете, что эти люди сами преступленія совершали. И вот, если они совершали преступленія, ничуть не меньшія от того, что за ними была не иниціатива, а только помощь, то я спрошу вас, спрошу предсѣдателя Совѣта Министров, спрошу все правительство — развѣ не видят они, что та система постановки сыска, которую они называют "сотрудничество внутренней агентуры", что она вся основана на этом, что их агенты помогают тому преступленію, которое послѣ карают? Иначе не может и быть. Вѣдь эти агенты, чтобы им платили деньги, которыя платят, должны быть освѣдомленными, они должны пользоваться довѣріем революціонеров, а это довѣріе дается не по протекціи, не по наслѣдственному праву, не ради прекрасных глаз, это довѣріе нужно заслужить, и заслужить той дѣятельностью, которая одна там цѣнится, — заслужить преступленіем, помощью террористическим актам. И потому всякій человѣк, который может оказать вам эту услугу, непремѣнно одной рукой помогает им для того, чтобы другой за это карать. Это и есть то, что мы называем провокаціей. Нам сказали здѣсь про Азефа, что он был не только членом партіи, но и руководителем партіи, был членом центральнаго ея комитета. Это уже не выдумка, это признано и предсѣдателем Совѣта Министров. Подумайте, что такое член центральнаго комитета партіи соціалистов-революціонеров? Вѣдь от этого комитета исходили всѣ директивы этой революціонной дѣятельности. Этот комитет говорил — не кладите оружія, продолжайте террористическіе акты. Комитет указывал, куда перенести террор, в город или в деревню. Этот комитет говорил — подождите с цареубійством, обратите вниманіе на министров. И все это исходило — от кого же? От группы людей, во главѣ которой стоял и вмѣстѣ с которой все это рѣшал тот, кого называет своим сотрудником и агентом правительство. Господа, считаете вы это нормальным? Считаете вы это возможным? Вот вопрос, который поставлен настоящим дѣлом. Но вопрос, так поставленный, вопрос этот, к сожалѣнію, правительством уже рѣшен. Правительство могло не знать тѣх деталей, тѣх форм, в которых выразилась преступная дѣятельность провокатора, оно могло не знать, кому он дал бомбу, кому он дал деньги, кому дал совѣт, оно могло не знать, какими свѣдѣніями, ему одному извѣстными, он снабдил революцію, но что эти люди все это дѣлали, что эти люди ей помогали, это, к сожалѣнію, стоит внѣ сомнѣнія. Да зачѣм до-

казательства, когда сам предсѣдатель Совѣта Министров дает их в своей искренности и близорукости. Вы помните его рѣчь, гдѣ он говорил, что иногда Азеф, послѣ неудавшагося акта, попадал под подозрѣніе. Что он дѣлал тогда? Предсѣдатель Совѣта Министров отвѣтил: он на время отходил от агентуры, чтобы заслужить довѣріе революціонеров. Понимает ли г. предсѣдатель Совѣта Министров, какую страшную вещь он сказал? Понимает ли он, что это значит: отойти от агентуры, чтобы вернуть довѣріе? Понимает ли он, что, если он временно уходил от агентуры, чтобы вернуть себѣ этим довѣріе, то значит, он переставал доносить, переставал раскрывать и доводил до конца преступленія, которыя с тѣх пор удавались? Вот, что признал г. предсѣдатель Совѣта Министров, вот тѣ дѣла, которыя фатально являются на том пути, по котороому идет правительство. *(Рукоплесканья слѣва)*. И я, опять таки, спрашиваю: прав ли я или неправ, так ли понимает предсѣдатель Совѣта Министров провокацію или нѣт, считает ли он, что это допустимо или иниціатива преступленія, а не помощь в его выполненіи; во-вторых, потому, что предсѣдатель Совѣта Министров в своем опредѣленіи ограничил роль провокатора только тѣми, кому принадлежит иниціатива преступленія, а не помощь в его выполненіи; во-вторых, это разрѣшено тѣм, что предсѣдатель Совѣта Министров мирится с фактом, что его агент, его сотрудник, был членом центральнаго комитета, от котораго исходило руководительство всѣми тѣми революціонными явленіями, с которыми он борется. Отвѣт на это дан и в той поистинѣ чудовищной фразѣ, которая вырвалась у предсѣдателя Совѣта Министров. Да, господа, фраза чудовищная, когда предсѣдатель Совѣта Министров сказал, что, если один из главарей революціи был сотрудником департамента полиціи, то это очень печально и тяжело не для правительства, а для революціи. Господа, эта фраза чудовищна. *(Шум справа)*. Если сотрудник полиціи был во главѣ революціи, то да, это ужасно, это печально для революціи, но это и позорно для правительства *(голоса:* браво; *рукоплесканья слѣва)*, ибо, если вся та революція, из-за которой вы откладываете реформы, из-за которой вы ликвидируете Манифест, если вся та революція, которая заставляет вас итти назад, а не вперед, если во главѣ этой революціи стоят ваши сотрудники и ваши агенты, то, господа, нѣт честности в этой политикѣ *(голоса:* браво; *рукоплесканія слѣва)*, и предсѣдатель Совѣта Министров сумѣл стать, поистинѣ, не только стороной в этом дѣлѣ, но стороной с готтентотской моралью тогда, когда он так хорошо понял и краснорѣчиво описал ужасное состояніе юношей и дѣвушек, которые узнали, что шли на преступленія и убійства под вліяніем агента правительства; и в то же время не понял и не сказал, какое отвращеніе мы должны чувствовать к правительству, когда мы узнаем, что вѣшают, казнят, ссылают тѣх, которых подстрекнул агент правительства. *(Голоса:*

браво; *рукоплесканія слѣва).* И если это так, если это терпимо, если преступленіе разрѣшено только потому, что оно дѣлается, якобы, для борьбы с революціей, то что же эти циркуляры, о которых нам здѣсь наивно говорили, эти циркуляры, которыми себя утѣшает правительство и которые оно разослало членам охранки, говоря, чтобы они провокаціей не занимались? Да если вы позволили им сидѣть там с революціонерами и им помогать, если вы нашли, что доставлять им бомбы и деньги на бомбы, строить типографіи, распространять прокламаціи — закономѣрное дѣйствіе, то какого же вашего циркуляра послушаются они, когда вы им запретите самим выдумывать преступленіе? И во имя чего они кого либо послушаются? Во имя морали? Не говорю о том, что эти люди стоят по ту сторону морали, но я думаю, что нисколько не хуже самому выдумать преступленіе, чѣм вооружить на преступленіе человѣка уже возбужденнаго, дать ему средства, дать ему то, чего ему нехватает, — возможность совершить преступленіе. А с точки зрѣнія закона пособник преступленія такой же виновный, как и подстрекатель к нему. Если преступленію помогало, сотрудником преступленія было правительство, то в этот момент правительство было преступно, в этот момент совершилось то, что трудно представить себѣ: само государство было преступно. Вот, к какому nonsens'у, к какому противорѣчію мы пришли. Вы думаете, что ваши циркуляры могли удержать агента в этой позиціи. Никогда. Если вы допускали этих людей совершать преступленія и за них не карали, если беззаконіе было для них допустимо, то в тѣ моменты, когда они, по вашему выраженію, отходили от агентуры, — по каким же признакам позволяли вы им выбирать тѣ жертвы, на которых они отыгрывались от подозрѣній, на которых они возвращали утраченное ими довѣріе? Откуда они их выбирали? Выбирали ли менѣе чиновных, выбирали ли менѣе важных, выбирали ли менѣе видных, или, может быть, выбирали неугодных людей, высоко, но непріятно поставленных? В это вы входить не могли, но вы это допустили, вы на это шли, и все, что совершилось, совершилось, хотя без вашего вѣдома, без вашего желанія, но по вашей винѣ. *(Рукоплесканія слѣва и голоса:* браво). И вот, если так, если вѣрно то, что нам здѣсь объяснил предсѣдатель Совѣта Министров, то я скажу: подойдите к этому вопросу с той точки зрѣнія, с которой подойти не сумѣло правительство. Подойдите не с точки зрѣнія вѣдомства, не с точки зрѣнія борющейся стороны, которая думает, что ей все позволено, а подойдите с точки зрѣнія государства, с точки зрѣнія государственности. В этот момент совершалось нѣчто противоестественное, совершалось объединеніе правительства, государства с преступленіем. В этот момент исчезало государство, исчезало правительство, ибо, вѣдь, государство есть только правовое явленіе. Когда государство перестает поступать

по закону, оно не государство, оно — шайка. Правительство в это время не есть власть, опирающаяся на закон, а оно тоже есть преступное сообщество, хотя и не тайное. Вѣдь, провокатор, или, как вы говорите, агент, который помогает преступленію, благодаря которому преступленіе совершается, который руководит революціонными выступленіями, это для правительства преступник, котораго оно может только карать. Безразлично, был ли он сначала агентом, а потом революціонером, или обратно, но оно должно бороться с ним, — он преступник. Но если государство сочло, что оно слишком слабо, чтобы без этого обойтись, если государство забыло, что оно не всесильно и не может быть всесильно, что есть нѣкоторыя вещи, которыя нельзя дѣлать даже для силы, то государство поступило так же, как поступает частный человѣк, который, хотя бы для хорошей цѣли, обращается к помощи наемнаго убійцы, наемнаго лжеца, наемнаго вора. Когда совершился этот противоестественный союз преступника и правительства, пред нами не было правительства, пред нами стояла шайка, которая попала в плѣн к этим преступникам. *(Рукоплесканія слѣва и голоса:* браво, *свист справа; звонок предсѣдателя).* Господа, в тот момент — и никакіе свистки не есть аргумент — в тот момент совершилось нѣчто ужасное: плѣненіе власти преступленіем, и наша власть и Россія, по сію пору, несут на себѣ слѣды этого позорнаго плѣна. Правительство думало, что агенты ему помогают, что оно имѣет свои культурныя цѣли, свои правовыя цѣли, на помощь которым идут агенты, — глубокая иллюзія. Когда правительство спустилось до союза с ними, правительство стало им служить, правительство свои культурныя цѣли забыло, чтобы служить тайному сообществу; и когда правительство здѣсь грозит за провокацію, разсылает циркуляры, угрожает им, тѣм агентам, которые держат его в плѣну, это не окрик хозяина, это бунт непокорнаго подданнаго. Да, господа, если вы проглядите, что сдѣлало наше правительство послѣ этого союза, вы увидите, как все отступает на задній план пред интересами этой тайной полиціи. Хотите вы видѣть, да вы сами знаете, как перед ней отступает и суд и закон. Были безнаказанными опричники времен Іоанна Грознаго, были безнаказанными преторіанцы, когда на них опиралась Римская имперія, безнаказанны бывают всѣ тѣ, с которыми правительство войдет в сдѣлку и позволит им совершать преступленіе за ту защиту, которую они дают. Вѣдь какой ироніей звучали слова предсѣдателя Совѣта Министров, который, осуждая Лопухина за то, что он выдал Азефа, сказал: он должен был сказать это нам. Господа, я не защитник Лопухина и виновности его не знаю, но ставлю такой вопрос: в тот момент, когда человѣк, знавшій роль Азефа в полиціи, узнал роль Азефа в революціи, когда он узнал, что продолженіе азефовской дѣятельности, — это продолженіе революціи, продолженіе казней и продолженіе провокацій, что он мог

сдѣлать? Молчать? Вѣдь это значит, попустительствовать. Да, я вѣрю предсѣдателю Совѣта Министров и его искренности, он бы этого не допустил, если бы знал. Но что же было бы, если бы Лопухин сказал все ему? Было бы то же, что и сейчас; было бы предписано навести справки, представить их, и оказалось бы, что никаких доказательств нѣт, и Азеф остался бы неразоблаченным и продолжал бы дѣлать свое дѣло. Господа, когда вы видите все это, вы понимаете всю безвыходность этого положенія. Но, господа, вы себѣ дадите отчет в этом роковом вліяніи охраны на всѣ стороны нашей жизни, этого вавилонскаго плѣненія нашей власти. Наша власть в плѣну охраны, и потому наша внутренняя политика пошла за политикой охраны. Развѣ предсѣдатель Совѣта Министров, который три года тому назад говорил, что его задача — водворить правовой строй в Россіи, что его задача — не бороться с обществом, а вызывать его к жизни, который говорил, что правовое начало есть начало, которое освѣжит всю Россію, развѣ предсѣдатель Совѣта Министров остался таким же послѣ трехлѣтняго плѣна у охранки? Нѣт, господа, у охраннаго отдѣленія есть своя политика, у него есть свой враг, есть свое зло, с которым он борется; это здоровая атмосфера законности, довольства, довѣрія к власти и общая работа на общую пользу: этим убивается революція, но вмѣстѣ с тѣм убивается и охранка. И потому у них другая политика, политика опредѣленная: раздражать общество, возмущать общество, ослаблять общество, бороться с обществом, наконец, как вѣнец всего этого, поддерживать атмосферу беззаконія и произвола. *(Рукоплесканія слѣва и отдѣльныя в центрѣ; шиканье справа).* Господа, по какой дорогѣ идет теперь наше правительство? Вы видите: законности, о которой говорили, этой законности болѣе не существует. Исключительныя положенія? Три года тому назад предсѣдатель Совѣта Министров обидѣлся на предположеніе, сдѣланное первой Государственной Думой, что он хочет править исключительными положеніями, он на это обидѣлся; во второй Думѣ он говорил, что они будут сняты; — что же, сняты они? Нигдѣ, и они не будут сняты, потому что обѣщая их снять, он распоряжается без хозяина; охранка возстанет, она скажет ему, что это невозможно, и докажет ему, что это невозможно, и покуда революція дѣлается Азефами, вы их не снимете, как бы искренно вы этого ни обѣщали. Этого мало; нам говорили, что с обществом не будут бороться; что же вы видите, развѣ не отталкиваются от правительства умѣренные слои общества, у которых больше не хватает терпѣнія, тѣ слои общества, которые предпочли бы всегда счастье положительной работы совмѣстно с правительством долгу оппозиціи. Но когда вопрос ставится так, что нельзя помогать правительству, не измѣняя странѣ, тогда нѣт выбора, и то, чего хочет охранка — отчужденіе правительства с страной — совершается и углубляется. А озлобленіе страны?

Эти смертныя казни почти без суда, которыя не прекращены даже тогда, когда ясна роль Азефа в этих смертных казнях, развѣ это прекращено? Страна и возмущается, и развращается этими фактами, и, как довершеніе всего, как послѣднее слово, как послѣдняя расписка, что мы слышали третьяго дня? Мы слышали, что тот Манифест 17 октября, который обѣщал нам свободы, тѣ свободы, которыя есть атмосфера, въ которой обновится Россія, тѣ свободы, без которых вся конституція, весь представительный строй есть обман, эти свободы уже называются не краеугольной основой новой жизни, а презрительной кличкой румянца политических вольностей. *(Рукоплесканія слѣва и отдѣльныя в центрѣ)*. Нас утѣшают тѣм, что строятся лѣса, за которыми высится зданіе. Здѣсь говорилось о том, кто строит эти лѣса, но я вам скажу, что Россія не кирпич, не камень, не глина, она не может ждать этого; она не зданіе, а живое тѣло, которое возмущается, которое задыхается, и, когда вы пожелаете снять эти лѣса, может быть, будет уже поздно: вы накопите столько злобы и негодованія, что путь налѣво, путь к вашей прежней политикѣ, будет для вас уже закрыт. Есть, господа, двѣ политики. Есть политика законной власти, которая не боится за себя, которая не боится страны, которая вѣрит странѣ, которая на нее полагается, которая не нуждается в предателях, которая ведет страну вперед, к ея культурному преуспѣянію, к ея могуществу, к ея силѣ, к ея свободѣ.

Есть и другая политика, политика узурпаторов: это политика, которая ставит свои интересы выше интересов страны, которая не довѣряет странѣ, которая всѣх боится, а защищает только себя. Еще Кавелин в 70-х годах задавал скорбный вопрос: как это правительство, русское правительство, наизаконнѣйшее правительство міра, законность котораго никто не оспаривает, как оно правит со всѣми пріемами цезаризма, со всѣми пріемами узурпаторов? На это отвѣт теперь дан: потому что правительство в плѣну у этой шайки охранников. Мы как будто вышли оттуда благодаря Манифесту 17 октября; но испуг, печальное послѣдствіе прошлаго, остановил этот ход, а вы нас возвращаете туда, назад, под вліяніе шайки. Но, господа, на этом пути, как вы разсчитываете уничтожить провокацію, которая там необходима? Вѣдь на предателях, а не на странѣ, на притѣсненіях, а не на свободѣ, зиждется в настоящее время вся надежда правительства, и единственное оправданіе его только в том, что оно само не понимает, что говорит и куда нас ведет. *(Бурныя рукоплесканія лѣвой и отдѣльныя в центрѣ)*.

(Стенографическіе отчеты Госуд. Думы).

Ф. Н. ПЛЕВАКО

ЛЕКЦІЯ, ПРОЧИТАННАЯ В МАѢ 1909 ГОДА В ПЕТЕРБУРГѢ В ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРАТОРСКАГО ИСКУССТВА *).

(Май 1909 года)

Послѣ кончины Ф. Плевако Петербургское "Общество любителей ораторскаго искусства" рѣшило посвятить его памяти торжественное засѣданіе. Оно состоялось в Петербургѣ, в маѣ 1909 г. под предсѣдательством П. С. Пороховщикова, члена П. Судебной Палаты и автора извѣстной книги — "Судебное краснорѣчіе". В засѣданіи приняли участіе В. Маклаков, А. Ф. Кони и драматург П. М. Невѣжин. Ниже помѣщается сказанная в этом засѣданіи рѣчь В. Маклакова.

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА.

Мое сообщеніе требует нѣкотораго предисловія и, пожалуй, оправданія; оно или преждевременно, или запоздало. Запоздало, если его цѣль — только почтить память Плевако; преждевременно, если оно — попытка дать характеристику его, как оратора.

И не только потому, что сейчас мы находимся под свѣжим впечатлѣніем, которое объективному анализу не помогает; но потому, что у нас еще нѣт самаго необходимаго — изданія его рѣчей и статей. Много раз при жизни и он сам, и его помощники затѣвали такое изданіе; оно оставалось затѣей и постоянно откладывалось. Теперь этого не будет; ждать больше нельзя, и изданіе в хороших руках**); всякій, кому на долю не выпало случая знать Плевако лично, слышать его говорящим, прочтет его рѣчи и тѣм безстрастнѣе поможет нам понять, что он был, как оратор. Мое изложеніе покажет, впрочем, что я такою цѣлью не задаюсь: я имѣю в виду дать только то,

---

*) Настоящая лекція была прочитана в засѣданіи Общества любителей ораторскаго искусства, посвященном памяти Ф. Н. Плевако, вмѣстѣ с сообщеніем А. Ф. Кони (напечатанном позднѣе в «Нивѣ», П. М. Невѣжина и др.

**) В настоящее время уже вышло два тома его рѣчей под редакціей Н. К. Муравьева.

что носит общее названіе "матеріалов"; характеристика будет дѣлом другого. Лицо, которое было хорошо поставлено для наблюденія, должно, не смущаясь, давать все, что может; его оправданіе в том, что он видѣл то, чего, может быть, другіе не видѣли. Потом само собой опредѣлится, были ли его наблюденія цѣнны; судить об этом труднѣе всего именно ему самому. А я был как раз в таком положеніи; я знал Плевако недолго, лѣт 10-12, но зато знал очень близко, видал иногда по нѣсколько раз в один день; видал с разных сторон; не только, как он исполнял свое дѣло, но и как к нему подготовлялся. Я хотѣл бы поэтому безхитростно передать мои наблюденія, которыя касаются одной стороны сложной фигуры Плевако — его, как оратора; и если я иногда не смогу удержаться от выводов, то пусть этого мнѣ не ставят в вину; это только невольная уступка слабости ума человѣка, который не умѣет наблюдать и, особенно, излагать, не обобщая.

Выдѣляя эту сторону фигуры Плевако — его значенія, как оратора, я не руководствуюсь только назначеніем Общества, среди котораго я имѣю честь говорить; репутація оратора давно сочеталась с Плевако, как его главное свойство, почти как его синоним.

Что Плевако был превосходным юристом и, как говорят компетентные люди, тонким богословом, знают не всѣ; но всѣ знают, что оратором он был несравненным, внѣ конкурса. Репутацію эту он сумѣл сдѣлать народной. В тѣ времена, когда слово "оратор" было еще неизвѣстно народному языку, не было брошено революціонной волной в оборот в смыслѣ митинговаго агитатора, а термин "адвокат", передѣланный в "аблакат", вызывал представленіе о продажном, подпольном ходатаѣ, народный язык уже начинал усваивать новое слово "плевака", как исключительнаго мастера рѣчи и судебнаго дѣла. "Найду другого плеваку", говорили и писали без всякой ироніи, и это отмѣчало то смутное, но глубооке впечатлѣніе, которое искусство и громкая слава Плевако успѣли произвести на народное воображеніе; и народная мысль, которая так жадно ищет національных героев, которой это новое дѣло — публичное слово — было мало знакомо, тѣм не менѣе, как исключеніе, именно за это непонятное дѣло уже заносило Плевако в число народных избранников.

Она отмѣтила его и другим свойством, которым надѣляют любимцев; сдѣлала его героем легенд, анекдотов и розсказней. Личность Плевако сдѣлалась легендарной; ни о ком не ходило столько сплетен и мифов. Они заполнили его некрологи, ими болѣе всего наполнены всѣ о нем воспоминанія. Большая часть их — досужіе вымыслы, и они характерны только, как показатель того интереса и обаянія, которые вызвала к себѣ его личность.

Но Плевако был популярен не только в народной толпѣ; мы должны то же сказать про болѣе тѣсный круг, про образованнѣе,

читающее общество. Его нельзя упрекнуть в том, чтобы оно к народным любимцам относилось без критики. Критики не избѣг и Плевако. Всегда, и особенно в послѣднее время, как расплодилось так много ораторов, и старых и молодых, было в модѣ к Плевако относиться нѣсколько свысока; стало общим мѣстом указывать на безсодержательность его рѣчей, недостаточное знаніе дѣла, недостаточную его разработку. Во всем этом есть правда. Его рѣчи часто и даже обыкновенно вопроса до конца не исчерпывают, в них нерѣдко сквозит плохое знаніе подробностей дѣла и т. д. Не трудно найти ораторов и особенно отдѣльныя рѣчи, которыя можно поставить выше его по разнообразію и силѣ аргументов, по ясности и точности языка, по стройности плана. Все это так. Но и тѣ великолѣпные ораторы, которые его критикуют, не будут отрицать одного: совершенно исключительной, загадочной *силы* рѣчи Плевако.

Было бы ошибкой думать, что причина лежит в каком-либо особом талантѣ произнесенія рѣчи, — далеко нѣт. Я думаю даже, что такого особаго таланта и не было; много его соперников с этой стороны были одарены природой лучше. Исключительная сила Плевако лежала в оригинальном, не похожем на что-либо другое, содержаніи его рѣчи, в своеобразном впечатлѣніи, под которым он оставлял своих слушателей; понять Плѐвако можно только тогда, когда поймешь сущность этого "своеобразія".

А что оно было,показывает не только простое, непосредственное впечатлѣніе, а и объективные факты. Сколько лѣт он жил, сколько работал, сколько прошло около него учеников и помощников, и ничего похожаго на школу он не оставил. Среди нашей адвокатуры он стоит одиноким и единственным. Учиться у него, подражать ему — безнадежно и вредно. Научиться у него можно только дурным привычкам, подражать — выйдет смѣшно и забавно. Как ясно видим мы школы других корифеев адвокатуры, вліяніе их примѣра, преемственность пріемов и свойств! Ничего подобнаго не осталось послѣ Плевако. Мало кто его хоть слегка напоминает и навѣрное никто не замѣнит.

И потому-то так полезно вникнуть в основныя черты его краснорѣчія; онѣ поучительнѣе, чѣм может казаться, и не с точки зрѣнія ораторства только: онѣ дают нѣкоторый ключ к уразумѣнію величайшей психологической тайны, власти над народной душой.

Говоря об ораторѣ, особенно в нашем Обществѣ, нельзя обойти перваго, внѣшняго свойства оратора, техники рѣчи. Но дѣлаю это с оговоркой и большой неохотой. Давно пора признать, что все это второстепенное, что считать это главным — все равно, что главным в книгѣ считать тот шрифт, которым она напечатана. Болѣе того: увлеченіе внѣшней красотой рѣчи, забота о ней могут быть прямо губительны. Не говоря о том, что стремленіе развить в себѣ это свойство, если оно не дано от природы, отвлекает заботы, силы и

время от того, что несравненно важнѣе. Я знаю примѣры и мог бы назвать имена, многим извѣстныя, гдѣ это свойство — природное или пріобрѣтенное — губило людей. Они невольно подпадали под гипноз своего краснорѣчія, особенно благодаря легковѣсным похвалам поспѣшных цѣнителей, считали себя ораторами только оттого, что говорили красиво, и, увѣренные в том, что язык их не выдаст, что он не остановится, нанизывали фразу на фразу, не давая себѣ труда задуматься над содержаніем рѣчи. Как бы выиграли они, если бы у них не было этого совершеннаго механизма, если бы они чувствовали, что их слово немедленно запнется там, гдѣ затуманится мысль! И как неразумно и нерасчетливо видѣть задачу и силу оратора в этой внѣшней сторонѣ его рѣчи, имѣя образцы и примѣры тѣх, кто умѣл потрясать слушателей непослушным, заплетающимся языком, как Спасович, как Бисмарк.

Но если переоцѣнка этого дара — опасный соблазн, то это все же дар, и Плевако он был дан в изобиліи; и он получил его от природы, без малѣйшей заботы о нем, не понимая даже, какое в нем преимущество.

Он обладал прежде всего поистинѣ изумительною свободою рѣчи, т. е. умѣніем без запинок, без остановок находить нужныя слова, располагать их в правильныя и плавныя фразы. В наше разговорное и болтливое время, когда всѣ научились легко говорить, это свойство покажется безразличным; но с перваго взгляда трудно оцѣнить, каким трудом и, главное, за чей счет это достигнуто многими. Я говорю трудом, ибо многіе достигают его тщательной работой, обдумываніем, запоминаніем самаго текста произносимых рѣчей; это бывает гораздо чаще, чѣм можно судить по ссылкам на это. Эта работа обыкновенно старательно скрывается или инстинктивно преуменьшается. Всѣм больше нравятся лавры Моцарта, чѣм Сальери, и болѣе лестно слыть талантливым бездѣльником, чѣм научившимся тружеником. Многіе наивно лукавят и с собой и с другими, тщательно скрывая эту работу. Еще менѣе видна та своеобразная дань, которую многіе платят за свободную рѣчь. Она часто требует извѣстных сопутствующих условій, внѣ которых она исчезает. Всѣм извѣстны факты, что люди, блистающіе остроуміем, живостью и образностью рѣчи в обыкновенном разговорѣ, т. е. при полном спокойствіи и непринужденности, утрачивали эти свойства при том волненіи, которое испытывает всякій произносящій публичное слово. В Москвѣ был нынѣ покойный профессор, увлекательный собесѣдник, который до старости терял на кафедрѣ всѣ свои привычныя свойства и мог только читать по написанному. Может быть, менѣе извѣстно обратное, когда для гладкой рѣчи необходимо то нервное напряженіе, которое дает самому привычному оратору многочисленная аудиторія. Без нея он теряет власть над словом, рѣчь становится прерывистой, не-

правильной и затрудненной. Когда мы встрѣчаем людей, которые в обыкновенном разговорѣ говорят приподнятым языком, говорят, как пишут, слишком правильно и торжественно, мы вышучивая это, как дурную привычку, часто не понимаем, что не отсутствіе вкуса, а инстинктивное взвинчиваніе себя для того, чтобы овладѣть своей рѣчью, причина этой привычки. У других бывают иныя причуды: чтобы говорить свободно и плавно, одному нужно говорить быстро и громко; этим он поднимает себя до того напряженія, при котором может владѣть своим словом. Иной может говорить только стоя и затрудняется сидя; иному нужна широкая жестикуляція, и он безсилен при неподвижности. Ошибочно думать, что всѣ эти свойства — громогласность, жесты, быстрота, все это случайныя привычки, от которых при желаніи можно отдѣлаться; это часто дорогая цѣна, которую оратор уплачивает за обладаніе словом. Конечно, многія из них сами по себѣ ему не мѣшают, и сам он, и другіе скоро к ним привыкают. Но все же онѣ стѣсняют свободу; даже больше: так как голос, жесты, темп вмѣстѣ с содержаніем составляют то цѣльное, что называется тоном, то погоня за плавностью рѣчи, для того, кто ей, как таковой, дорожит, незамѣтно отзывается и на содержаніи, на общем духѣ сказанной рѣчи; есть ораторы, которые постоянно горячатся и негодуют, даже без всякаго к этому повода, только потому, что иначе их язык не слушается и рѣчь гладкой не выйдет.

Всѣ эти затрудненія не были знакомы Плевако; он обладал совершенно безусловной, поистинѣ завидной свободой рѣчи. Она не покидала его никогда и нигдѣ, не стоила ему ни малѣйшаго напряженія, давалась даром в полном смыслѣ этого слова. За адвокатским пюпитром, и в застольной бесѣдѣ, перед тысячью людей или с глазу на глаз, стоя, сидя или лежа, жестикулируя или руки по швам, громко или шопотом, поучая или балагуря, воодушевляясь или просто диктуя, он был все тѣм же; не искал слов, не обдумывал фразы; слова послушной толпой слагались в правильныя предложенія, точно выражающія мысль. Как наш язык сам собой, без участія сознанія или воли, находит тѣ движенія, которыя издают желательный звук, нужный для слова, так это свойство у Плевако шло дальше, и слова так же инстинктивно складывались в фразу, нужную для выраженія мысли. Ему не требовалось ни малѣйшаго труда, чтобы этого достигнуть; потому у него и не являлось сомнѣнія, что слово может ему измѣнить. Что это было так, я сужу не только по внѣшним впечатлѣніям; это подтверждается разнообразными наблюденіями.

Это доказывает прежде всего его подготовка к рѣчам. Он часто писал черновики для рѣчей, и тѣ великолѣпные ораторы, которые дарят нас однѣми импровизаціями, нерѣдко утверждают, будто всякая плевакинская рѣчь заранѣе до тонкости обдумана, всѣ остроты

предварительно приготовлены и записаны. У меня в руках было много его черновиков и не могу не пожалѣть, что я недостаточно ими дорожил и ни одного не сохранил. Всякій, кому случалось сидѣть с Плевако на дѣлѣ, помнит, что любимым его занятіем, пока сотрудники задавали вопросы, было писаніе рѣчи; он их писал обыкновенно на длинных полулистах, которые потом склеивал в ленты; писал по нѣсколько раз, бросал то, что написано, и начинал снова. Онѣ были разнообразны по формѣ. Иногда, хотя рѣдко, это была цѣлая подробная рѣчь, которая могла бы быть в таком видѣ и сказана; иногда это были полунамеки, отдѣльныя, часто загадочныя слова. Одно можно было замѣтить почти постоянно: то, что потом было сказано, мало соотвѣтствовало тому, что было написано; часто мѣнялся и план и все расположеніе рѣчи, и не было уже рѣшительно никакого сходства в способах выраженія мысли, в самой редакціи. Если иногда, быть может, и сохранялись какія-либо отдѣльныя, удачныя выраженія, даже остроты или эффектныя фразы, то это было тѣм исключеніем, которое только подтверждает общее правило; текста рѣчи Плевако не готовил и, если писал его, то не затѣм, чтобы его повторить.

Очевидно писаніе рѣчи имѣло другой смысл и цѣль. Готовить текст ему было просто не нужно; у него не могло явиться сомнѣнія, что необходимыя слова в соотвѣтственную минуту найдутся. Это обнаруживалось иногда с большой наглядностью. Помню, как однажды мы вмѣстѣ защищали дѣло о поджогѣ в городѣ Троицкѣ, Оренбургской губерніи, его родинѣ, куда он поѣхал на защиту, чтобы увидѣть город, гдѣ родился, и который покинул ребенком. Дѣло было с очень сложным матеріалом: тут были и противорѣчивые свидѣтели, обличавшіе друг друга и во лжи, и в продажности, как это часто бывает у восточных людей, была и экспертиза, выяснявшая стоимость сгорѣвшаго хлѣба, и т. д. Предоставив своим товарищам говорить первым и поручив им исчерпать весь матеріал, Плевако оставил за собой задачу подвести итог, подчеркнуть основные спорные пункты процесса. Перед ним лежал его обыкновенный черновичок, с отдѣльными словами, краткими фразами; там были намѣчены тѣ вопросы, которых он собирался коснуться. Но вот в концѣ своей рѣчи прокурор обратился к судьям с довольно банальным призывом. Обвиняемым был богатый и вліятельный по мѣсту киргиз, и прокурор кончил просьбой показать своим приговором, что суд не боится богатых. Плевако немедленно отмѣтил эту фразу в своем черновикѣ, и затѣм поставил около нея одно слово: фейерверк, дважды его подчеркнувши. И он скоро показал, что это значило. Дойдя до этого мѣста к концу своей рѣчи и указав, что прокурор просит обвинительнаго приговора не потому, что перед ним завѣдомо виноватый, а чтобы доказать силу суда, Плевако разразился такою тирадой, которую дѣйствительно нельзя было лучше назвать.

как "фейерверк". Тут были и цитаты из Евангелія, и ссылка на судебные уставы, и примѣры Запада, и воззваніе к памятнику Александра II, стоявшему перед зданіем и т. д. Я не дѣлаю попытки ни вспомнить, ни возстановить этот фейерверк мыслей и слов, который захватил и залу, и судей; я только указываю, как Плевако к нему подготовился. Вѣдь подобная вспышка среди рѣчи бывает у всякаго; иногда она заготовлена и обдумана заранѣе, как эффектное мѣсто, иногда создается сама собой под вліяніем захватившаго оратора воодушевленія. Для Плевако — она не была неожиданностью; он заранѣе почуял ея необходимость, выбрал для нея подходящее мѣсто и повод. Но сдѣлав это, он к ней не готовился. Он знал, что фейерверк у него всегда готов, стоит только захотѣть; стоит открыть кран, и фонтан неминуемо брызнет. Не трудно, конечно, рѣшить, что довод прокурора без отвѣта оставить не слѣдует; отвѣт слишком легок и отмѣтить его в конспектѣ не лишнее. Но Плевако хотѣл не только надлежащаго отвѣта, а "фейерверка", т. е. чего-то исключительнаго по блеску, по красотѣ, по формѣ. И если и в этом случаѣ он ничего не готовил заранѣе, предоставив все вдохновенію, увѣренный, что оно ему не измѣнит, то ясно, как мало мог он нуждаться в приготовленіи текста для спокойной, дѣловой части рѣчи. Ему не приходило в голову, что яркія, красивыя мѣста, увлекающія слушателей, могут не явиться сами собой, что осторожнѣе убѣдиться заранѣе, что и слова, и цитаты, и образы, и сравненія найдутся в желанном количествѣ, что "фейерверк" не окажется тусклым повтореніем одного и того же. В этом он был так же увѣрен, как каждый, кто не заикается, увѣрен в том, что он легко скажет то слово, которое пожелает.

Исключительная свобода плевакинской рѣчи сказывалась и в той легкости, с которой он одно и то же мог говорить в совсѣм других выраженіях; это показывает, что слова, которыя были им сказаны, он употреблял случайно, не потому, что иначе он выразиться не сумѣл бы, чтобы он инстинктивно остановился на них, как на единственной или даже просто на лучшей из доступных ему форм выраженія мысли. Я помню, например, как он вернулся с Кавказа послѣ знаменитаго процесса об убійствѣ адвоката Старосельскаго, гдѣ ему удалось оправдать Бакиханова. Он вернулся довольный и возбужденный, и по своей привычкѣ охотно всѣм и каждому разсказывал всѣ перипетіи процесса. Вся его рѣчь там, повидимому, свелась к одному фейерверку. Он защищал не один, а с покойным П. Г. Мироновым. Миронов говорил первый и произнес очень обстоятельную рѣчь, разобрав всѣ улики. Плевако разсказывал, что разбирать улики он отказался; это значило, будто бы сказал он, дѣлать им слишком много чести. Он не унизится до того, чтобы такія негодныя по происхожденію улики удостаивать критики. Но зато он коснулся нѣкоторых общих вопросов процесса и кончил эффектным

обращенiем к покойному Старосельскому. Мысль была та, что с перваго взгляда может удивить, что адвокат защищает убiйцу товарища по профессiи; но он защищает невиннаго, т. е. продолжает то дѣло, которому служил и покойный, и если ему удастся сейчас спасти суд от судебной ошибки, то это будет лучшiй вѣнок, который он может возложить на могилу убитаго. Эта несложная мысль была облечена в такую красивую форму, с прямым обращенiем к Старосельскому: Товарищ, спящiй во гробѣ! — что потрясла слушателей. В залѣ послышались рыданiя, заплакал один из судей; о необычайном впечатлѣнiи говорили газеты, о нем передавал мнѣ и покойный Миронов. И вот, по возвращенiи, Плевако разсказывал об этом и пересказывал снова свой "фейерверк". Он разсказал его мнѣ, при мнѣ повторял вновь приходящим, одному за другим, наконец, я прочел его рѣчь и этот конец ея в мѣстных газетах. И любопытно, что хотя мысль, изложенная в этом концѣ, как она ни красива, все же настолько проста, что, казалось, на ней лишних узоров не вышьешь, хотя, передавая ее нѣсколько раз, он должен был в концѣ концов ее выучить наизусть, я все же слышал от него, в один и тот же день и позже, все новые и новые варiанты и версiи. И не могу сказать, чтобы они выходили все лучше и лучше, чтобы шло инстинктивное их усовершенствованiе. Напротив, часто я замѣчал, как какое-нибудь выраженiе, сочетанiе слов, эпитет, который мнѣ особенно понравился, исчезал в позднѣйшем пересказѣ, замѣняясь другим болѣе блѣдным; мнѣ случалось с досадой останавливать его, напоминать ему прежнюю редакцiю. Он добродушно шутил, что я лучше его знаю, что он говорил, и потом передавал все еще иначе. Слова, очевидно, давались ему настолько без труда, что, несмотря на его богатую память, даже не запоминались по произнесенiи среди массы слов, послушно находившихся в его распоряженiи, одинаково ему доступных, его рѣчь даже инстинктивно не придерживалась испытанной знакомой дороги; так крѣпкiй на ноги путник смѣло идет "цѣликом", пренебрегая готовой тропинкой.

И этот завидный дар импровизацiи шел дальше способности находить нужныя слова; так легко и свободно ему давался и план его рѣчи; и этот план был тоже не результатом обдумыванiя, а порывом инстинкта, чутья. Однажды по моей просьбѣ Плевако написал за меня кассацiонную жалобу. Повод был несложный, нарушенiе пресловутой 572 ст. Устава Уголовнаго Судопроизводства. Обвинялась дѣтоубiйца, из Ясной Поляны, в Крапивнѣ; предсказанiя по составу присяжных были самыя неутѣшительныя. Я имѣл осторожность, учитывая это, запастись кассацiонным поводом и просил отложить слушанiе дѣла за несоблюденiем ст. 572 *). Суд, понимая в чем

*) Ст. 572 Уст. Уг. Суд.: «каждое дѣло, за недѣлю до слушанiя дѣла, должно быть доставлено туда, гдѣ предполагается открыть судебное засѣданiе».

Рѣшенiе Угол. Кас. Деп. Сената за № 314 1872 г.: «Несвоевременное

дѣло, мнѣ отказал на том основаніи, что бумаги пріѣхали за пять дней до разбора дѣла и что этого, по его мнѣнію, было достаточно. Приговор был обвинительный и Плевако взялся за кассаціонную жалобу. Очевидно, надлежало только указать, что соображеніе Суда о достаточности пяти дней для подготовки незаконно и неосновательно. Это было лѣтом. Плевако жил в деревнѣ, и жалобу послали оттуда. Интересуясь дѣлом, я просил его родных выслать мнѣ или копію, или, по крайней мѣрѣ, черновик; в отвѣт я получил цѣлую пачку бумаг. Разобравшись в них, я увидѣл, что мнѣ прислали пять или шесть экземпляров неоконченной жалобы; всѣ они писаны на Ремингтонѣ, прямо набѣло, но ни одна не была окончена; оконченный экземпляр был послан прямо в Суд. Сравнив между собой эти пять набросков, я убѣдился, что это одно и тоже. Тѣ же самые мысли и доводы, которые изложены в разных выраженіях и отчасти в разном порядкѣ, но не доведены до конца. Меня удивило это обиліе черновиков, этот излишек труда, и я, встрѣтив Плевако, просил его объяснить, зачѣм он так много писал. Он небрежно отвѣтил на это, сам не придавая значенія тому, что говорил: "да в деревнѣ постоянно мѣшают, начнешь писать, а кто-нибудь явится и оторвет". Я спрашиваю, зачѣм же он потом писал с начала, а не продолжал с того мѣста, гдѣ остановился. На это он так же небрежно отвѣтил: "ну, уж я так не умѣю: как меня оторвут, из головы выскочит; мнѣ легче начать с начала". Наблюдая Плевако потом, я мог убѣдиться, что это совершенная правда, и прошу вникнуть, как она характерна. Кто из нас предпочтет писать с начала, дѣлать вновь то же дѣло, сочинять новый текст, вмѣсто того, чтобы просто продолжать начатое? Кто из нас настолько щедр, чтобы выбросить без необходимости то, что было обдумано и написано, и без всякой надобности то же сочинять второй раз? Кто сознательно не облегчает себѣ работы тѣм, что разбивает ее на части и по частям исполняет? Но Плевако этого не умѣл. Вся его рѣчь, будь то произнесенная им или написанная, и слова, и самое расположеніе мыслей, выливались из его головы как нѣчто цѣлое, законченное и недѣлимое; когда его прерывали, все пропадало, и ему проще было начинать с начала, чѣм достраивать начатое. Как богатый человѣк не считает денег, которыя он бросает на вѣтер, он не жалѣл того, что было написано, что далось ему без труда, не дорожил удачной фразой, счастливым оборотом слов и мыслей; он бросал все это, отдавался новому порыву, не заботясь о том, что он, может быть, не будет так хорош и удачен.

Отсюда еще одна особенность плевакинских черновиков, Плевако, как писателя. В них не было слѣдов работы над текстом, ис-

---

доставленіе дѣла на мѣсто не имѣет значенія, если об этом не было сдѣлано заявленія до открытія судебнаго разбирательства и не было заявлено ходатайства об отсрочкѣ по этой причинѣ судебнаго засѣданія».

правленій, помарок и т. д. Они всегда имѣли вид написанных набѣло; Плевако мог бросить то, что ему не понравилось, и написать сызнова: но он никогда не поправлял. Он не имѣл понятія о той работѣ, которую наши лучшіе писатели, наши величайшіе стилисты производили над текстом своих сочиненій, о том трудѣ, коотрым они доводили этот текст до совершенства. Плевако был чужд этой заботѣ. Можно сказать больше. Он избѣгал ее сознательно и умышленно, Написанный текст для него являлся чѣм-то вродѣ произнесеннаго слова, которое взять назад невозможно. Мнѣ по этому поводу вспоминается одно его замѣчаніе, котоорe по какому-то капризу запало в память. Еще в студенческую пору я как-то был у Плевако продавать ему концертный билет. Я застал его в кабинетѣ, пишущим на машинкѣ. В это время машинки были еще рѣдкостью и Плевако был одним из первых в Москвѣ, который стал писать на них; он писал очень хорошо и быстро, несмотря на то, что имѣл малоподвижные пальцы. Я спросил его, зачѣм он пишет на такой неудобной машинкѣ. С той словоохотливостью, с которой Плевако разговаривал со всяким, иногда посвящая перваго встрѣчнаго в свои задушевныя тайны, Плевако стал объяснять мнѣ, студенту, почему он так дѣлает: разсказал, что если много писать, то машина менѣе утомляет, и кромѣ того указал на одно ея свойство, которое мнѣ запомнилось, вѣроятно, болѣе всего потому, что показалось тогда парадоксом. Он сказал, что машина удобнѣе потому, что не видишь написаннаго текста, что невольно его не перечитываешь, не сопоставляешь с тѣм, что пишешь дальше: что таким образом писать правильнѣе, так как он ближе к тому, как человѣку свойственно думать. И несомнѣнно, что эти слова вполнѣ отвѣчали манерѣ писать самого Плевако, который вовсе не находил полезным и нужным пользоваться преимуществами письменной формы для исправленія и отдѣлки написаннаго.

Всѣ эти мелкіе факты указывают, как это было сказано выше, на поразительную свободу и легкость плевакинской рѣчи, напоминавшую такую же легкость Гамбетты: ему не было нужно заботиться о том, что является если не камнем преткновенія, то предметом упорнаго труда для других, над подготовкой к произнесенію рѣчи. Черновики, которые он писал, имѣли другой характер и другую цѣль: они были не столько подготовкой будущей рѣчи, сколько способом убѣдиться. что для рѣчи у него достаточно матеріала, что в ней не окажется пробѣлов и пропусков, попыткой сведенія матеріалов в систему. Если план его не удовлетворял, и написанной рѣчью он был недоволен, хотя бы только концом ея, он немедленно писал ее сызнова: когда она казалась удачной, он на ней останавливался и на ней вышивал узоры импровизаціи. И если по какой-либо причинѣ, в серединѣ рѣчи мысль толкала его на новый путь, он бросал свой план без сожалѣнія и без страха, без боязни запутаться, не свести с концами концов: он не был рабом того, что было им приготовлено,

и в тѣх случаях, когда этому свойству он измѣнял, он только проигрывал. Рѣчь, которую он говорил по новому плану, подвернувшемуся в процессѣ, плану, который далеко не всегда был лучше того, что было задумано, сохраняла зато прелесть непосредственности и естественности, хотя бы в ущерб цѣльности и полнотѣ.

Есть различныя системы подготовляться; одни, и далеко не худшіе, ораторы (напр. покойный Н. В. Муравьев) готовят весь текст, всю редакцію; другіе сосредоточивают подготовку на скелетѣ рѣчи, на ея планѣ; их рѣчи не написаны, но всегда строго обдуманы. Плевако не был ни тѣм, ни другим. Не только текст рѣчи, но в значительной степени построеніе было дѣлом минуты, капризом даннаго вдохновенія.

Конечно, это завидный дар, облегчавшій его работу, оберегавшій его время от лишняго труда, для другого болѣе важнаго. Но он имѣл и тѣневую, обратную сторону. Я не хочу много останавливаться на неудобствах, проистекавших от импровизаціи самого плана. Такой план по вдохновенію бывал иногда неудачен и навлекал на его рѣчь справедливый, хотя и преувеличенный упрек в безсодержательности. Я называю его преувеличенным, во-первых, потому, что его слишком поспѣшно обобщали. Вдохновеніе капризно всегда и плоды его, конечно, не одноцѣнны. Всякаго человѣка, всякаго мастера надо судить по той высотѣ, на которую он способен подняться, а не по тѣм неудачам, которыя его могут постигнуть. На ряду с рѣчами, прелестная форма которых не скрывает малой их содержательности, мы имѣем другія, гдѣ разработка вполнѣ безукоризненна. Но он преувеличен даже поскольку им хотят указать на несистематичность плана, неравномѣрность частей. Это часто встрѣчается: не всѣ доводы развиты одинаково, не всѣ и затронуты. Но нельзя забывать, что часто это объяснялось не недостаточной обдуманностью рѣчи, а той своеобразной оцѣнкой доводов, которая коренилась в существѣ плевакинскаго міровоззрѣнія, составляя оригинальность содержанія рѣчи. Но хотя эти упреки преувеличены, доля справедливости в них все-таки есть, и вина за это лежит в значительной мѣрѣ на той смѣлости, с которой Плевако рѣшался импровизировать по сложным вопросам, полагаясь на одно вдохновеніе. Но говоря о тѣневой сторонѣ его дарованія, я имѣл в виду не дефекты плана, вызванные условіями импровизаціи; интереснѣе представляются тѣ послѣдствія, которыя непосредственно вытекали из этого дара Плевако, свободы и богатства его языка. Эта свобода сдѣлала то, во-первых, что Плевако пренебрег этим даром, никогда не работал над ним. Как бы велик он ни был, без работы он остался в стадіи возможности, а не расцвѣта. В Плевако были задатки стать несравненным стилистом, рѣчи котораго можно было бы запоминать наизусть. Но он остался к этому вполнѣ равнодушен, никогда не исправлял ни рѣчей, ни статей с тѣм, чтобы отдѣлать очистить свой

стиль: и если этот великій талант его не был зарыт в землю, он не был и пріумножен. Но исключительная свобода его рѣчи, во-вторых, имѣла и худшую сторону: она невольно влекла к многословію, к напыщенности, к искусственности языка, к своеобразному кокетству обиліем и разнообразіем слов. Ему вѣчно грозила опасность инстинктивнаго злоупотребленія тѣм даром, которым его надѣлила природа: ему было слишком легко говорить, чтобы говорить ровно столько, сколько было нужно по дѣлу. В изустной рѣчи от этой опасности его спасало непосредственное вліяніе слушателей. Всякій оратор в зависимости от чуткости организаціи болѣе или менѣе чует ту грань, гдѣ ослабѣвает вниманіе слушателей. На рѣдкость здоровый и тѣлом и нервами Плевако не был толстокожим, который не поддается вліянію создающейся вокруг него атмосферы. Произнесеніе рѣчи, несмотря на его громадный опыт, всегда его волновало, приводило в то напряженіе, в котором человѣк так сливается с окружающими, так чувствует их настроеніе. И это обостреніе нервной воспріимчивости спасало его от соблазнов риторики и многословія. Чѣм болѣе он волновался, чѣм болѣе захватывало его настроеніе, тѣм рѣчь его была проще, короче, сильнѣй и красивѣй. Условія эти в значительной степени исчезали, когда спокойно, у себя в кабинетѣ, он писал на своем Ремингтонѣ, не контролируемый ощущаемой им нетерпѣливостью слушателя. Здѣсь часто поддавался он искушенію своего мастерства, и мысль его выливалась в красивых, но длинных, напыщенных, витіеватых періодах. Они часто увлекательны и всегда так своеобразны, что мало-мальски привыкшій к его языку их узнает повсюду; но эта красота лишена той силы, с которой хватают за сердце его простенькія, короткія фразы. И, может быть, оттого, между прочим даже просто, как стилист, Плевако-писатель слабѣе Плевако-оратора.

Но это зло сказывалось не только в нем, как писателѣ; иногда, хотя рѣже, от этого страдал и оратор. Как ни исключительно богато был одарен Плевако умѣніем говорить без подготовки, и у него, как у всякаго, бывали тѣ минуты пониженной дѣятельности, которым мы даем общее названіе: быть "не в ударѣ"; оно могло проистекать не только из самых разнообразных, но и противоположных причин: как от того, что он не достаточно овладѣл, заинтересовался предметом, так и от того, наоборот, что был им слишком взволнован. Во всѣх таких случаях он менѣе свободно отдавался вдохновенію и поневолѣ охотнѣе и ближе держался того, что было задумано и приготовлено. И это всегда было к невыгодѣ впечатлѣнія. Я помню один типичный образчик такой неудачи, в знаменитом процессѣ Стаховича и кн. Мещерскаго. Как ни расхваливали газеты его рѣчь по этому дѣлу, я смѣло причисляю ее к неудачным: это был succés d'estime, при котором отсутствіе восхищенія со стороны газетных репортеров требовало извѣстнаго мужества. Что рѣчь была

неудачна, я сужу не только по отзывам тѣх, кто хорошо знал Плевако и для сужденія об этой рѣчи имѣл точки сравненія, но и по его личной оцѣнкѣ: долгое время он не любил о ней говорить и потом признавался, что остался собой недоволен. А между тѣм к рѣдкой защитѣ он приготовлялся так тщательно: он много раз писал и переписывал рѣчь, и послѣдній ея черновик был не рядом отдѣльных слов и намеков, а совершенно законченным текстом. Он и был напечатан в газетах; кстати добавлю: всѣ тѣ рѣчи, которыя печатались от его имени и подлинность которых можно узнать по его своеобразному языку, обыкновенно бывали им самим написаны: записать за ним, с сохраненіем его слога, было выше сил человѣческих. Обыкновенно послѣ процесса репортеры осаждали его просьбами дать ему рѣчь, и он, когда не лѣнился, под свѣжим впечатлѣніем писал ее на Ремингтонѣ: это бывала несомнѣнно его, плевакинская, рѣчь, но излишне повторять, что она была только подобіем сказаннаго, одним из ея возможных варіантов. В данном же процессѣ Стаховича Плевако при мнѣ отдал репортеру тот самый черновик, который имѣл, и он был полностью напечатан. Перед процессом Плевако волновался так сильно, что, вопреки своей привычкѣ, наканунѣ суда, просил меня со всѣми подробностями разсказать ему, что я буду говорить, и, что еще менѣе было на него похоже, просил выпустить или смягчить нѣкоторыя мѣста, чтобы с ним не разойтись. Я думаю, что его волновала не столько сенсаціонность процесса, сколько совсѣм непривычный и даже непріятный ему ея политическій характер с массой деликатных моментов, требовавших политическаго такта и дипломатической осторожности. И вот поздно вечером перед засѣданіем он пришел ко мнѣ в номер и прочел написанную им на Ремингтонѣ рѣчь. Зная по опыту, как измѣняет он все то, что говорит, и интересуясь не формой, а содержаніем, отдѣльными мыслями, я, прослушав его рѣчь, был увѣрен, что она будет chef d'oeuvre'ом, и предвкушал наслажденіе ее выслушать. Здѣсь меня и постигло разочарованіе. Плевако не справился с волненіем: его замѣтили всѣ, даже неопытные наблюдатели; он дошел до того, что нѣсколько раз путал слова, говорил князь Стахович и г. Мещерскій. Усомнившись в себѣ, он боялся оторваться от готоваго текста и вмѣсто свободной импровизаціи я услышал близкій пересказ того, что было написано. Спора нѣт, что и это было очень хорошо: это вовсе не было провалом и могло бы доставить заслуженные лавры другому. Но всѣ слабыя стороны плевакинской написанной рѣчи, ея длинноты, вычурность языка, выступили так рельефно, до того ослабили впечатлѣніе, что мнѣ вмѣсто радости рѣчь принесла одно страданіе, а слушателей далеко не захватила так, как он умѣл их захватывать. Такое же отношеніе импровизаціи и рѣчи написанной или, по крайней мѣрѣ, заранѣе обдуманной можно было иногда наблюдать и при других обстоятельствах.

Я не могу отдѣлаться от впечатлѣнія, например, что характерным образчиком такого сопоставленія может быть знаменитая защитительная рѣчь по дѣлу кн. Грузинскаго: оговариваюсь, что это только предположеніе, основанное на знакомствѣ с текстом, и что с самим Плевако я про это не говорил. Рѣчь в защиту кн. Грузинскаго в большей своей части является, несомнѣнно, импровизаціей; об этом он сам свидѣтельствовал в началѣ, и это не фраза, не риторическій пріем дѣланной скромности: кто изучил обстоятельства дѣла, тот согласится, что при самом причудливом воображеніи нельзя было предвидѣть той постановки обвиненія, которое было изобрѣтено прокурором. Итак, Плевако начинает импровизировать на тему, которая не была им обдумана: и дѣлает это перед трудным составом присяжных, перед сѣрым составом, как он это сам говорил. И нельзя достаточно налюбоваться мастерством этой работы, образным, ярким, сильным и доступным языком, который ничего не потерял ни в своем благородствѣ, ни в своей литературности, от приспосабливанія к пониманію темных людей: нельзя не восхищаться той смѣлостью и прямотой, с которыми он сам задѣвал самыя опасныя стороны дѣла.

Не могу удержаться от удовольствія привести начало этой рѣчи:

"Как это обыкновенно дѣлают защитники, я по настоящему дѣлу прочитал бумаги, бесѣдовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповѣдь души, прислушался к доказательствам и составил себѣ программу, замѣтки, о чем, как, что и зачѣм говорить перед вами. Думалось и догадывалось, о чем будет говорить прокурор, на что будет особенно ударять, гдѣ в нашем дѣлѣ будет мѣсто горячему спору, — и свои мысли держал я про запас, чтобы на его слово был отвѣт, на его удар отраженіе.

"Но вот теперь, когда г. прокурор свое дѣло сдѣлал, вижу я, что мнѣ мои замѣтки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержанія рѣчи не ожидал.

"Много можно было прокурору спорить, что поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг рѣшился на дѣло, что никакого безпамятства не было, что думать о том, что Шмидт со своей стороны готовит кровавую встрѣчу и под этой думой стрѣлять в Шмидта — князю не приходилось. Все это спорныя мѣста, сразу убѣдиться в них трудно, о них можно потягаться. Но подымать вопрос, что князь жены не любил, оскорбленія не чувствовал, говорить, что дѣти тут не при чем, что дѣло тут другое, воля ваша, — смѣло и вряд ли основательно. И уже совсѣм не хорошо, совсѣм непонятно, объяснять исторію со Шмидтом письмами к Фенѣ, строгостью князя с крестьянами и его презрѣніем к меньшей братіи — к крестьянам и людям, вродѣ нѣмца Шмидта, потому что он свѣтлѣйшій потомок царственнаго грузинскаго дома.

"Все это ново, неожиданно, и я, бросив задуманное слово, попытаюсь отвѣтить прокурору так, как меня наталкивает сердце,

возбужденное слышанным и боязнью за будущее моего дѣтища — подсудимаго. Я очень рад, что судьбу князя рѣшаете вы, по виду вашему — пахари и промышленники, что судьбу человѣка из важнаго рода отдали в ваши руки.

"Равенство всѣх перед законом и вѣра в правосудіе людей, не несущих с собой в суд ничего, кромѣ простоты и чистоты сердца, — сегодня явны в настоящем дѣлѣ. Сегодня, в сторонѣ большого свѣта, в уѣздном городкѣ, гдѣ нѣт крупных интересов, гдѣ всѣ вы заняты своим дѣлом, не мечтая о великих дѣлах и безсмертіи имени, на скамью обвиненіем посажен человѣк, котораго упрекают в презрѣніи к вам, упрекают в том, что он из стародавней, нѣкогда властвовавшей над Грузіей фамиліи... И вам же предают его на суд.

"Но мы этого не боимся и, не краснѣя за свое происхожденіе, не страшась за вашу власть, лучшаго суда, чѣм ваш, не желаем, вполнѣ надѣясь, что вы нас разсудите в правду и в милость, разсудите по человѣчески, себя на его мѣсто поставите, а не по фарисейской правдѣ, видящей у ближняго в глазу спицу, у себя не видящей и бревна, на людей возлагающей бремя закона, а себѣ оставляющей легкія ноши".

Останавливаюсь здѣсь только потому, что когда-либо надо остановиться. В таком же стилѣ ведется рѣчь и дальше, и по истинѣ трудно от нея оторваться.

Но хотя, как говорил Плевако, он записку разорвал и бросил, однако записка у него была, и по какому-то капризу оратора, он нежданно к ней возвращается: мы узнаем сейчас это неживое, неживущее мѣсто, отзывающееся хладнокровным творчеством кабинета. Готовясь к дѣлу, не зная присяжных, еще не предчувствуя той атмосферы, которая создастся, растянуто и блѣдно, не согрѣтый пламенем конкретнаго случая, как бы только теоретически, абстрактно, Плевако готовился разъяснить присяжным различную степень и виды аффектов, наказуемость неполной вмѣняемости и т. д. Все это было обдумано и навѣрно написано. Я не берусь судить, дѣйствительно ли это сказал Плевако в своей рѣчи, или это потом по его запискѣ вставил репортер, я увѣрен только, что эта часть написанной рѣчи — плод не нервнаго слова, а кабинетная выдумка, и что она лежит блѣдной заплатой на ярком фонѣ импровизаціи. Вот для иллюстраціи нѣсколько фраз этой вставки.

"Часто извиняют преступленія страсти, разсуждая, что душа, ею одержимая, не властна в себѣ.

"Но если проступок был необходим, то самая страсть, когда она зарождалась в душѣ, вызывала осужденія нравственнаго чувства. Павшій мог бы избѣжать зла, если бы своевременно обуздывал страсть. Отсюда — преступленіе страсти все-таки грѣх, все-таки нѣчто, обусловленное уступкой злу, пороку, слабости. Так, грѣх Каина — результат овладѣвшей им страсти — зависти. Он не

повинен, ибо совѣсть укоряла его, когда страсть, еще не рѣшившаяся на братоубійство, изгоняла из души его любовь к брату.

"Но есть иное состояніе вещей: есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грѣхами, возмущается законно, возмущается во имя нравственных правил, в которыя вѣрует, которыми живет, и, возмущенная, поражает того, кѣм возмущена...

"Так Петр поражает раба, оскорбляющаго его Учителя. Тут все-таки есть вина, — несдержанность, недостаток любви к падшему, но вина извинительнѣе первой, ибо поступок обусловлен не слабостью, не самолюбіем, а ревнивой любовью к правдѣ и справедливости".

Я не хочу слишком долго останавливаться на примѣрах, но, проглядывая то, что напечатано из его рѣчей, мнѣ кажется, я отчетливо вижу двух различных Плевако: Плевако — говорящаго, будь то в непринужденной бесѣдѣ и разговорѣ, или в нервном напряженіи защитника, не тратящаго лишних слов, не дающаго ослабѣть вниманію и впечатлѣнію, и Плевако, спокойно и неторопливо стучащаго на своем Ремингтонѣ и перваго подпадающаго под власть своего опаснаго дарованія. И я увѣрен дальше, — и там, гдѣ я мог, я это провѣрил — что тѣ рѣчи, которыя изданы, как рѣчи Плевако, и были им исправлены или, вѣрнѣе, написаны, так как я не могу себѣ представить Плевако, исправляющим что-либо, что эти рѣчи все же дают о нем, как об ораторѣ, невѣрное или, по крайней мѣрѣ, неполное представленіе: — в большинствѣ случаев онѣ писались ремингтонным стилем, кромѣ тѣх, которыя были записаны стенографически или когда Плевако, переписывая их, находился еще сам под властью настроенія, которое их диктовало. Потому-то эти рѣчи, этот сборник, давая возможность судить о Плевако, как об ораторѣ, по *содержанію,* часто может ввести в заблужденіе, если говорить о нем, как о *стилистѣ.*

Но я не хотѣл бы всѣм раньше сказанным дать повод предположить, будто я считаю слог Плевако в общем блѣдным и многословным. Этого я не хотѣл говорить. Я отмѣчаю только, что изумительная свобода его рѣчи, позволив и даже внушив ему дурную привычку никогда не исправлять того, что написано, сослужила плохую службу ему, как стилисту, в рѣдком случаѣ в качествѣ оратора, чаще — писателя. Конечно, это нисколько не отражается на общей оцѣнкѣ его, ибо сила Плевако не в стилѣ. Только с точки зрѣнія чисто литературной, любителей русской словесности, можно пожалѣть, что судьба допустила остаться без развитія и обработки эту часть его громаднаго дарованія. Но и здѣсь можно жалѣть только о том, что Плевако не дал всего, что дать мог. Здѣсь жалѣешь о погибшей возможности, ибо и в этом отношеніи Плевако был одарен феноменально: свобода рѣчи была только одним из его свойств, другим была рѣдкая колоритность, яркость,

выразительность его языка. Все это прорывалось в его рѣчи, и болѣе всего тогда, когда он об этом менѣе всего помышлял; стилистическими красотами, которым мѣсто в хрестоматіях, были полны его разсказы и споры в повседневной бесѣдѣ, за чайным столом: вы их найдете на любой страницѣ сборника его произведеній; онѣ так и блещут в тѣх счастливых мѣстах, гдѣ чувствуется подъем охватившаго его настроенія, гдѣ о стилѣ он совсѣм забывал, весь устремляясь к дѣлу, живя с слушателями одним напряженіем. Перечтите такіе перлы его краснорѣчія, как знаменитое дѣло люторичских крестьян, забудьте о содержаніи, об оригинальном юридическом построеніи, оцѣните только стиль, одну литературную внѣшность.

Я не хотѣл бы в этом направленіи итти слишком далеко: я невольно вспоминаю то отвращеніе, которое мой гимназическій учитель сумѣл внушить нам к Горацію только тѣм, что подвергал тончайшему анализу его стиль, отыскивая и классифицируя его красоты. Но чтобы оцѣнить прелесть плевакинскаго языка, прослѣдите его мастерство в пользованіи двумя, тремя пріемами литературнаго изложенія. Возьмите, напримѣр, мѣткость и силу эпитета. В рѣчи о люторичских крестьянах, описывая крестьянскій надѣл, Плевако говорит: "особенность этого имѣнія, это — ничтожный надѣл, даровой, как его именует закон, нищенскій, как его обзывают в литературѣ, кошачій по мѣткому выраженію русскаго голодающаго остроумія". Как много сказано сочетаніем этих слов — голодающее остроуміе!

Я невольно припоминаю другого стилиста и мастера эпитетов, нашего москвича Ключевскаго: и у него тот же яркій, образный стиль, который ни на кого не похож, котораго послѣ нѣскольких строчек повсюду узнаешь без подписи. Мѣстами Плевако напоминает его, но Ключевскій при всем своем талантѣ был человѣком упорной, медленной работы; его статьи и лекціи строго обдуманы: в них импровизаціи нѣт. Плевако же кидал свои эпитеты походя, в простом разговорѣ, забывая про них; он мог их сказать в своей рѣчи и, воспроизводя ее потом на Ремингтонѣ, опустить их, так как это был мимолетный каприз дивнаго языка, а не плод внимательной мысли. Потому, в отличіе от Ключевскаго, в языкѣ котораго, по банальному, но вѣрному выраженію, ни одного слова нельзя ни прибавить, ни выкинуть, стиль Плевако невыдержан и неровен, покрыт как бы блестками, ярко свидѣтельствующими о могучем талантѣ, но вызывающими нерѣдко самонадѣянное желаніе заняться его корректурой.

Посмотрите еще на один из труднѣйших литературных пріемов — опредѣленія.

"Деревенская община, — говорит Плевако в той же рѣчи о люторичских крестьянах, — юридическое лицо. Она думает на сходкѣ

и, по условіям юридическаго лица, она иначе не может думать, как вслух и рѣчами. Сильные голоса того и другого на сходкѣ, это — *рельефныя мысли думающей юридической личности.* Если среди шумящаго люда и раздавались бранныя слова, — говорил он дальше, — то не судите за это строго: бранное слово — это *междометіе народнаго языка*".

Одним из любимых пріемов Плевако, к которым он прибѣгал очень часто, и всегда удачно, было сравненіе: ими кишит его рѣчь, часто оно замѣняет цѣлый довод, является единственным аргументом. В них он всегда великолѣпен. Я помню, что когда бывало — будь то в рѣчи или разговорѣ — Плевако вдруг возьмется за сравненіе, то раньше, чѣм он его сыщет, уже радостно предвкушаешь что-то блестящее и неожиданное. И он сыпал ими так же небрежно, щедро, как другими перлами своего несравненнаго языка. Их много и в тѣх рѣчах, которыя напечатаны. Возьмем то же дѣло люторичских крестьян. Плевако цитирует статистику дѣл, возбужденных экономіей гр. Бобринскаго против крестьян. "В 1866 году г. Фишер предъявляет всего два дѣла — на 150 р.; на слѣдующій год уже 7 дѣл, и взыскано долгу и неустойки 1542 р.; в 1869 г. 5 дѣл и 103 р.; в 1870 г. разыгрывается аппетит г. Фишера и он вчиняет 51 дѣло и получает 9937 р.; в 1871 г. 54 дѣла и 13032 р.; в 1872 г. — 28 дѣл и 7858 р. взысканія. В 1873 г. настало затишье — рука бьющаго устала — и вчинила только 5 дѣл и только 1309 р. взыскано. Но мир был недолог. С слѣдующим годом вспыхнуло новое гоненіе: 20 дѣл и 6588 р. в 1874 г.".

Какая мѣткость и неожиданность сравненія: "рука бьющаго устала". Ясно, что оно ничего не объяснило, не затѣм оно и было сказано. Но паденіе цифры дѣл в 1873 г. пройти молчаніем было нельзя: Плевако прибѣг к сравненію и одним словом нарисовал картину, в которой это случайное уменьшеніе дѣл только усилило общее впечатлѣніе. В той же рѣчи он возражает против обвиненія в подстрекательствѣ: его усматривали в одновременности сопротивленія со стороны всѣх крестьян. "Войдите в звѣринец, когда настанет час бросать пищу оголодавшим звѣрям, войдите в дѣтскую, гдѣ проснувшіяся дѣти не видят няни. Там одновременное рычаніе, здѣсь — одновременный плач. Поищите между ними подстрекателя... И он найдется не в отдѣльном звѣрѣ, не в старшем или младшем ребенкѣ, а найдете его в голодѣ или страхѣ, охватившем всѣх одновременно"...

Возьмем другую превосходную рѣчь в защиту А. Е. Максименко, любопытную с самых различных сторон. Обвинитель рисовал прошлое подсудимой черными красками: другой защитник протестовал против этого пріема, находил его неправильным и незаконным и просил присяжных забыть то, что им было сказано. Но Плевако этим не довольствуется:

"Одной просьбой о забвеніи этой страницы дѣла ничего не сдѣ-

лаешь: она уже прошла перед глазами присяжных. Просьбы о забвеніи остались бы неисполненными и даже возбуждали бы особое вниманіе к исключаемым фактам.

"Так безплодна просьба матери, которая, давая дочери своей какой-либо модный роман, предлагает ей не читать нѣкоторых отмѣченных красным карандашом страниц: онѣ будут прочитаны, прочитаны ранѣе других, и только сильнѣе запечатлѣются в молодом мозгу.

"Нѣт, я мирюсь с пріемом прокурора и, выслушав его обличительную рѣчь о далеком прошлом подсудимой, принимаю вызов".

И в слѣдующем затѣм образцовом по силѣ и яркости описаніи прошлаго подсудимой находится ряд красивых сравненій. Подсудимую обвиняют в легкомысліи, распущенности. Указывают на увлеченія до брака. "Кто из нас, имѣя в семьѣ молодых дѣвушек, сестер или дочерей, не знает, что серьезному чувству, которое ведет их к алтарю, предшествуют, как эскизы предшествуют картинѣ, мимолетныя вспышки нѣжности, скоро проходящія печали молодого сердца".

А вот еще сравненіе, которое пришлось слышать мнѣ самому, в одной из послѣдних рѣчей Плевако о безпорядках на фабрикѣ Коншина. Рѣчь идет о характерѣ массовых преступленій.

"Толпа — зданіе, лица — кирпичи. Из одних и тѣх же кирпичей создается и храм Богу, и тюрьма — жилище отверженных. Перед первым вы склоняете колѣни, от второй бѣжите с ужасом.

"Но разрушьте тюрьму, и из кирпичей, оставшихся цѣлыми от разрушенія, вы снова построите храм".

Так в простом образѣ Плевако резюмирует цѣлое ученіе о толпѣ, о ея вліяніи на человѣка, об его уменьшенной вмѣняемости, о несправедливости по-одиночкѣ карать тѣх, кто был преступен только с толпой.

Укажу еще на одну сильную сторону его таланта, на картинность его описаній.

Нарисовав краснорѣчиваго Рудина, Тургенев прибавляет, что он не умѣл описывать, что для этого у него нехватало красок. Этого нельзя было сказать о Плевако. Описанія удавались ему превосходно в самых ярких и жизненных тонах. Приводить примѣры этого в видѣ цитат было бы невозможно, это заняло бы слишком много мѣста и времени: я сошлюсь только на рѣчи, гдѣ можно видѣть такія описанія: это — то же дѣло люторических крестьян, гдѣ описан ход безпорядков, дѣло Максименко, гдѣ описано прошлое дѣвушки, дѣло Ильяшевича, Висновской и много других. По самому свойству дѣла, описанію всегда отводится в судебных рѣчах меньше мѣста, чѣм разсужденію. Но кто лично знал Плевако, знает какой мастер был он разсказывать и описывать. Послѣ него осталось начало его автобіографіи; когда она будет напечатана, вы увидите, что в Плевако

скрывался и погиб, помимо всего прочаго, и несравненный художник.

Добавлю еще, что он был неистощим в остротах, каламбурах, превосходно владѣл стихом и рифмой, мог импровизировать стихами, мог пародировать любого писателя: так при своем глубоком знанiи писанiя и богослуженiя, он в минуты добродушнаго дурачества пародировал ектенiи, проповѣди, самое Библiю; короче, — он был тѣм хозяином слова, для котораго в этой области нѣт ничего недоступнаго, который владѣет им так, как другой владѣет мыслью. И если бы Плевако этим дорожил, над этим работал, то он оставил бы классическiе образцы силы и прелести русскаго языка. Но он об этом не думал. Все это было для него только орудiем, а не цѣлью: он довольствовался тѣм, что ему было дано, не заботясь отточить, украсить это орудiе. И если от этого потеряла русская литература и при чтенiи его рѣчей не так легко бросается в глаза обаянiе слога, то Плевако, как оратор, от этого выиграл. Он не принужден был разбрасывать силы, тратить время и вниманiе на заботы о внѣшности: ему не грозила опасность, стать слугой и даже рабом собственнаго своего краснорѣчiя. Плевако начинал там, гдѣ другiе кончают: в то время, как другiе уже считают себя ораторами только потому, что добились умѣнья говорить не только гладко и правильно, но и красивыми фразами по всѣм рецептам риторики, Плевако имѣл это от Бога, и притом в таком изобилiи, что не мог понять, как об этом можно заботиться и почему это можно цѣнить.

Работа его ушла на другое, и, конечно, нельзя сомнѣваться, что ушла на болѣе важное.

И интересен вопрос: на что она ушла, в чем была его подготовка, что дало ему его воспитанiе?

Ходячiй упрек, который обыкновенно дѣлают Плевако, заключается в том, что он мало работал, не знал дѣл, спасался только талантом. В этом упрекѣ есть доля правды, хотя ее слѣдует заключить в надлежащiя рамки. Во-первых, не надо преувеличивать: если Плевако меньше, чѣм другiе, тратил времени на изученiе дѣла, то не надо упускать из виду, что он обладал удивительной памятью и рѣдким умѣнiем сразу схватить суть всякаго казуса. Кромѣ того, в дѣлѣ, особенно уголовном, он рѣдко пользовался всѣм матерiалом: он отбирал нѣсколько основных положенiй, главных мотивов, и мало интересовался тѣм, что не имѣло к ним отношенiя. Но как бы то ни было, к дѣлам он дѣйствительно часто готовился недостаточно: узнавал их наскоро, и, что еще хуже, по пересказу помощников. Но не чтенiем "дѣл" ограничивается подготовка оратора, и было бы грустно, если бы время такого ума, главным образом, уходило на это. Интереснѣй вопрос, вообще умѣл ли работать Плевако, или он был "праздный гуляка", котораго в нужныя минуты осѣняло вдохновенiе свыше? Конечно, Плевако не мог служить образцом трудолюбiя: он был слишком мало европейцем, чтобы умѣть устроить регу-

лярную жизнь, умѣть работать систематично: по общительности его характера масса времени у него уходила на разговоры, на гостей, на балагурство, на всѣ эти язвы русскаго общежитія. Он работал по-русски, порывами: то, наглухо от всѣх запершись, просиживал над бумагами ночи, то заставляя дѣла и кліентов ждать терпѣливо, пока он тратил нужное время в гостиной, за картами, за чайным столом. Все это естественно порождало толки об его лѣни, безпечности и легкомысліи. Впрочем, и здѣсь надо опасаться преувеличенія. На склонѣ лѣт всѣ живут болѣе запасами прошлаго, с годами растут не знанія, только опыт, и всѣ болѣе ими менѣе отстают и опускаются. Общей участи не избѣг и Плевако. Чтобы судить о том, как и над чѣм он работал, справедливѣе взять его в молодости. И мы имѣем достаточно данных, чтобы утверждать, что Плевако был совсѣм не лѣнив, что он много работал, что репутація "безумца, гуляки празднаго" была им совсѣм не заслужена и не один Божій дар сдѣлал его тѣм, чѣм он был.

Одним из наиболѣе наглядных, "вещественных" доказательств работы Плевако была его библіотека. Она не была собраніем книг, которыя покупают сразу, по случаю, украшая ими кабинетныя полки. В громадной части она пріобрѣталась постепенно самим Плевако, в то время, когда он не был настолько богат, чтобы тратить деньги на ненужную книгу. И Плевако не принадлежал к числу тѣх, кто довольствуется пріобрѣтеніем книги, и, ставя ее на полку, этим ограничивает свое отношеніе к ней. Его книги носили ясный слѣд изученія: масса подчеркиваній, значков, иногда всѣ поля кругом исписаны. И, что еще интереснѣе, связь Плевако и книги не прерывалась и послѣ прочтенія. В общем он был человѣк разсѣянный и безпорядочный, который все терял и забывал. Но стоило у него попросить какую-нибудь книгу, и он всегда без ошибки указывал, гдѣ ее найти. А это было совсѣм не так просто. У Плевако была одна удивительная страсть, которой судьба не давала ходу: переѣзжать с квартиры на квартиру. Так как он жил в своем домѣ, то это для него было не нужно: он мѣнял тогда квартиру в предѣлах того же самаго дома; на моей памяти он перемѣнил четыре квартиры в его домѣ на Новинском бульварѣ. Но и этого ему было мало: тогда он измѣнял расположеніе комнат, переѣзжал в другой кабинет. За невозможностью дѣлать и это, он переставлял мебель, и особенно часто переставлял книги на полках, располагая их по новому плану.

Я часто видал его за этим занятіем: для него он забывал все остальное, кліентов, дѣла, сроки и обѣщанія. Его можно было видѣть на лѣстницѣ с книгой в руках, бѣгло ее перелистывающаго: стоило войти в это время, и он тотчас начинал говорить о книгѣ, разсказывать анекдоты о том, как, почему и зачѣм он ее пріобрѣл, что его в ней поразило и т. д. Если при переборкѣ книг оказывалось, что какая-нибудь из них не на мѣстѣ, он всегда это замѣчал, волновался,

начиная подозрѣвать своих завсегдатаев, посылал к ним за справками, и обыкновенно ее находил. Словом, его библіотека была нѣчто с ним крѣпко сроднившееся, глубоко им пережитое, стала частью его личности или, по крайней мѣрѣ, его біографіи.

Это дѣлает очевидным, что в свое время Плевако много работал, и, как ни условны всѣ выводы, которые можно дѣлать о человѣкѣ по составу его библіотеки, она все-таки открывает кое-что характерное.

Она прежде всего была довольно случайной, несистематичной: в этом отразилась несистематичность его образованія: он не проходил правильной школы под чьим-либо руководством; если он был самородком по дарованію, то остался самоучкой по воспитанію; на нем не замѣчалось слѣдов учителя, вліянія извѣстнаго направленія. Он был в полном смыслѣ слова эклектиком: читал все, что понравилось или что было почему-либо нужно в данный момент. Он запасался самыми разнообразными точками зрѣнія, самыми противоположными доводами и аргументами; всѣ их усваивал, запоминал, но именно отсутствіе школы, руководителя позволило ему сохранить всю свою индивидуальность, не поработить ее в угоду учителю. Отсюда вышла та изумительная находчивость, изобрѣтательность, творчество, которыя в обыкновенных умах развиваются всегда в ущерб знаніям, памяти: память и творчество — основныя свойства ума человѣка, но они только у избранных натур идут рядом; обыкновенно человѣк творит, покуда не знает, пока запас свѣдѣній не сковывает его вдохновенія; по мѣрѣ того, как он усваивает "ум чужой", он теряет способность творить и идет послушно за ним. Плевако избѣг этой опасности; он ни мало не подчинил себя чужому уму, он брал у других образчики мыслей, разсужденій, ошибок; учился тому, как можно думать, как можно разсуждать. Он познавал воочію всю относительность истины, всю условность авторитетов; отношеніе к наукѣ было у него дилетантским: он ею любовался, как высшим мастерством ума человѣческаго. Но, изощрив его ум, отточив его как орудіе, наука не дала и не могла дать ему тѣх незыблемых положеній, которыя бы сковали его мысль, наложили ярмо опредѣленной доктрины. Он остался свободным.

Состав его библіотеки был любопытен еще и с другой стороны: она не носила профессіональнаго отпечатка. Если исключить тѣ настольныя руководства, которыя всюду выдают практика-юриста, сборники законов и кассаціонных рѣшеній, едва ли кто, ознакомившись с его библіотекой, мог хотя приблизительно догадаться, чѣм занимается ея собственник. Конечно, у него было много книг по юриспруденціи; онѣ как будто обнаруживают юриста; однако, еще болѣе книг было у него по богословію, по религіозной исторіи. И этот отдѣл был не только систематичнѣе, он был болѣе в употребленіи: книги этого рода не сходили у него со стола; многія из них переплетались вперемежку с бѣлыми страницами, которыя он покры-

вал комментаріями. Но и юриспруденція адвоката не обличала. Возьмем, напр., область гражданскаго права: многими повторялось, что Плевако был плохим цивилистом. И если посмотрѣть, что он читал по гражданскому праву, то с перваго взгляда можно подумать, что у него к нему дѣйствительно нѣт интереса; обычныя руководства к 10-му тому стояли почти неразрѣзанными; но работа его в этой области неожиданно раскрывалась с другой стороны. Оказывалось, что он много занимался тѣм, чѣм юристы-практики обыкновенно не интересуются, — изученіем римскаго права. В молодости он перевел Пухту с нѣмецкаго, и это не было простым средством заработка. Интерес к римскому праву он сохранил и позднѣе и перенес впослѣдствіи на аналогичный ему памятник современнаго права, на Code Civil; в его библіотекѣ были многотомные комментаріи Лорана и Демоломба; оба принадлежали к тѣм сочиненіям, которыя он читал постоянно; рѣдкая страница не была вся кругом исписана и перечеркнута. Болѣе того. Мнѣ как-то случилось ему сказать, что вышел труд новѣйшаго комментатора, четырехтомный комментарій Baudry-Lacontinière. Он немедленно его пріобрѣл и я застал его за его изученіем. Итак, не интересуясь тѣми настольными книгами, которыя так облегчали труд для практика, которыя разжевывали и клали в рот все, что адвокату нужно знать по гражданскому праву, Плевако занимался тѣм, что имѣло ко всему этому только очень отдаленное отношеніе — изученіем основ римскаго и гражданскаго права, т. е., шел тѣм путем, каким обыкновенно не идут люди, стремящіеся скорѣе стать мастерами какого бы то ни было ремесла.

Это и наложило отпечаток на него, как на адвоката; он мало знал и дѣйствующіе законы и еще меньше кассаціонную практику. В умѣніи аргументировать нумерами рѣшеній он пасовал перед многими. Но если он не был законником, то зато был превосходным юристом, глубоко чувствующим и понимающим, чего требует здоровое право. Быть может, потому он и склонен был легко относиться к закону, что слишком живо ощущал велѣніе права. Никто поэтому лучше него не умѣл ни разрѣшить вопроса, в законѣ не предусмотрѣннаго, ни найти опоры своему взгляду в велѣніи разума, а не банальном примѣрѣ существующей практики. Глубоко им усвоенное ощущеніе права, духа законов иногда замѣняло ему самое знаніе их. Он сам разсказывал, как иногда, не зная закона, инстинктом угадывал, какой при данных условіях закон может быть и гдѣ его должно найти. У меня не сохранилось в памяти всѣх подробностей одного подобнаго случая, о котором он мнѣ говорил. Случилось, что по дѣлу о разводѣ какой-то военный не послушался требованія консисторіи; Побѣдоносцев из доклада консисторіи усмотрѣл в этом неуваженіе к Церкви, поднял скандал и добился грознаго Высочайшаго запроса, почему консисторіи не послушались. Полковник, чуя бѣду, прибѣжал к Плевако за помощью: что отвѣчать? И вот, гово-

рил он, когда он узнал дѣло, ему показалось, что требованіе консисторіи противорѣчит духу военных законов (сколько помню, рѣчь шла о допросѣ офицеров, как свидѣтелей по бракоразводному дѣлу), что в военных постановленіях должны быть гдѣ-нибудь правила, которыя указывают для консисторских требованій особый порядок, который не был ею соблюден. Стали искать, рыться в постановленіях, и такой закон, хотя и не примѣняемый, дѣйствительно оказался. Полковник на него сослался, и выговор вмѣсто него получила консисторія.

Вот примѣр того, как юридически образованный ум своим чутьем оказался сильнѣе спеціальных законников: и это чутье, находчивость хорошаго юриста, проникнутаго ощущеніем права, воспитавшагося на его идейных началах, на сознаніи его внутренней логической стройности, а не на злободневных перемѣнчивых требованіях текущаго законодательства, это чутье в юриспруденціи было главной силой Плевако.

Нѣкоторая доля пренебреженія к положительному законодательству и существующей практикѣ, конечно, проходила не безнаказанно. Ему случалось дѣлать грубые промахи, ошибки, видныя даже помощнику. И товарищи его по профессіи охотно любили о них всюду разсказывать. Но зато эта же свобода творчества и ума подсказывала ему тѣ оригинальныя построенія, которыми ему удавалось спасать самое безнадежное дѣло. Он не воспитал в себѣ человѣка ремесла; остался в юриспруденціи тѣм поэтом-художником, которым поневолѣ любуются, но котораго, как в старину Фидія, каждый сапожник мог удачно поймать на неправильном изображеніи обуви.

Но библіотека Плевако интересна еще с другой стороны, с точки зрѣнія того, чего в ней не было; и самым любопытным пробѣлом ея была современная беллетристика. Беллетристика вообще, даже классическая, не была любимым чтеніем Плевако. Он ее знал, многое любил, но у него не было потребности и привычки ее перечитывать. Я имѣл в этом отношеніи любопытное наблюденіе. Мнѣ случалось с ним путешествовать. Обыкновенно на это время мы берем особаго рода литературу, беллетристику, легкое чтеніе. Плевако брал с собою Куно-Фишера, Канта, Менгера, Еллинека. Сначала я думал, что это случайность, предлагал ему что-либо из того, что было со мною. Он брал, развертывал, но потом снова принимался за Канта; на мой вопрос о странном выборѣ книг для вагона небрежно отвѣчал: "Правда, но я другого чтенія не люблю".

Итак, он вообще не любил беллетристики; самое тяжеловѣсное чтеніе его не утомляло, не требовало особых условій или особаго настроенія. Перечитывать образцы художественной литературы ему поэтому не было ни времени, ни охоты; раз прочтя подобную книгу, с ней ознакомившись, он не видѣл нужды снова к ней возвращаться. Но он ея не чуждался. Иное приходится сказать про беллетристику

современную и про так называемое легкое чтеніе. Их он избѣгал; случайно иногда он брал что-нибудь новенькое у своих дѣтей или знакомых, но скоро бросал их с какой-то досадой. И чѣм рѣзче, правдивѣе и безпощаднѣе описывалась в них современная жизнь, тѣм болѣе она отталкивала, почти пугала его. И это представляется мнѣ любопытным потому, что это согласно с его общим обликом, его интересами. Право, философія, исторія, героическая повѣсть религіозной исторіи, крупные люди, крупныя событія, міровыя идеи — таков был тот мір понятій и образов, в котором он жил, на котором он воспитался, который привлекал к себѣ его мысль и вниманіе: эти интересы и помыслы настраивали его на болѣе высокій тон, чѣм тон обыденной дѣйствительности, внушали ему другія точки зрѣнія, другія оцѣнки, чѣм тѣ, на которых строится современность; он жил как бы в ином мірѣ, был оторван от жизни, утрачивал часто ключ к ея пониманію. И это можно было замѣтить на его отношеніи к людям, на его оцѣнкѣ людей.

Принято думать, что Плевако, как искусный уголовный защитник, был тонким психологом, знатоком человѣческаго сердца. Ничего не может быть ошибочнѣе этого взгляда. Плевако был великій мастер изображать человѣческую душу — это правда. Но он не имѣл дара в нее проникать; мало было людей, кого было так легко обмануть и кого так много обманывали; он долгіе годы не замѣчал, что у него дѣлалось под глазами, какіе люди имѣли его довѣріе. Он не даром жил в мірѣ героев и чуждался современной литературы, этого зеркала дѣйствительности, как цѣломудренныя женщины инстинктивно чуждаются фривольнаго чтенія. В оцѣнкѣ людей он был человѣком прежняго вѣка: несмотря на всю жизнерадостность и веселость, я готов назвать его трагиком. Он не понимал ничтожества причин и мотивов, которые ведут к большим результатам, мелочности человѣческаго духа и человѣческих ощущеній. Мнѣ приходилось видѣть это непониманіе, искреннее и недоумѣвающее; приходилось наблюдать, какія сложныя объясненія он придумывал для того, чтобы объяснить себѣ то, что к несчастью было так просто. Он был неисправимым оптимистом человѣческой природы. Ему всюду мерещилась драма; и если он простой фарс иногда превращал в драму, то, конечно, никогда у него, подобно другим, драма не становилась фарсом. В самом обыкновенном фактѣ он ухитрялся видѣть красивый поступок, усматривал порыв добра в простой трусости или дальновидном расчетѣ. Он был поразительный мастер в описаніи любовных исторій, понимал все — страсть, ревность, измѣну, обман, преступленіе, обольщеніе. Но он не мог бы понять одного: холоднаго, спокойнаго разврата, как героиня Марселя Прево не понимала хладнокровнаго адюльтера молоденькой внучки. В равнодушном и осторожном эгоизмѣ людей ему чудилась и душевная борьба, и страданія, и катастрофа паденія. Тот исключительный мір, в котором он воспи-

тался и жил, научил его на дѣйствительность смотрѣть иными глазами; всѣ свойства людей представлялись ему ярче, чѣм были; из всѣх красок, которыя должны быть на палитрѣ художника, ему не хватало только сѣрой, излюбленной краски нашего времени. Сам человѣк крупнаго калибра, широкаго размаха, один из тѣх, про кого поэт говорил: "наши силы неравныя, я ни в чем середины не знал", Плевако невольно всѣх мѣрил на тот же аршин, и в его описаніи каждый человѣк оказывался или мог оказаться героем трагедіи. И когда он встрѣчал скупца, то сразу видѣл в нем "Скупого рыцаря", а не Плюшкина.

Таков был склад ума Плевако, поскольку он был дан ему от природы и дополнен образованіем. Но это еще не опредѣляет оратора: все это средства. L'esprit est toujours la dupe du coeur — говорил великій скептик и пессимист Larochefoucauld. Чтобы понять оратора, особенность его краснорѣчія, надо понять его личность, характер и вкусы; и личность Плевако так своеобразна, что это было бы страшно трудной задачей, если-б она не облегчилась недавно с неожиданной стороны.

В этом году вышла коллективная работа под общим названіем "Вѣхи", поставившая цѣлью нарисовать образ русскаго интеллигента, каким он создался нашей исторіей. Я не осложняю своей темы вступленіем в эту полемику: не сужу, тактично ли было издавать эту книгу в настоящій момент, нѣт ли в ней страстных преувеличеній и т. д. Обо всем этом можно спорить. Но едва ли и противник книги не согласится, что много основных черт русскаго интеллигента в ней подмѣчены вѣрно. И эти черты могут быть реактивами для оцѣнки Плевако. Стоит спросить себя, были ли онѣ и в Плевако, чтобы понять, в чем было его своеобразіе. Да, он был воплощенным противорѣчіем. Глубоко русскій человѣк по духу, котораго своим признал голос народа, Плевако был по крови инородец; русской крови в нем не было ни капли: отец его был поляк, мать — башкирка Оренбургской орды. Человѣк, который добился своего положенія не связями, не наслѣдственным богатством, не покровительством, вся сила котораго в талантѣ, умѣ, знаніи, в интеллигентной профессіи, словом типичный интеллигент, он был другой рѣдкостью: интеллигентом без интеллигентскаго облика. Русскій не русской крови, интеллигент без интеллигентскаго типа, в связи с тѣм орудіем воздѣйствія на людей, которым его одѣлила природа, — таково было то своеобразное сочетаніе свойств, которое породило "Плеваку".

Я не берусь за его полную характеристику. Она вышла бы за рамки доклада; но она сдѣлана за меня. Перечтите характеристику русскаго интеллигента в "Вѣхах" с его достоинствами и недостатками и возьмите в ней антипода — вы получите фигуру Плевако.

Я позволю себѣ привести только два-три примѣра, чтобы пояснить свою мысль.

Нашу интеллигенцію обвиняют в нерелигіозности; я не буду входить в вопрос, насколько это обвиненіе правильно. Пусть это ошибка или по крайней мѣрѣ преувеличеніе. Мнѣ достаточно указать, насколько к Плевако этот упрек ни в каком случаѣ относиться не мог бы. Религіозность была одной из основных черт его личности; и не только в общем философском смыслѣ исканія Бога, не только в том религіозном настроеніи, которое, как у Льва Толстого, мирится с отрицаніем Церкви и даже ведет к ея отрицанію, но в смыслѣ гораздо болѣе узком: он был церковником, православным, вѣрующим, преданным и послушным сыном своей Церкви.

Это чувство он пронес через всю жизнь, до старости, до смерти. Оно было у него в раннем дѣтствѣ; оно было и тогда не пассивным состояніем ума, а мотивом, побуждавшим к поступкам. Он разсказывал как-то, как однажды в дѣтствѣ это чувство вылилось у него в комическую форму, создало цѣлый инцидент. Увѣренный, что внѣ христіанства нѣт спасенія, он еще мальчиком в Троицкѣ рѣшил спасти своих сверстников, друзей-татарчат: купаясь с ними в рѣкѣ, он затѣял какую-то игру, по которой всѣ ребята должны были трижды нырнуть. Ничего не подозрѣвая, они это исполнили; он же в это время быстро произносил — во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а по окончаніи игры поздравил их с окрещеніем. Мальчики подняли рев, их отцы ходили жаловаться отцу Плевако, чиновнику, и Плевако довелось в очень нѣжную пору стать не только проповѣдником, но и мучеником. Религіозная экзальтація в дѣтскіе годы — не рѣдкость; но Плевако сохранил ее в юности, когда обыкновенно человѣческая душа проходит полосу невѣрія и отрицанія; его товарищи по студенчеству помнили, как и в ту пору Плевако покидал пирушки для церкви, любил вставать с пѣтухами, чтобы не опоздать к ранней обѣднѣ. Позднѣе я видѣл сам проявленія этой глубокой религіозности: видѣл, как он возил с собой маленькій образ, вѣшая его над постелью даже на желѣзной дорогѣ; по дурной привычкѣ входя в его комнату, не дожидаясь отвѣта на стук, не раз заставал его в позѣ, которая не оставляла сомнѣнія в том, что он дѣлал; видѣл, как он уходил помолиться в маленькую церковь, гдѣ бы его не узнали, гдѣ бы он мог остаться никѣм не замѣченным. В оставшихся послѣ его смерти бумагах можно найти много молитвенных изліяній, из которых ясно становится, что молитва была для него душевной потребностью и отрадой.

Это настроеніе не ограничилось областью чувства: оно не боялось изученія, критики. Богословскій, историко-религіозный отдѣл был одним из богатѣйших и любимѣйших в его библіотекѣ: этого рода книги с его стола не сходили. Свѣдѣнія его по этой части были громадны. Правда, он ими не пользовался, не торопился ни выска-

зать своих знаній, ни их эксплоатировать; многое, очень многое с ним и погибло, без слѣда и без пользы, если не считать того вліянія, которое оно могло оказать на весь его склад. Только невзначай можно был убѣдиться, как много он знал в этой отрасли: случалось о чем-либо спросить его, и, с обычной словоохотливостью отвѣчая на вопрос, он немедленно увлекался, разсказывал больше, чѣм нужно, массу цитировал наизусть и показывал, как много матеріала было в нем скрыто, но всегда наготовѣ.

Но эта религіозность, скажу яснѣе, "церковность", единеніе с Церковью, как с учрежденіем; полное единомысліе с ней в условной формѣ общенія с Богом, глубокая вѣра в то, что в Церкви вся истина, не заслонила в нем сознанія, что религіозное достоинство человѣка в исканіи истины, в искренности, в полной свободѣ. Никто не относился с большим уваженіем к религіозному образу мыслей другого, каким бы это ни казалось заблужденіем, и с большим отвращеніем не глядѣл на всякое насиліе в этой области. Он был другом Побѣдоносцева, передал Синоду около милліона Медынцевских денег. Все это правда. Но он же был ревностным защитником старообрядчества, отстаивал их права и на проповѣдь, и на имущество, воюя против притязаній воинствующаго православлія, и дѣлал это не по безпринципности, как многіе говорили, а, напротив, во имя того самаго принципа, которым было для него его религіозное чувство. Уваженіе к старообрядцам сидѣло в нем очень глубоко; я помню, как задолго до указа 17-го апрѣля, совѣтуясь с ним по какому-то дѣлу, я нѣсколько раз употребил слово "раскольник"; он мнѣ сказал: "Вот слово, которое я никогда не употребляю и совѣтую вам из словаря исключить. Говорите просто: старообрядец — это и правильнѣе и приличнѣе". Указ 17-го апрѣля был для него истинным праздником и если бы он дожил до обсужденія в Думѣ закона о старообрядцах, то — всѣ это чувствовали — он сказал бы одну из тѣх рѣчей, в которых выливается все существо, любимѣйшее убѣжденіе человѣка.

И не к одному старообрядчеству, исконной формѣ нашего православія, он относился с такой любовью и уваженіем: таким было его отношнеіе ко всякой религіи. Когда он был в Римѣ — уже в 1904 году, — то был на пріемѣ у папы. Идучи к нему, он передавал мнѣ то, что собирался сказать ему, если бы ему пришлось говорить: это был варіант на его любимую тему, что вѣра одна, что Бог один, что и католики, и православные не могут чувствовать себя ни врагами, ни даже соперниками.

И, может быть, ни в чем это глубокое уваженіе к чужой вѣрѣ и мнѣнію не сказалось так ярко, как в его отношеніи к такому отрицателю Церкви, как Лев Толстой: православіе Плевако не мѣшало ему благоговѣть перед Толстым даже в его богословских трудах. Он говорил про сочиненіе "В чем моя вѣра", что Толстой — самый на-

стоящій, истинный христіанин, ибо болѣзненно страстно вѣрит в Христово ученіе, хочет его постичь и исполнить. Язвительныя насмѣшки над обрядами и таинствами в "Воскресеніи" его огорчили; онѣ ему были непріятны; здѣсь было задѣто, умышленно и зло задѣто, чужое религіозное убѣжденіе. Это не похоже на Толстого, говорил он: и прежде всего это не художественно. Но тот же Плевако пришел в еще большее огорченіе от попытки Синода отлучить Толстого от Церкви. Дѣлая уступку своему православному настроенію, он признавал, что Синод мог осудить толстовскіе взгляды, чтобы помѣшать соблазну других, но он не должен был нападать на его личность. И когда, вслѣд за синодским рѣшеніем появилось письмо к митрополиту Антонію графини С. А. Толстой и оно распространялось рукописным способом, нѣсколько экземпляров такого письма были собственноручно написаны самим Плевако на Ремингтонѣ.

Да, он был религіозен, и именно потому в предреволюціонное время, когда священникам было предписано для охраненія порядка заняться политическими проповѣдями и когда он увидѣл в этом то, что ненавидѣл всю жизнь: подчиненіе Церкви политикѣ, он, Плевако, протестовал против этого мотивированным сложеніем с себя званія церковнаго старосты.

Так он был непохож на оба противоположные и наиболѣе распространенные типа: на проповѣдников свободы совѣсти из интеллигентскаго индиферентизма, и на насильников совѣсти из религіознаго фанатизма. Он принадлежал к числу тѣх рѣдких, очень рѣдких, но тѣм болѣе драгоцѣнных представителей страстнаго религіознаго чувства, которые во имя его самого отреклись от насилія и понятным для вѣрующих христіан языком говорят для них, к сожалѣнію, непривычныя мысли.

Другая черта, в которой упрекают интеллигенцію, это — космополитизм, отсутствіе живого національнаго чувства. И опять Плевако был полной и яркой противоположностью такому упреку. И не в том дѣло, что он был патріотом, который всѣм сердцем болѣл о судьбѣ русскаго государства, страдал от его униженія. Я помню, как рано утром, в халатѣ, он поднял меня с постели и с ужасом и каким-то отчаяніем принес вѣсть о гибели Петропавловска; помню, с каким непохожим на него негодованіем он мнѣ писал из за границы (при началѣ войны он был там) о ходившей в то время сплетнѣ о сочувственной телеграммѣ студентов микадо.

Не это типично; кромѣ этого обычнаго патріотизма, который во время войны запылал даже у Льва Толстого, несмотря на принципіальное его отрицаніе, у Плевако был тот національзм, та непреодолимая любовь к своему, мирная и трогательная, которую так чудно выразил Лермонтов в стихотвореніи "Люблю отчизну я, но странною любовью". Плевако любил русскую жизнь, русскую природу, русскую душу; любил типичное, своеобразное проявленіе нашего на-

ціональнаго склада. Его инстинктивно тянуло туда, гдѣ этот склад наиболѣе сохранился, был наименѣе затушеван общей культурой, гдѣ было легче сказать: здѣсь русскій дух, здѣсь Русью пахнет. Не из-за одной религіозности, а также из-за чувства он любил жизнь нашего духовенства, монастырскій чин и порядок. Среди них он был свой человѣк; и если он был охотник втихомолку, незамѣтно забрести в церковь и помолиться, то не менѣе любил на торжественном праздникѣ отстоять церковную службу, пойти на чай или завтрак к игумену или игуменьѣ, с умиленным радостным выраженіем на лицѣ смотрѣть на почетных гостей, вести чинные разговоры. Он любил наше купечество: не новую, европейски образованную буржуазію. Ея, напротив, он не любил; конечно, как всегда, нелюбовь к классу не мѣшала ему любить и уважать отдѣльных ея представителей. Но класса он не любил; среди немногих политических и соціальных взглядов, которые у него были, я от него всего чаще слышал один: что наша буржуазія хуже дворянства, что она больше его сдѣлает зла мужику. Быть может, и в этом сказывалось инстинктивное предпочтеніе національнаго бытового явленія, с его своеобразною формою, порожденію космополитическаго капитализма; но зато он любил вымирающій купеческій тип, с его патріархальными вкусами, любовью к старинѣ, неуклюжестью в перениманіи европейских привычек; любил это противорѣчіе между скромностью одежды и жилища и колоссальным богатством, недостаток образованія, замѣняемый природной смѣткой, отсутствіе лоска и воспитанія. И больше всего любил русскую крестьянскую жизнь: человѣк, жившій в относительной роскоши (сытый, давно сытый человѣк, — сказал он про себя в рѣчи о люторичских крестьянах), умершій дѣйствительным статским совѣтником, Плевако остался самым глубоким демократом не по убѣжденію, а по инстинкту, по всему складу характера и міровоззрѣнія. Будучи принципіальным сторонником культуры, разорявшійся на сельскохозяйственных улучшеніях, Плевако даже к отсталости, к некультурности нашего мужика чувствовал ту трогательную любовную нѣжность, которую мать питает к шалостям и недостаткам дѣтей. Русское "авось" и "небось", практическую неумѣлость, наивную, недальновидную недобросовѣстность, недовѣріе к новизнѣ, даже пьяный разгул осуждал он умом, а не чувством: они вызывали в нем не негодованіе, не досаду, а какую-то добродушную снисходительность, как к чему-то родному и милому.

Помню, как однажды, по дорогѣ в Крапивну, на защиту, зимой, мы остановились среди поля, т. к. у мужика, который нас вез, развязалась вся упряжь; пока мужик, охая и крахтя, недоумѣвал, что такое случилось, а я злился не только на то, что мы принуждены зябнуть среди поля, но особенно, что все это случилось близко от станціи, гдѣ было время пересмотрѣть, хорошо ли было запряжено, Плевако начал комично описывать, как этот мужик утром встал, как

он видѣл, что упряжка плоха, но понадѣялся, что до станціи довезет, как на станціи он замѣтил, что она еле держится, но понадѣялся, что доѣдет до кузни и т. д.И все это описывал без всякой досады, с такой нѣжностью, с таким добродушіем, что было видно, что это русское разсужденіе для него много милѣе, чѣм американская предпріимчивость или нѣмецкая аккуратность.`Помню, как на одном фабричном процессѣ, гдѣ рабочіе разнесли и фабрику, и кабак, он с какой-то лаской, даже сочувствіем разспрашивал их, как это случилось, вмѣстѣ с ними добродушно смѣясь над тѣм, что они сдѣлали. И если он так относился к отрицательным сторонам русской жизни, потому только, что онѣ были глубоко, истинно русскими, то можно судить, как смотрѣл он на другія положительныя ея проявленія: на хозяйственность, религіозность, семейственность; как любил поговорить он с таким мужиком, посидѣть у него в избѣ, попить чаю, разспросить обо всем, что он думал, что слышал, на что он надѣется; как скоро они понимали друг друга, как много общаго находили друг в другѣ, несмотря на всю разницу положенія, образованія. До какой степени не чувствовалось у него с крестьянами никакой натянутости, никакой фальши, никакой преграды между барином и мужиком. Не оттого ли ни по каким дѣлам Плевако не боялся "сѣрых" составов присяжных, не боялся, что доводы его не подѣйствуют, не будут усвоены, что между ним и присяжными окажется пропасть и они не смогут понять того, что мы понимаем?

Любил Плевако и типичныя проявленія русской семейной жизни, любил всякія домашнія торжества, свадьбы, именины, крестины. На своем вѣку он крестил сотни дѣтей всяких состояній и рангов. В городѣ Троицкѣ мы пробыли четыре дня на процессѣ, но крестника он там все-таки пріобрѣл.

Человѣк, который так много любит, не может долго сердиться; и в самой тѣсной связи с этим свойством Плевако, стоит та особенность его характера, в которой рѣзче, чѣм в чем-либо, сказывается его отличіе от типичнаго интеллигента. Авторы "Вѣх" указали, что главным мотивом дѣятельности интеллигента является злоба, ненависть, отрицаніе. Может быть, это сужденіе преувеличено, но было бы несправедливо вовсе его отрицать; мы создали понятіе "святая ненависть"; наш поэт говорил: "то сердце не научится любить, которое устало ненавидѣть".

Этого чувства не только нельзя отрицать, его не слѣдует и осуждать. В такой ненависти часто здоровый корень; она безконечно выше безразличія и равнодушія. Однако было бы ошибочно думать, что желаніе лучшаго, любовь к идеалу, со "святой ненавистью" неразлучно: чтобы любовь к "дальнему" непремѣнно предполагала ненависть к ближнему.

Конечно бывает, и часто бывает, что, любя идеал, т. е. созданіе собственной мысли, искренно ненавидишь дѣйствительность за то,

что она этому идеалу не соотвѣтствует; это отношеніе доктринеров-политиков, отношеніе честных и добросовѣстных педагогов; всѣ они достойны глубокаго уваженія, но кромѣ вреда рѣдко что дѣлают. Но вѣдь такое проявленіе любви к идеалу не обязательно; и любящіе родители могут видѣть недостатки дѣтей, могут, навѣрное, не менѣе педагогов желать приближенія своих дѣтей к совершенству; но ненавидѣть их за это не станут. От этого их спасет неразумная, инстинктивная привязанность к дѣйствительным дѣтям, с их слабостями и недостатками. То же самое было с Плевако. Было бы неправильно думать, что он не имѣл идеала; правда, он гораздо менѣе интересовался порядками, чѣм человѣком; но тот идеал, в котором он видѣл назначеніе человѣка, был, конечно, не ниже того, который большинство носит в душѣ. Дѣйствительный человѣк, дѣйствительная жизнь мало ему соотвѣтствовала. Но у Плевако было нѣчто другое, кромѣ любви к идеалу; в нем была любовь к дѣйствительности, духовная близость, родство, сходство с этой дѣйствительностью. Эта любовь не дала развиться злобному чувству. Чувства "святой ненависти" Плевако органически не понимал. Он сам сознавал, что в этом пунктѣ цѣлая пропасть отдѣляет его от других. Задолго до того, как были написаны "Вѣхи", и серьезными и честными людьми был поставлен вопрос о дефектах интеллигенціи, Плевако говорил про ея типичных представителей, про ту молодую адвокатуру, с которой он сблизился на склонѣ жизни и дѣятельности: "Удивительное дѣло, — говорил он, — вы прекрасно защищаете, но только тогда, когда можете обрушиться на кого-нибудь; только это чувство вас и вдохновляет, без этого у вас ничего не выходит". Он не мог не замѣтить этого, так как в этом была его главная оригинальность. И никогда, быть может, эта черта его характера не проявлялась так ясно, как когда событія и люди затащили его в политическую дѣятельность, и притом в то трудное время, когда вся эта дѣятельность свелась к междоусобію и перебранкѣ. Этого он не умѣл. В самый разгар политической распри, когда родные из-за политики ссорились и расходились врагами, Плевако никого не разлюбил, ни с кѣм не поссорился. Я помню, как во время выборной агитаціи перед третьей Думой, мы как противники выступали с ним на различных собраніях, и он сам заходил за мной, и мы вмѣстѣ пріѣзжали и уѣзжали на его лошади. Своей терпимостью, благодушіем, уваженіем к противоположному взгляду он обезоруживал противников и огорчал друзей и союзников. Впрочем, самая мысль сдѣлать его членом партіи и особенно агитатором могла исходить только от людей, которые его недостаточно знали, и если знали, то недостаточно оцѣнили.

И мнѣ хочется сказать нѣсколько слов об этой полосѣ его жизни, о Плевако, как о политикѣ, так как ничто не может внушить такого невѣрнаго о нем представленія, как посмертное восхваленіе его партійной и вообще политической дѣятельности.

Он никогда близко не интересовался политикой; для этого он был слишком христіанин. Он интересовался, как я уже сказал, не порядками, а людьми; порядками только постольку, поскольку в них принуждена была проявляться душа человѣка. С государственным правом он был знаком, как со всяким правом; но это был больше теоретическій интерес. Он вряд ли имѣл опредѣленный взгляд на то, какая реформа в политическом строѣ нужна Россіи, вряд ли и задумывался серьезно над этим. Он пробовал заниматься общественной дѣятельностью в мѣстном самоуправленіи, и земском и городском. Его там любили, как его любили всѣ, кто его знал; но он ничѣм там не выдвинулся и вліянія не имѣл. Но политическая горячка "освобожденія" захватила и его, как многих самых равнодушных к политикѣ. Самый манифест 17 октября привел его в восхищеніе; он услышал дорогія слова о свободѣ и о законности. В этот момент ему казалось, что политическая дѣятельность стала долгом каждаго; с какой-то дѣтской радостью, несмотря на болѣзнь, он мечтал стать депутатом. Путь туда шел через партіи, и вот по ироніи судьбы, так как первой открытой партіей, образованной послѣ 17 октября, была партія его позднѣйших противников, партія народной свободы, то едва она опубликовала программу, как он пришел ко мнѣ просить записать его в ея члены. Я его оттоваривал: Плевако и политическая партія и партійная дисциплина были contradictio in adjecto. Он отшучивался против моих возраженій и настаивал. Но отдѣлаться от него всегда было очень легко. Я не поддерживал этого разговора, а он про него скоро забыл. А через нѣсколько времени пришел ко мнѣ торжественно заявить, что его пригласили вступить в партію октябристов.

Я думаю, что даже недобросовѣстные полемисты не заподозрят меня в желаніи оттягать Плевако от октябристов и сдѣлать его посмертным кадетом; конечно, никогда он кадетом не был и быть не мог, и его просьба не означала ничего, кромѣ желанія куда-нибудь приписаться; когда он об этом просил, да и позже, о кадетской программѣ он имѣл самое смутное представленіе; представленіе это, впрочем, соотвѣтствовало и степени его интереса к программам. Интересоваться он мог развѣ только людьми, которые в этой партіи дѣйствовали. Итак, кадетом он не был, но был и совершенно таким же октябристом. Горячим поклонником манифеста он был — это правда; с любовью и уваженіем относился ко многим дѣятелям октябристов — тоже правда. Но этим и ограничивалось его отношеніе к партіи; ея программу, такитку, цѣль он знал только, поскольку ему про них разсказывали, и забывал, как только услышал.

Он и не мог быть не только партійным, но и вообще политическим дѣтелем; ничто не было так чуждо всему его облику и характеру; эта дѣятельность требовала извѣстной жестокости и безпощадности, способности во имя *общаго* блага причинять зло и огорченіе

личности. Для нея нужна если не "святая ненависть", то все-таки умѣніе не руководствоваться болѣе всего жалостью и состраданіем к отдѣльному человѣку. Это было бы слишком тяжело для Плевако. Ибо основной, главной чертой его отношенія к людям был сердечный к ним интерес, неизмѣнное дружелюбіе и доброжелательность. В нем не было ничего, что могло бы заставить его пожертвовать человѣком: ни вѣры в исключительную спасительность опредѣленных государственных форм, ни преданности доктринѣ, ни происходящей от нея нетерпимости. Он дружил с людьми самых противоположных взглядов и общественных положеній; находил в каждом нѣчто достойное интереса и уваженія и просто не замѣчал того, что раздѣляло других. Терпимость его доходила до неразборчивости; для него было совсѣм просто и естественно любить Побѣдоносцева и быть закадычным другом гонимых им старообрядцев. Он не понимал, *что* могло быть страннаго в этом, *как* можно было чуждаться человѣка из-за несогласія с ним. Я мог убѣдиться, что этого он дѣйствительно не понимал. Припоминаю страницу из прошлаго: я знал Плевако еще со студенчества, так как он был дружен с моим покойным отцом. Когда я поступил в адвокатуру, то нашел в извѣстной части ея рѣзко отрицательное к нему отношеніе; в то время были партіи в адвокатурѣ, которыя трудно назвать, еще труднѣе опредѣлить. Одна из этих партій, старая *совѣтская**), реакціонная, как тогда говорили, считала Плевако своим, другая, партія молодой радикальной адвокатуры была к нему враждебно настроена. Враждебность эта дошла до того, что когда Плевако однажды через меня предложил молодой, организованной в так называемый "бродячій клуб" адвокатурѣ прочесть им ряд лекцій под общим заглавіем "адвокатская тактика", то об этом нѣсколько вечеров под ряд шли оживленныя пренія, закончившіяся постановленіем от этого предложенія отказаться. В исторіи нашей русской нетерпимости я не знаю примѣра болѣе характернаго. В числѣ принимавших участіе в этом рѣшеніи почти никто Плевако не знал; в числѣ доводов против него приводили такіе, что он был "защитником" игуменьи Митрофаніи. Ясно, что причиной этого была только партійная нетерпимость, то клеймо, штемпель, который стоял на Плевако. И в этом случаѣ мнѣ пришлось видѣть, как сам Плевако относился к этим вопросам. Судьба избавила меня от неловкости сообщить ему странный отвѣт на его предложеніе: Плевако так же забывал свои предложенія, как и свои обѣщанія; он забыл и про это раньше, чѣм узнал, как его приняли. Но в связи с этим мнѣ пришлось говорить с ним о партіях в адвокатурѣ. Я мог самым наглядным образом убѣдиться, каким недоразумѣніем было его причисленіе к партіи. Сам он не был в этом повинен; им распоряжались другіе; одни без всякаго права его объявили *своим,* другіе

*) Рѣчь идет о Совѣтѣ, как сословном выборном органѣ.

тоже без основаній его признали *врагом*. Ко всему, что дѣлали с его именем, он относился совсѣм безразлично; он ровно столько же соглашался с противниками, сколько расходился с своими; при выборах голосовал за многія имена противоположнаго списка. Все дѣло для него было не в партіи, не в программѣ, а в лицах; он не мог понять вражды и отрицательнаго отношенія к человѣку только из-за того, что он другой партіи. Он не видѣл ничего страннаго в том, что обратился с своим предложеніем лекцій к своим партійным врагам; ему не пришло в голову, что этим он создает какой-то партійный вопрос, что его могут там не любить. И если бы он узнал про рѣшеніе, которое там состоялось, то я не сомнѣваюсь в одном: при всем напряженіи мысли, он бы понять его не сумѣл.

Но было бы мало сказать, что партійныя соображенія его от людей не отталкивали; такое свойство было бы лишь отрицательным. Отношеніе его к людям было другое; он был полон дружелюбія, доброжелательности, говоря проще, любви к человѣку. Ничего не могло в нем этого чувства уменьшить. В нем не было ни желанія властвовать, ни зависти к чужому добру и успѣху, ни мелочнаго тщеславія. Весь его характер привлекал его к людям, не к вымыслу, не к "дальнему человѣку", а к живым, существующим людям, в разнообразіи их недостатков и качеств.

Он легко сходился с людьми, скоро к ним привыкал, к ним привязывался, радовался их успѣхам и счастью, цѣнил все то хорошее, что в них открывал, легко прощал им всякія слабости. Ему никогда ни с кѣм не было скучно; он быстро входил в круг чужих интересов и нужд, разузнавал всю их жизнь и с такой же легкостью и наивностью, за которую не раз бывал жестоко наказан, проникался к ним откровенностью, раскрывал им и свои задушевныя тайны. Рѣдкая его экспансивность в связи с способностью совершенно чистосердечно все и у себя и у других преувеличивать, конечно, имѣла свою обратную сторону; никакой человѣк не может вмѣщать в себѣ столько разнообразных увлеченій, интересов, забот; поэтому они проходили так же быстро, как приходили. Увлеченіе одним человѣком уступило мѣсто другому. Пословица "с глаз долой из сердца вон" не ошибалась. Тѣ, которые принимали его интерес к себѣ, как нѣчто должное и окончательное, вѣрили всерьез тѣм обѣщаніям, на которыя он был щедр до безконечности, полагались на его слово — постоянно рисковали попасть в положеніе Вальмажура, довѣрившагося Нумѣ Руместану. Разсѣянность и неаккуратность его были анекдотичны. Помню, как однажды, застав у себя в пріемной трех человѣк, пришедших по его приглашенію, он извинился, что принять их не может, и тут же назначил им свиданіе в один и тот же час в трех разных мѣстах, у Тѣстова, в Славянском Базарѣ и еще не помню гдѣ. Пообѣщав каждому не опоздать, быть вполнѣ пунктуальным, он вновь убѣжал, а они остались в недоумѣніи, вопросительными гла-

зами глядя друг на друга: "кто же из них будет обманут?" Он их примирил. Обманул одинаково всѣх, и в назначенный час был в четвертом мѣстѣ, гдѣ его никто не ждал и не звал. Эти свойства создавали ему много врагов, рождали много нелестных легенд; но сердиться за них на него мог только тот, что его ближе не знал. Он забывал то, что сам обѣщал, так же легко, как и то, что ему обѣщали другіе; ни от кого не требовал большаго, чѣм давал сам другому. Его многіе не умѣли понять и платились за это — это правда; но за то другіе хорошо поняли, и искусно этим воспользовались.

Не эти качества все-таки дѣлают партійных лидеров и вообще политических дѣятелей; нѣт сомнѣнія, что если бы Плевако не умер так рано, он ушел бы из Думы, не сжился с нею, с ея атмосферой. Он не мог бы понять, почему люди ненавидят друг друга, не говорят того, что думают, руководятся какими-то скрытыми соображеніями; в нем скоро изсяк бы интерес к этой дѣятельности, и он ушел бы от нея туда, гдѣ была его сила, гдѣ он мог быть самим собой, гдѣ всѣ тѣ свойства, которыя вредили ему, как политику, служили на пользу ему. Плевако не ошибся профессіей; великое счастье, что он жил в эпоху введенія новых судов. Быть защитником, уголовным защитником — было его призваніе. Всѣ его особенности и даже его недостатки помогали ему в этой дѣятельности. Настоящим дѣлом, в котором проявлялась вся его мощь и все его своеобразіе, было представительство за того, кто был виноват, кто совершил преступленіе. Плевако не так интересен, когда он толкует закон или разбирает улики, доказывает ошибочность обвиненія; здѣсь он может быть и находчивым, и сильным, и убѣдительным, но не в этом исключительность его дарованія. Она проявлялась тогда, когда дѣло было не в уликах, не в спорѣ о доказательствах, — когда все было ясно, преступленіе несомнѣнно, преступник изобличен и шла рѣчь о возмездіи, о наказаніи.

В эти минуты Плевако был незамѣним; не тѣм, что, не ломая себя, не по заказу, а по склонности и привычкѣ, он умѣл проникаться интересом, горем, страданіем того, кого защищал; не тѣм, что опять-таки не по расчету, а только оставаясь самим собой, он сразу в каждом видѣл то хорошее, что может быть другим не было видно; а болѣе всего тѣм, что вся его манера, міровоззрѣніе, личность создавали своеобразную атмосферу, которая им вносилась в каждый процесс.

Он не знал тѣх пристрастій, от которых мѣняется оцѣнка человѣческих дѣйствій и личности; не понимал, чтобы то, что было дозволено в однѣх цѣлях, было запрещено для других, чтобы мы сами могли дѣлать то, что в других осуждали. Та мораль готтентота, над которой всѣ смѣются, но которой всѣ слѣдуют не только в политической, но во всякой борьбѣ, была ему совершенно чужда. Да и вся манера его вести судебный процесс не напоминала борьбы; он не

смотрѣл на других, как на противников, не умѣл считать себя стороной. Подсудимый и прокурор, любил он говорить, вот это — стороны. Себя же я считаю 13-м присяжным с совѣщательным голосом, говорю не от имени подсудимаго, а как судья должен думать и говорить на моем мѣстѣ.

Эта манера, естественная и непридуманная, вносила в процесс, гдѣ он участвовал, совсѣм исключительное настроеніе спокойствія и общаго доброжелательства. Оно сказывалось, во-первых, в отношеніях с судьями. Критики Плевако часто указывают, что, благодаря его положенію, имени, связям, отношенія судей к нему были совершенно иныя; что ему позволялось то, чего не позволялось другим. Здѣсь есть доля правды, но она не полна. Вѣдь ту же уступчивость судьи обнаруживают часто и к другим знаменитостям; но в отношеніи их к Плевако было нѣчто особое, что больше всего объяснялось тѣм, что это отношеніе было взаимно. Сам Плевако не сумѣл бы настроить себя на враждебное, недовѣрчивое к ним отношеніе; он всегда искренно и глубоко вѣрил в их справедливость, безпристрастность, добросовѣстность, непредвзятое отношеніе к дѣлу. В нем никогда не было того, что мы постоянно замѣчаем в себѣ: опасенія, что у судей уже готов приговор, что он им продиктован. Плевако никогда не принимал участія в обсужденіи вопроса, кого надо отвести, кого нужно бояться. Он всегда считал всѣх людей справедливыми, а их приговор добросовѣстным; и если он это говорил в своей рѣчи, как я цитировал в рѣчи по дѣлу кн. Грузинскаго, то это не было ни лестью, ни риторической «captatio benevolentiae», это было искренним убѣжденіем. Как часто мы говорим тѣ же слова, но говорим одним *языком,* не придавая им вѣры; мы знаем, что есть судьи тенденціозные, пристрастные и запуганные. Мы готовы повсюду видѣть убѣдительныя доказательства этого. Приговор для нас непріятный, мы нерѣдко объясняем этой причиной и искренно на него негодуем. Совершенно не таков был Плевако. Как до процесса он вѣрил судьѣ, так и послѣ него он приговором не возмущался. Он мог с ним не соглашаться, и не больше; помню я один громкій гражданскій процесс, проигранный им вмѣстѣ с другим адвокатом, тоже человѣком очень опытным и вліятельным; в то время как тот выходил из себя, искренно убѣжденный, что судьи были упрошены, что дѣло не обошлось без вліянія, Плевако с какой-то досадой открещивался от таких объясненій и ни на минуту не потерял к тѣм, кто рѣшил против него, ни капли прежняго уваженія. И все это чувствовалось и устанавливало на судѣ ту атмосферу дружелюбія, вниманія и взаимнаго довѣрія, при которой дозволяется много болѣе, чѣм в момент открытой или затаенной борьбы.

И та же атмосфера мира распространялась и на других участников процесса — и на прокурора и на свидѣтелей.

Отношеніе Плевако к послѣдним было крайне характерно; он

относился к ним без всякаго предубѣжденія, независимо от того, кто их вызвал, кому они нужны в процессѣ. У него не было обычая раздѣленія их на двѣ группы, смотря по тому, в чью они пользу показывают, с полным довѣріем к одной группѣ и недовѣріем к другой. Он был всегда убѣжден, что свидѣтель говорит искренно. Даже в тѣх случаях, когда он не мог принять его показанія, он старался об одном: понять, почему он ошибся. Ему чужды были обычные пріемы их обличенія; рѣдко прибѣгал он к шаблонному средству — оглашенія прежняго показанія. И это не только потому, что он обыкновенно плохо знал дѣло; даже в тѣх случаях, когда ему на это указывали, он отвѣчал: "что же вы хотите, времени прошло много, он мог позабыть". "Я не понимаю, — говорил он мнѣ однажды, — чего вы добиваетесь, уличая свидѣтелей таким образом, только открываете прокурору дорогу дѣйствовать тѣм же путем". И в этом замѣчаніи сказывался весь Плевако, который не допускал, чтобы один и тот же вопрос о преимуществѣ предварительнаго или судебнаго слѣдствія мог разрѣшаться неодинаково от того, *что* было нужно по ходу процесса. Показанія свидѣтелей, даже самых опасных, в нем не возбуждали досады; ни в способѣ допроса, ни даже в тонѣ не сказывалось желанія их вышутить, высмѣять, опровергнуть. Я не говорю о тѣх рѣдких случаях, когда становилось ясно, что мы имѣем дѣло с сознательным лжесвидѣтелем, когда Плевако мог это утверждать прямо, не намекая; он тогда и дѣлал это открыто, не полунамеками, не экивоками. Но когда этого он не мог, то вся манера его показывала, что он им вѣрит всецѣло, хочет знать всю правду, какова бы она ни была. Вообще при судебном слѣдствіи он не был многорѣчив; задавал немного вопросов. Но он никогда не заботился о том, чтобы получить только тот отвѣт, котораго ждал, который вошел в план защиты; сюрпризов, которые дает слишком упорный допрос, он никогда не боялся. "Почему вы боитесь правды? — отвѣтил он мнѣ раз, когда я совѣтовал ему поскорѣе отпустить свидѣтеля, чтобы он не испортил произведеннаго впечатлѣнія.—Вам непремѣнно хочется, чтобы она была там, гдѣ вы ее видите, а вы берите ее, гдѣ она есть". И это довѣрчивое, полное вниманія, полное уваженія отношеніе Плевако ко всякому свидѣтельскому показанію, как бы ни казалось оно враждебно его интересам, подкупало не только судей, но и самих свидѣтелей; даже тѣ, показанія которых он потом безпощадно разбивал в своей рѣчи, сохраняли к нему не досаду, не непріязнь, а благодарное чувство.

Нужно ли говорить, что еще в большей степени это сказывалось в его отношеніи к обвинителям? Плевако был совершенным джентльменом в пріемах судебнаго спора; шел навстрѣчу всякому желанію, не старался ни подловить, ни использовать малѣйшаго промаха; никогда не возражал там, гдѣ имѣл право не возражать. Это невольно вынуждало на подобное же и к себѣ отношеніе. Тѣм большее впечат-

лѣніе производили тѣ рѣдкіе случаи, когда, выведенный из себя явной несправедливостью, он обрушивался на прокурора. Таков, напр., финал рѣчи в защиту кн. Оболенскаго, направленный им на знаменитаго обвинителя А. А. Іогансона: "Ввѣряя меч на защиту закона своему "оку", — говорит Плевако, — государство считало, что хранитель сам соблюдет тѣ правила рыцарской морали, которыя требуют условій равноправія в борьбѣ и битвѣ на равном оружіи. Суд — не война. Там, озабоченная сокрушеніем вражьей дерзости, величіем и славой отечества, государственная власть возводит в подвиг всѣ мѣры, от мин и подкопов до засад и вылазок, которыми разумный военачальник сокрушает непріятеля и охраняет жизнь ввѣренных ему защитников отечества. Но в судебном бою другія условія: подсудимый — сын своей страны и, может быть, наш несчастный, может быть, еще гонимый брат. Закон столь же думает о нем, сколь и о необходимости кары дѣйствительному злодѣю. Отсюда его забота о дарованіи подсудимому всѣх средств оправданія, отсюда его милосердіе, растворяющее строгость кары. Процесс принимает вид не истребленія, а поединка между охраной закона и охраной личной чести. Допускаемыя в бою мины и засады, вылазки и диверсіи здѣсь не у мѣста".

В полной гармоніи со всѣм вышесказанным было и отношеніе к подзащитному; трудно оцѣнить в достаточной мѣрѣ, как подкупала в Плевако эта ровность, одинаковость в отношеніи к людям. Когда защитник хвалит достоинства своего подзащитнаго, предлагает вѣрить его объясненіям, превозносит их искренность и в то же время относится с негодованіем к прокурору, с подозрительностью к свидѣтелям, с недовѣріем к судьям, когда по всему его поведенію ясно, что из всѣх находящихся в залѣ — кромѣ себя самого — он считает достойным уваженія только одного подсудимаго — такое отношеніе всегда подозрительно; им нельзя никого заразить. Иное было с Плевако. Тот же проникнутый уваженіем к человѣку взгляд, с которым он смотрѣл на других, на тѣх, с кѣм спорил, кто вышел ему возражать, тот же взгляд с тѣм же сочувствіем и довѣріем он устремлял и на того, с кѣм случилась бѣда, на подсудимаго. И для этого ему не нужно было никакого насилія над собой; так он смотрѣл на всѣх, иначе смотрѣть не умѣл; всякій участник процесса чувствовал, что не поставленная перед адвокатом задача опредѣлила его слова или мысли. Он был только самим собой и то, что он говорил про подсудимаго, было лишь естественным отраженіем его общаго взгляда.

А этот взгляд был таков, что прощеніе виноватаго казалось не милосердіем, а самым простым и радостным дѣлом. К согрѣшившему и кающемуся человѣку Плевако не мог не чувствовать искренней жалости. Он знал, по себѣ знал силу страстей, их непреодолимую власть над слабостью самой благонамѣренной воли; помню, как в одном процессѣ, при закрытых дверях, он с убѣжденіем напоминал

присяжным, что и царь Давид не устоял перед соблазнами Варсавіи. Как человѣк глубоко, всѣм своим складом, религіозный, он вѣрил, что и несчастье и преступленіе — попущеніе свыше, что они посланы Тѣм Руководителем нашей судьбы, без воли Котораго с головы не падает волоса; вѣрил, что никогда не поздно покаяться, что преступленіе — часто спасительный перелом нашей жизни, залог возрожденія; что величайшіе дѣятели добра иногда выходили из рядов поборников зла; что, — как любил говорить он, — Савлы часто становятся Павлами. Он смотрѣл на жизнь и людей с высоты такого идеала, перед которым всѣ одинаково грѣшны, одинаково жалки, гдѣ бросать камень, пожалуй, и некому, гдѣ чувство злобы поневолѣ смѣняется участіем и состраданіем. Согрѣшившій, но покаявшійся человѣк, обезвреженный, в мощных руках государства, казался ему уже искупленіем того зла, котооре он совершил. Он не пеерносил только тѣх, кто не каялся, не признавался , кто надѣялся ловкостью или связями обмануть правосудіе, тѣх, чье оправданіе было бы вторичным торжеством преступленія. В этих случаях добродушіе и милосердіе его пропадали, он выходил гражданским истцом и гнѣвно срывал с виноватых лицемѣрныя маски, — как в дѣлѣ игуменіи Митрофаніи, Булах.

Пощада виновному, милосердіе, жалость, — все это не только почтенныя, но и понятныя чувства; но против них разум выдвигает ряд аргументов, столь же неотразимых умом: интерес государственнаго порядка, общественной безопасности, уваженіе к закону и праву. Но Плевако не нужно было, как другим, в угоду хорошему чувству, на мгновеніе заглушать голос разума. Его христіанское міросозерцаніе устраняло трагизм такого конфликта. Личность, душа человѣка была для него в центрѣ всего. Принести ее в жертву нельзя ничему, ни во имя чего. О, он не затруднился бы отвѣтить на тот вопрос о дозволенной жертвѣ с цѣлью "осчастливить людей", дать им "мир и покой", которым Иван Карамазов пытал Алексѣя.

Жизнь одного человѣка, — говорит он в дѣлѣ Кострубо-Карацкаго, — дороже судьбы всяких реформ; и то была не фраза, не риторическій оборот, это был настоящій Плевако. Сам государственный порядок переставал быть цѣнностью, благом, когда он калѣчил человѣческую душу, права нашей природы. Он защищал одни фабричные безпорядки в Орлѣ. Причина их была слѣдующая. Стражник по неосторожности убил мальчика на заводѣ; его труп был отнесен в казармы и волновал населеніе. Чтобы прекратить возбужденіе, полиція пришла взять труп у родителей. Возник таким образом конфликт между чувством матери и интересами государства. "И вы думаете, — сказал Палатѣ Плевако, — что таких предписаній слушают? Два дня не простоит государство, гдѣ такія требованія исполнялись бы!". Недаром Плевако много занимался церковной исторіей, наполненной смѣнами и паденіями царств. Условную цѣн-

ность государственнаго благополучія он не мог ставить выше безусловной цѣнности человѣческой личности; никакое государственное благо не могло сравниться с долгом спасти погибающаго, с счастьем прощенія. Пощада преступнику для него была не сентиментальностью слабонервнаго человѣка, не жестокой чувствительностью, по мѣткому выраженію Кони; это было сущностью того міровоззрѣнія, которое покоилось на всем складѣ его мышленія, опредѣляло и его интересы и его отношеніе к людям; было не пріемом ad hoc, не софистическим ухищреніем; эта точка зрѣнія родилась далеко от судебной борьбы, на тѣх высотах религіознаго пониманія міра, к которым всѣм своим существом тяготѣл и которым жил Плевако.

И это больше, чѣм могучій дар его слова, давало силу ему. Если строить защиту на безполезности наказанія, на христіанском прощеніи, аргументировать этими доводами, ставя точки на i, — это отклика на судѣ не найдет; это покажется безшабашностью адвоката, который не останавливается ни перед чѣм для пользы кліента. И такая рѣчь была бы без затрудненія остановлена предсѣдателем. Плевако этого и не говорил; его взгляд был не столько связной доктриной, сколько непосредственным чувством; по инстинкту, по чувству он был анархистом, хотя умом признавал и государство, и необходимость суда, и только в каждом данном случаѣ отстаивал его право на милосердіе, его право слушаться голоса совѣсти. И к этой совѣсти он обращался не с рѣчью, не доводами, а всѣм своим поведеніем, своим отношеніем к врагам и союзникам. Слушатели поражались не отдѣльными словами, не аргументами; они наталкивались на цѣлое пониманіе и, что самое главное, воочію видѣли его живого носителя. Он мог многаго не говорить; судьи имѣли примѣр нагляднаго обученія; из всѣх мелочей его поведенія они узнавали и усваивали его точку зрѣнія, проникались его настроеніем. Они невольно сами приходили туда, к первоисточнику, откуда вытекало то міровоззрѣніе, которое они созерцали. Он с мѣста отрывал их от привычных житейских пріемов мышленія, поднимал на ту высоту, с которой сам смотрѣл на людей, гдѣ милосердіе становится не государственной слабостью, не равнодушіем ко злу, а дорогой и радостной потребностью человѣческой совѣсти. Его рѣчь производила успокоительное и отрадное впечатлѣніе; она уносила туда, гдѣ можно было жалѣть подсудимаго, не ссорясь с правосудіем, гдѣ роковой конфликт между государственным долгом и законом любви и прощенія переставал безпокоить, а обычный взгляд на необходимость возмездія начинал казаться чѣм-то мелким и жалким.

Во всѣх пріемах защиты Плевако обращался к лучшим человѣческим чувствам; но этого мало: он на время дѣлал самих слушателей лучше, чѣм они были, заставлял их переживать минуты того высокаго настроенія, которое мы испытываем только изрѣдка, в тѣ незабываемые моменты душевных подъемов, в которые каждый из нас

познает то дорогое и лучшее, чѣм могла бы и должна бы быть жизнь человѣка. Плевако умѣл открывать в человѣкѣ то, что в нем было закрыто от него самого; его слушатели вдруг освобождались от будничных взглядов, постигали, что счастье и благо не там, гдѣ они его видѣли, что, по слову Евангелія, нѣт пользы тому, кто весь мір пріобрѣтет, а душу погубит; в них ослабѣвало желаніе мести, злоба на виноватаго, даже тревога за порядок и безопасность; они начинали испытывать ту радость собственнаго просвѣтленія, которое дают человѣку минуты душевных потрясеній, молитва, моральный экстаз. Обычная жизнь с ея суетой заглушает в нас и эти чувства и эту способность; Плевако властно воскрешал ее в самых заскорузлых сердцах; этого ему не забывали. И когда его слушателей в этот момент спрашивали, нужно ли казнить и наказывать, они радостно от всей души отвѣчали: не нужно. И то чувство, с которым его покидали судьи, им убѣжденные, было не только восхищеніе перед талантом, а радостная и умиленная к нему благодарность за счастье, ими испытанное.

Это умѣнье создало не только чарующую, неотразимую силу оратора, его доступность простой народной душѣ, с которой у него было так много общаго; оно создало его своеобразіе. Можно многому научиться, и логикѣ, и риторикѣ, и настоящему краснорѣчію. Но нельзя научиться такому пониманію жизни, такому отношенію к людям; чтобы быть таким оратором, каким был Плевако, надо было быть таким, как он, человѣком, не по таланту, не по дару слова — все это второстепенное, — а по его духовному облику, любви к человѣку, неспособности к святой и даже простительной ненависти, по тому умѣнью смотрѣть на вещи глазами не от міра сего, которые дѣлали его таким непохожим на прочих.

Он долго останется какой-то загадкой, чѣм-то единственным, чуждым нам по душевному складу, но и безконечно дорогим, волшебником, умѣвшим навѣвать на нас настроеніе, которое жизнь в нас задавила, ключ к которому мы потеряли, но которым мы с радостным и благодарным изумленіем вдруг на время от него заражались.

На этом я кончу мое сообщеніе; знаю, что оно далеко не исчерпало вопроса, не исчерпало даже того, что я сам мог о нем разсказать. Но я не задавался цѣлью дать что-либо цѣльное. И притом личность Плевако так сложна, что одолѣть ее одному не под силу. Но пока живы воспоминанія, не надо дать им остыть. В концѣ концов, быть может, только они помогут разгадать ту загадку, которую являл собою Плевако. Жизнь его сопровождалась внѣшним успѣхом. Из полунищаго юноши, прибывшаго в Москву из Оренбургской губерніи с неграмотной матерью, он сумѣл стать знаменитостью, первым адвокатом Россіи, добиться и дворянства, и генеральскаго чина. И тѣм не менѣе этот внѣшній успѣх все-таки не уничтожил созна-

нія, что он дал не все, что мог дать; что его жизнь — эмблема нашей дѣйствительности, которая одинаково показывает, и как могуче может быть дарованіе, и как оно может не найти примѣненія. Несмотря на всѣ тріумфы свои, Плевако остался показателем скорѣе возможности, чѣм осуществленія. Он стоил все-таки дороже, чѣм его оцѣнила русская жизнь. Какія свойства его или современнаго общества были причиной тому, я судить не хочу; это могло бы быть темой другого доклада. Я отмѣчаю только, что это так было. Его фигура была так своеобразна, необычна, что, несмотря на все обиліе друзей и знакомых, он жил одиноким и умер одним. И какіе бы круги и теченія послѣ его смерти ни предъявляли к нему своих притязаній, ни одному из них он не принадлежал; всякое клеймо испортит обаяніе его оригинальной фигуры. Она жива еще в памяти людей, его знавших; но время и на нее наведет свой шаблон. Видѣть в Плевако типичнаго адвоката или политическаго дѣятеля — как это уже писали в его некрологах — значит не понимать, что такое он был. И если о нем сохранится только подобная память, то это будет равносильно забвенію. И мнѣ хотѣлось пока закрѣпить нѣсколько штрихов или черточек, которые скорѣе всего унесены будут временем.

Перепечатано из журнала "Русская Мысль" за 1909 год.

СТОЛЫПИН И ЗАПАДНОЕ ЗЕМСТВО

Рѣчь в Государственной Думѣ 27 апрѣля 1911 г.

Осенью 1909 года П. А. Столыпин внес в Государственную Думу законопроект о введеніи земских учрежденій в 6-ти западных губерніях. Проект был основан на куріальной системѣ, искусственно обезпечивавшей преобладаніе в земствѣ русскаго элемента. Проект вызвал большое сопротивленіе; но был принят небольшим большинством (168 против 141) голосов, с нѣкоторыми измѣненіями. Худшая судьба постигла этот законопроект в Государственном Совѣтѣ. Правые члены не хотѣли вовсе расширенія земств, лѣвые противились "куріальной" системѣ. В результатѣ, законопроект 7 мая 1910 года был отвергнут большинством голосов. Возник, таким образом, как бы конфликт Государственнаго Совѣта с Думой. Но против Государственнаго Совѣта за Думу рѣшительно стал П. А. Столыпин. При такой комбинаціи сил уладить конфликт было возможно на *законном* основаніи. Дума могла снова принять закон в порядкѣ своей инициативы. А ст. 112 Основных Законов позволяла по Высочайшему повелѣнію внести принятый Думой законопроект на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта в теченіе *той же* сессіи. Такое Высочайшее повелѣніе было бы ясным выраженіем воли Государя, которое заставило бы многих членов Государственнаго Совѣта пересмотрѣть свое рѣшеніе. Но Столыпин чувствовал себя лично задѣтым отверженіем закона, и законный путь счел слишком долгим. Он подал в отставку; а когда Государь его отставку не принял, побудил Государя согласиться на необычныя и незаконныя мѣры. Два правых члена Государственнаго Совѣта, ведших кампанію против закона, П. Н. Дурново и В. Ф. Трепов, получили повелѣніе выѣхать за-границу. Дума и Государственный Совѣт были Высочайшим Указом распущены на три дня; и за эти дни закон о земствах, в редакціи, одобренной Думою, был проведен по 87-ой статьѣ. Столыпин разсчитывал привлечь на свою сторону Думу тѣм, что принял *ея* редакцію. Он думал, что Дума останется довольна такой побѣдой над Государственным Совѣтом, который так часто отклонял принятые Думой законы. К своему удивленію, он ошибся в расчетѣ на это. Дума увидѣла в его поступкѣ обход конституціи, опасный прецедент, который может быть обращен и против

Думы. Предсѣдатель Думы, А. И. Гучков, в видѣ протеста, сложил с себя званіе предсѣдателя.

Были предъявлены запросы и в Государственном Совѣтѣ и в Государственной Думѣ. Столыпин в них защищался, но безуспѣшно, Дума 27 апрѣля 1911 года признала его объясненія неудовлетворительными. Этот эпизод с западным земством был началом конца карьеры Столыпина. Государь не простил ему этого ложного шага. Его политическое положеніе было скомпрометировано, что он сам хорошо чувствовал и понимал. Только его трагическая смерть, в августѣ 1911 года, спасла его от отставки.

Рѣчь В. Маклакова, по стенограммѣ Государственной Думы (третій созыв, 4-ая сессія, засѣданіе 101).

Маклаков (г. Москва). Предсѣдатель совѣта министров, господа, начал свою рѣчь с нѣкоторых формальных отводов, которые должны показать, что предъявленіе самого запроса было неправильно; очевидно, правительство само не придает большого значенія этим отводам, ибо, несмотря на них, все-таки на запрос отвѣчает. Но так как мы знаем, какіе выводы иногда правительство дѣлает из молчанія, так как мы знаем, как оно в другой палатѣ, гдѣ его не могли опровергнуть, использовало взятіе назад нашего запроса в Думѣ по аналогичному случаю, то я не могу не отвѣтить нѣсколькими словами и на эти отводы, и дѣлаю это тѣм охотнѣе, что они очень для правительства характерны. Весь конфликт наш с правительством возник на почвѣ неуваженія правительства к закону, и чѣм же другим, как не тѣм же неуваженіем, звучит и первый отвод, здѣсь предъявленный, о том, что по законодательным дѣлам мы, Государственная Дума, не можем предъявлять запросов, что единственное право, нам предоставленное, — отвергнуть закон, когда он будет внесен? Вы знаете, господа, что ни малѣйшей опоры на это ни в одной статьѣ ни Основных Законов, ни Положенія о Думѣ не содержится. Этот довод можно разсматривать только, как совѣт избрать путь болѣе цѣлесообразный и, безспорно, болѣе дѣйствительный. Мы хорошо понимаем, что что бы мы ни приняли нынче, будет менѣе дѣйствительно сравнительно с тѣм, что испытает правительство, если мы его закон отвергнем. Но, господа, я полагаю, что правительство должно бы воздержаться от совѣтов тогда, когда у него этих совѣтов не просят, и мы в правѣ итти тѣм путем, который нам болѣе по сердцу. Но самый довод, здѣсь приведенный, самый аргумент, которым он здѣсь подкрѣпляется, т. е. ученіе о том, что с того момента, когда Сенат закон опубликовал, всѣ споры кончаются, что опубликованіе Сенатом закона есть признаніе правильности дѣйствій Совѣта Министров, этот довод один из тѣх, на который не

отвѣтить нельзя. И прежде всего не я этот вопрос поднял. Но если предсѣдателю Совѣта Министров угодно было заговорить о контролирующей роли Сената, то да позволит он сказать ему, что, прежде чѣм ссылаться на это, ему надлежало объяснить с этой трибуны роль Сената в опубликованіи акта 3 іюня. *(Продолжительныя рукоплесканія слѣва; звонок предсѣдателя).* Я говорю это совсѣм не за тѣм, чтобы этот акт обсуждать; вы можете его считать актом необходимым, правильным и благодѣтельным, но никто не оспаривает, что этот акт был формально неправильным; нельзя спорить против этого потому, что это признано в самом манифестѣ, и так как только вопрос о формальной правильности стоит под контролем Сената, то как бы Сенат сочувственно ни относился к самому акту, именно он и не имѣл права, подчиняясь закону, его опубликовать. Нам на это скажут, — я этот довод признаю, — нам на это скажут, что Сенат не счел себя в правѣ отказать в опубликованіи акта, который имѣл Высочайшее утвержденіе, что этот акт, как исходящій от Государя, с точки зрѣнія Сената, провѣркѣ не подлежал. Я на этой точкѣ зрѣнія с Сенатом спорить не буду. Но если Сенат так на это глядит, если Сенат воздерживается от формальной провѣрки акта, ибо он удостоился Высочайшаго утвержденія, то какой же склад мышленія нужно имѣть, чтобы приходить пред Государственной Думой и утверждать, что опубликованіе акта 14 марта есть признаніе Сенатом формальной его правильности? Вѣдь акт 14 марта, как и акт 3 іюня, оба утверждены Государем, и если Сенат не провѣрял формальной правильности одного, он не мог, не противорѣча себѣ, провѣрять и другого. Вы можете, как угодно, глядѣть на задачи Сената, но ссылаться на него и утверждать, что он снял отвѣтственность с вас, значит, вводить Государственную Думу в совершенно ложное представленіе о том, в чем состоят обязанности Сената и в чем права Государственной Думы. Да, господа, приписывать Сенату подобнаго рода взгляд и пріемы не значит Сенат уважать. А главное, замѣтьте, другой довод, на который я сугубо обращу ваше вниманіе: вѣдь акт 14 марта в отличіе от акта 3 іюня, формально правилен; во всяком случаѣ, всѣ тѣ неправильности, которыя в нем заключаются, болѣе спорны; то, что в этом актѣ было неправильнаго, назакономѣрнаго и, я скажу рѣзче, преступнаго, политически преступнаго, лежит не в формальном нарушеніи закона, а в извращеніи его смысла, в той неправдѣ доклада Совѣта Министров, которую, говоря словами самого предсѣдателя Совѣта Министров в Совѣтѣ, он утаил от Государя. Именно эта область лежала внѣ провѣрки Сената; в нее Сенат входить не мог и допустить мысль, что он мог на этом основаніи отказать в опубликованіи формально правильнаго акта, значит приписывать Сенату такія замашки, такіе пріемы, которых мы ему приписывать не должны. И потому всѣ эти доводы о Сенатѣ юридической цѣны не имѣют и характерны лишь как симптом того неуваженія к

закону, которое само по себѣ объясняет конфликт. Но, господа, есть другой формальный отвод, пожалуй еще болѣе характерный, это — отвод о том, что мы не можем спрашивать о дѣйствіях Совѣта Министров. Этот отвод характерен, прежде всего, по своей глубокой неискренности; он показывает, как обращается с законом наше правительство: оно прибѣгает к нему только тогда, когда закон этот выгоден. В первую сессію третьей Государственной Думы был внесен запрос предсѣдателю Совѣта Министров, внесен к нему, как к таковому, совсѣм не так, как пишет сочувствующая пресса: не как к начальнику финляндскаго генерал-губернатора, а как к предсѣдателю Совѣта Министров, с ссылкой на тѣ статьи Положенія Совѣта Министров, которыя говорят об объединеніи Кабинета. И вот, когда этот запрос был предъявлен, — запрос правительству угодный и, быть может, им инспирированный, — Правительство не говорило о том, что Совѣт Министров стоит выше контроля Государственной Думы. Предсѣдатель Совѣта Министров, не дожидаясь принятія запроса, вышел сюда и на запрос отвѣчал, и о незакономѣрности запроса вспоминает только теперь. Да, наконец, мы предъявили запрос и не к установленію, к Совѣту Министров. Мы знаем из Основных законов, что к юридическим лицам и учрежденіям мы запросов не предъявляем; мы предъявляем их к лицам физическим, к министрам, которые Совѣт составляют и которые не стоят внѣ контроля Государственной Думы. Мы предъявили запрос к предсѣдателю Совѣта Министров, ибо он докладывал Государю, он скрѣпил акт 14 марта, и ссылаться здѣсь на Совѣт Министров, по крайней мѣрѣ, не слѣдует. Но этот довод характерен с другой стороны; он указывает ту позицію, тѣ вожделѣнія, которыя мерещатся предсѣдателю Совѣта Министров. Во всѣх монархіях, как неограниченных, так и конституціонных, есть нѣчто, что стоит выше критики, выше спора; это нѣчто — только воля Монарха; и потому, во всѣх государствах представители правительства выходят сюда, чтобы первыми энергично протестовать против всякаго вмѣшательства Высочайшаго Имени и Высочайшей воли в спор законодательных учрежденій *(рукоплесканія в центрѣ и слѣва)*, и взять на себя отвѣтственность за все, что было сдѣлано. Наши защитники Монарха поступают наоборот; и в Государственном Совѣтѣ, и здѣсь нынче, к великому сожалѣнію, и, я скажу, к великому стыду, я услышал нѣсколько ссылок на волю Государя Императора. Но если, господа, имя Государя, Его воля, Его взгляды вмѣшаны в спор, то зато Совѣт Министров поставлен выше контроля и критики. *(Голоса слѣва:* правильно; *звонок предсѣдателя)*. И что же нам говорят в подтвержденіе этого? Дошли до того, что сказали, в видѣ довода, что Государю Императору иногда благоугодно предсѣдательствовать в Совѣтѣ Министров. Мы этот довод слышали раньше, но я думал, что он был сказан одним из слишком усердных друзей предсѣдателя Совѣта

Министров, и что он сам его повторить не рѣшится: можно подумать, в самом дѣлѣ, что Государь Императоръ, когда ему благоугодно предсѣдательствовать в Совѣтѣ Министров, тѣм самым становится его членом, можно подумать, что мнѣніе Совѣта Министров есть мнѣніе Государя. Предсѣдатель Совѣта Министров забыл, что отношеніе Государя к Совѣту одно: он утверждает их мнѣніе, но мнѣніе их остается мнѣніем Совѣта Министров, а не мнѣніем Государя. Он забыл, предсѣдатель Совѣта Министров, что если Государю угодно занять кресло предсѣдателя Совѣта Министров, то тѣм самым они на один уровень с ним не ставятся *(слѣва рукоплесканія и голоса:* вѣрно; *звонок предсѣдателя),* и утверждать, что рѣшенія Совѣта Министров стоят внѣ критики, внѣ контроля, внѣ провѣрки законодательных учрежденій, — это обнаруживать то политическое высокомѣріе, ту **mania grandiosa,** которая лучше всяких ученых ссылок объясняет нам причину того конфликта, который мы сегодня здѣсь обсуждаем. *(Рукоплесканія слѣва; звонок предсѣдателя).* Если рѣшеніе Совѣта Министров выше контроля государственных учрежденій, то мудрено ли, что и воля Совѣта Министров выше воли законодательных учрежденій, мудрено ли, что сам закон может быть замѣнен постановленіем Совѣта Министров? Вот то антигосударственное, то гибельное представленіе, которое лежит в основѣ и дѣла, и объясненій, нами сегодня прослушанных. И вы понимаете, что послѣ того, как вопрос этот так разработан, я не пойду в полемику ученых и в область примѣров, чтобы рѣшить вопрос, была или не была ст. 87 формально нарушена. Для меня этот вопрос в значительной степени безразличен; я думаю даже, что формально эта статья нарушена не была, и что потому так охотно к Сенату и апеллируют, который, конечно, не имѣл и права отказывать в опубликованіи этого закона. Но вѣдь кромѣ прямого нарушенія закона есть нѣчто другое; необходимо, как говорил Бисмарк, добросовѣстное и лойяльное его примѣненіе; и вот это понятіе, повидимому, незнакомо представителям нашего правительства. *(Голоса слѣва:* вѣрно). Предсѣдатель Совѣта Министров здѣсь говорил, что он закона не нарушил и не обошел; он с негодованіем говорил в Государственном Совѣтѣ, что правительство, себя уважающее, до обхода закона не унижается; но кто же иной, как не предсѣдатель Совѣта Министров обогатил наш язык тѣм эфемизмом, который перейдет в исторію: нажим на закон? Я не понимаю, почему этот образ, эта картина нажиманія на закон ему кажется болѣе приличной обхода закона? Но можно ли сомнѣваться, что нажим на закон здѣсь дѣйствительно произошел, что здѣсь было самое явное пользованіе законом **in fraudem legis,** что была фикція его примѣненія? Вѣдь, в самом дѣлѣ, ст. 87 существует затѣм, чтобы в момент отсутствія палат не оставить правительство беззащитным, не заставить его дожидаться их созыва; а у нас воспользовались ею затѣм, чтобы во время существо-

ванія палат провести закон, ими отвергнутый. Пусть формальный декорум здѣсь соблюден, ну, так что же? Есть закон, который освобождает от военной службы больных и увѣчных; а что же скажете вы про человѣка, который затѣм, чтобы отдѣлаться от военной службы, притворится больным или добровольно себя изувѣчит? *(Голоса слѣва:* вѣрно, вѣрно). Господа, его назовут, такого человѣка, не государственным мужем, обнаружившим знакомство с юридической литературой, не тонким юристом, а просто преступником; а между тѣм, вѣдь формальный декорум тоже был там соблюден. А какая разница между тѣм, что дѣлает он, и между тѣм, что сдѣлал предсѣдатель Совѣта Министров? Разница только одна: такой человѣк, изувѣчивающій себя для избавленія себя от военной службы, дѣлает это тайно; у нас же все было сдѣлано явно, вызывающе явно. Я думаю, что эту демонстрацію ставили в заслугу себѣ; вѣдь можно было обойтись без нея; недолго было дождаться лѣтних каникул, когда, по крайней мѣрѣ, перваго правонарушенія — искусственнаго роспуска — не было бы. У нас его не дождались, нас распустили на три дня, вызывающе распустили для того, чтобы этот Государственный Совѣт, который зазнался, этот Государственный Совѣт, который не оцѣнил политики правительства и который нужно было поставить на мѣсто, чтобы этот Государственный Совѣт понял, что его ожидает. Это была демонстрація, я не оспариваю, но это была гибельная демонстрація того, что воскрес тот старый порядок, когда воля министра была выше законов страны. И подумайте, какая наоборот была бы благодѣтельная демонстрація, если бы предсѣдатель Совѣта Министров, всю энергію и рѣшимость котораго мы знаем, если бы предсѣдатель Совѣта Министров покорно склонил голову! Не перед вотумом того Совѣта, которому он три недѣли тому назад говорил, что он его уважает, и о котором вы нынче от него слышали отзывы, которые мнѣ слышать было непріятно, а склонился бы перед законом, который ему повелѣвал подчиниться! И нам говорят: ваши права не нарушены, вы этот закон будете обсуждать и еще можете его отвергнуть. Господа, кого же здѣсь обманывают? Вѣдь, если бы это было так, если бы разсчитывали на то, что этот закон вами поддержится, если бы хотѣли итти на штурм против Государственнаго Совѣта в союзѣ с вотумом Государственной Думы, развѣ не ясно, что нужно было бы закон вносить сейчас же, чтобы мы нашим вотумом теперь подтвердили наше согласіе *(слѣва рукоплесканія и голоса:* браво) или чтобы мы могли отклонить от себя эту непріятную ссылку. Но вмѣсто этого поступают иначе: закон готов, но его не вносят, мы попрежнему занимаемся вермишелью, о которой говорил предсѣдатель Совѣта Министров, а закона не вносят. Ни для кого не тайна, что его внесут наканунѣ нашего роспуска; нас хотят поставить лицом к лицу с фактом, уже совершившимся, и тогда, когда земства будут дѣйствовать, тогда, когда жизнь закипит, тогда при-

дут говорить вам: вот учрежденія, которыя уже существуют, которыя нельзя отвергнуть, не совершая акта вандализма; и этот акт насилія над нами, во имя каких бы хороших цѣлей он ни производился, нельзя назвать честным соблюденіем конституціи. *(Рукоплесканія слѣва)*. Вѣдь этим актом воскрешено то, что мы считали отошедшим в вѣчность с изданіем Основных Законов; этим актом воскрешено всевластіе бюрократіи, всевластіе министерской воли. И вот, господа, когда мы видим это, то мы в правѣ спросить себя: вѣдь еще так недавно в Россіи была одна воля, которая стояла выше закона, пред которой закон склонялся, как знамена в строю перед Государем, это была воля наших неограниченных Самодержцев. Они с изданіем Основных Законов сами от этого отказались. (Пуришкевич, *с мѣста:* ничего подобнаго; *смѣх слѣва)*. Они поставили закон выше своей воли, они дали учрежденія, которым завѣщали блюсти за тѣм, чтобы закон не нарушался. Я спрошу вас: развѣ наши неограниченные Самодержцы отказались от этого самодержавія, чтобы передать его Совѣту Министров или его предсѣдателю? *(Шум справа; звонок предсѣдателя)*. Развѣ в самом дѣлѣ закон поставлен выше Монаршей воли за тѣм, чтобы на этот закон можно было нажимать? Достаточно того, что это было сдѣлано и что нам говорят, что поступлено правильно, и что никаких формальных возраженій сдѣлать нельзя, чтобы признать, что мы имѣем дѣло с таким чуждым нам и непонятным міросозерцаніем, с которым общаго языка у нас не найдется. Тут, дѣйствительно, столкнулись — я повторяю слова предсѣдателя Совѣта Министров — два государственных пониманія, два склада идей, которыя также нельзя примирить, которыя так же не могут понять друг друга, как готтентот не может понять европейской христіанской морали (*Голоса:* браво). Нам говорят, что этот поступок со стороны предсѣдателя Совѣта Министров ошибка, и его сторонники стараются объяснить его вліяніем того же вѣчнаго злого генія предсѣдателя Совѣта Министров. Но к несчастью это не так. Я вѣрю искренности того удивленія, которое испытал предсѣдатель Совѣта Министров, когда узнал про встрѣчу, которая ожидает примѣненіе ст. 87. Он этому вѣрить не хотѣл, ибо он остался тѣм же самым: в том, что он сейчас сдѣлал, как в фокусѣ отразилась вся его политика. Я думаю даже, что то волненіе, которое так охватило наш центр, больше всего вызвано тѣм, что центр увидал, куда его вели, в чем политика Столыпина, понял, что в том, что он сдѣлал, нѣт ничего новаго, что у добровольных слѣпых, наконец, открылись глаза. Что же произошло? Предсѣдатель Совѣта Министров провел закон, только что отвергнутый верхней палатой, подверг административной репрессіи ея членов и, нисколько не смущаясь, пришел в эту палату и счел этот момент очень удачным и удобным для того, чтобы говорить в ней об уваженіи к членам палаты и о своей рѣшимости охранять права законодательных учреж-

деній от всяких на них посягательств. Я не думаю, чтобы это была первоапрѣльская шутка или оскорбленіе, которое он сознательно им наносил. Тут сказалось то пониманіе, которое люди извѣстнаго государственнаго воспитанія имѣют о том, что такое уваженіе к закону: они не понимают, что уважать закон означает не пользоваться им тогда, когда это выгодно и пріятно, а подчиняться ему тогда, когда этого и не хочется. У нас глядят на это иначе. У нас говорят об уваженіи к правам законодательных учрежденій, но только постольку, поскольку они вотируют так, как этого хочется, и уважают их за то, что они так вотируют. Но когда палата разошлась с предсѣдателем Совѣта Министров, этот вотум называют обструкціей, ея искреннее мнѣніе называют противодѣйствіем видам правительства, и, подобно губернаторам, усмиряющим безпорядки, отыскивают зачинщиков и подвергают их административным взысканіям. *(Слѣва рукоплесканія и голоса:* браво). Правда, господа, их отправили за границу, а не посадили в участок *(смѣх слѣва),* но вѣдь этот способ воздѣйствія уже давно примѣняет департамент полиціи. У нас, господа, говорят и о другом, об уваженіи к представительному строю, но только поскольку он не мѣшает всемогуществу предсѣдателя Совѣта Министров и потому, что он причина его всемогущества. И вы, господа, конституціонный центр, вы, которые столько терпѣли, потому что вѣрили, что предсѣдатель Совѣта Министров спасает вам этот строй, вы можете видѣть теперь, как вас вознаградили за это терпѣніе. С того момента, когда представительный строй и права палат, в нем существующія, стали поперек дороги волевым импульсам министра, с того момента он разбивает этот строй, не стѣсняясь тѣм уваженіем, о котором он говорил. И это во всем. У нас не раз говорили об уваженіи к Сенату. Но Сенат уважают тогда, когда он разъясняет выборный закон, а когда Сенат поступил не так, как хотѣл губернатор и министр внутренних дѣл в Пермской губерніи в извѣстном дѣлѣ гр. Строганова о надѣленіи его крестьян землей, развѣ не тот же министр внутренних дѣл подстрекал губернатора к протесту против рѣшенія Сената и развѣ не тот же министр юстиціи вносил предложеніе о том, чтобы Сенат согласился с протестом. *(Слѣва рукоплесканія и голоса:* браво). Вот вам образчик того, что такое у нас уваженіе к закону и праву. *(Голос слѣва:* позор). У нас, господа, уважают политическія партіи, но только пока онѣ являются послушным орудіем г. предсѣдателя Совѣта Министров... *(слѣва смѣх, рукоплесканія и голоса:* браво), а когда вы выйдете из повиновенія, вы увидите цѣну этому уваженію. Не думайте, господа, чтобы в этом было что-нибудь новое. Это старая психологія нашего правящаго класса; таковы всѣ наши губернаторы, всѣ они Столыпины в миніатюрѣ *(смѣх слѣва),* всѣ они поступают так же в предѣлах власти, им предоставленной. У нас так поступают с правами законодательных учрежденій, а губернаторы тѣ же пріемы при-

мѣняютт и к земским собраніям. У нас высылают за несоотвѣтствіе видам правительства членов Государственнаго Совѣта, а там, по письму губернатора, переводят непокорнаго прокурора — это одна и та же психологія, одно и то же воспитаніе. Вот почему г. предсѣдатель Совѣта Министров не мог понять, что он дѣлает что-то новое. И самое любопытное то, что он до такой степени этого не понимал, он так вырос в этой психологіи, что не мог понять, что вы, Государственная Дума, станете на иную позицію. Он говорил о том, — об этом писала и вся пресса, — он говорил: чѣм же недовольна Дума, вѣдь проведен тот самый закон, который она вотировала? Мы знаем, господа, что тот оратор из центра, Шидловскій, с которым все время полемизировал предсѣдатель Совѣта Министров, называл это вызовом, а я назову это демагогіей. Но предсѣдатель Совѣта Министров не понял одного, что для Государственной Думы вопрос о том: быть или не быть земству в шести губерніях запада, есть мелочь, сравнительно с вопросом о том — быть ли Россіи правовым государством или столыпинской вотчиной? *(Слѣва рукоплесканія и голоса* браво). Мы бывали не раз огорчены враждебными нам вотумами Государственнго Совѣта, но мы ими только огорчались потому, что это право Совѣта. И мы возмущаемся, когда тѣ же наши законы проводятся незаконно предсѣдателем Совѣта Министров. Предсѣдатель Совѣта Министров в непониманіи Государственной Думы дошел до того, что — я не знаю, по какому праву, по какому основанію — высказал здѣсь обидное предположеніе, что сама Дума будет участвовать в будущем нарушеніи ст. 87 и что сама Дума непремѣнно отвергнет закон о старообрядцах в том видѣ, как его принял Государственный Совѣт, наканунѣ роспуска, чтобы побудить этим предсѣдателя Совѣта Министров провести его в незаконном порядкѣ. Господа, здѣсь все характерно: характерно это обѣщаніе, характерно утвержденіе, что министр думает, что к этому Дума его сама подстрекает; характерно то, что этому рукоплескал один сегмент Думы, и кто же? — тѣ, которые отвергали закон о старообрядцах в третьем году. *(Продолжительныя рукоплесканія слѣва и голоса:* браво). Предсѣдатель Совѣта Министров думал, что мы, чье мнѣніе здѣсь насильственно торжествует над мнѣніем палаты, нам часто враждебной, что мы будем в восторгѣ от этой побѣды, мы пожелаем воспользоваться этим случайным фавором правительства, пожелаем покорить под свои ноги Государственный Совѣт и не поймем, что если мы пойдем на это, то мы навсегда лишимся права возражать, когда этот пріем будет примѣнен против нас: как будто, если сейчас мы сломим Государственный Совѣт в союзѣ с министром, потому что он нам благоволит в этом вопросѣ, как будто мы сами не дождемся того, что на будущій год, в союзѣ с другим Государственным Совѣтом, тот же пріем будет примѣнен против нас и мы должны будем тогда позорно и постыдно молчать. Предсѣдатель Совѣта Ми-

нистров этого не понял; но что же, господа, есть вещи, которыя не понимаются: я вспоминаю одного помѣщика, который увидал все свое стадо с пастухом в овсѣ; на негодованіе помѣщика пастух с недоумѣніем отвѣчал: это овес не ваш, а сосѣдскій. Господа, нельзя сердиться на такого пастуха, но избави нас Бог от таких пастухов. *(Рукоплесканія слѣва)*. Всякій государственный человѣк может имѣть свои взгляды, и может эти взгляды отстаивать; это безспорно. Но всякій государственный человѣк должен умѣть уступать, подчиняясь закону. Бисмарк говорил, и не раз, что вся конституціонная жизнь есть компромисс. Бисмарк не меньше нашего предсѣдателя Совѣта Министров имѣл право считать себя дальновиднѣе представительных учрежденій *(смѣх слѣва)* и имѣл право думать, что его взгляд и оцѣнка лучше и вѣрнѣе, чѣм оцѣнка палат, а сколько раз склонялся он перед враждебным вотумом рейхстага, сколько раз он получал эту "квитанцію в отказѣ", как говорил он в своих рѣчах, сколько раз он дожидался перемѣны общественнаго мнѣнія, вѣрил в то, что истина всегда возьмет верх, вѣрил, что часто пораженіе есть начало побѣды, как и побѣда есть само пораженіе. Но, господа, то, что мог сдѣлать Бисмарк, оказалось ниже достоинства нашего предсѣдателя Совѣта Министров. Он потерпѣл пораженіе в Государственном Совѣтѣ; это безспорно; но он не стал ждать, что Государственный Совѣт сам уступит под напором мнѣнія и страны, и нижней палаты, как вторая палата всегда и во всѣх странах, в концѣ концов, уступает. Для него этот факт, это пораженіе было обстоятельством столь чрезвычайным, столь необыкновенным, столь непозволительным, что оно было приравнено к общественному бѣдствію. И вот закон, который был палатой отвергнут, проводится чрезвычайным порядком. Вѣдь согласитесь, что нельзя было придумать примѣра болѣе неудачнаго для того, чтобы сломить рѣшеніе Государственнаго Совѣта. В самом дѣлѣ, что такое этот закон, который здѣсь был проведен? Нам говорят, что с земством нельзя дожидаться, что шесть губерній не могли оставаться при старом порядкѣ. Но не забудьте, господа, что сам предсѣдатель Совѣта Министров вводил земство только в шести губерніях запада, а три губерніи остались при старом порядкѣ. Вѣдь если этот старый порядок был до такой степени невыносим с точки зрѣнія правового и національнаго чувства, что его терпѣть было нельзя и что нужно было сломить упрямую палату, то его не оставили бы в трех губерніях; между тѣм, его там оставили, и, слѣдовательно, такой экстренности, такой невозможности жить при нем не было. Но нам скажут, что новый закон был безспорен. С каких пор он стал так безспорен? Здѣсь ссылаются на то, что он вами был принят; но вѣдь мы, господа, знаем, как он был принят; знаем, что этот закон, в отличіе от многих, прошел в концѣ концов голосованіем через двери. Мы знаем что, когда он принимался, на эту трибуну выхо-

дили члены большинства, его принявшаго, и говорили о том, что они несогласны с этим законом, что они принимают его в надеждѣ, что он будет исправлен, что в таком видѣ он не останется. И когда при таком условном голосованіи этого закона собралось полтора десятка голосов в его пользу, можно ли считать его той безспорной истиной, чтобы ссылаться на мнѣніе нижней палаты, которое должно сокрушить и опытность, и знанія, и мнѣнія членов Государственнаго Совѣта? Но вы скажете, пожалуй, что зато это было убѣжденіе, твердое убѣжденіе предсѣдателя Совѣта Министров. И это невѣрно. Четыре года тому назад этот закон был внесен совершенно в ином видѣ; четыре года тому назад курій не предлагалось; четыре года тому назад предсѣдатель Совѣта Министров на дѣло так не смотрѣл; его убѣжденіе — есть убѣжденіе вчерашняго дня; оно почтенно, как всякое убѣжденіе, но ради такого короткаго убѣжденія, имѣл ли он право ломать Основные Законы, оправдывая себя примѣром Запада? Что был этот закон? Не отверженіе бюджета или военнаго набора, при котором государственная жизнь останавливается; не было даже отверженія такого закона, за который неоднократно, с большим упорством и ясностью, высказывались нижняя палата и вся страна на выборах; это было неудачей министра, неудачей в проведеніи закона, который был очень спорен и в нижней палатѣ. Однако, этого для него было достаточно, чтобы все сломать, через все перешагнуть и думать, что ваш вотум поддержит это насиліе. Господа, предсѣдатель Совѣта Министров сказал не без горечи, и он говорил это в Государственном Совѣтѣ, что ищут каких то личных, а не идейных объясненій его поступка; что не хотят видѣть, что он был только слугой своего идеала, что у него была вѣра, которую разбивали. Он говорил в Государственном Совѣтѣ, что в других странах в подобных случаях не ищут таких личных, таких мелочных объясненій. Я могу сказать предсѣдателю Совѣта Министров, что дѣло тут не в других странах; и кто другой, а не он, мог бы жаловаться на неблагодарность Россіи. Давно ли, господа, давно ли предсѣдатель Совѣта Министров был популярнѣйшим человѣком в Россіи? Давно ли сами его противники к его политикѣ относились с осужденіем, но и с уваженіем? И если через нѣсколько лѣт теперь, дѣйствительно, общественное мнѣніе говорит: не вѣрьте тому, что он здѣсь был только самоотверженным слугой своих идеалов, если оно ищет личных мотивов, то пусть предсѣдатель Совѣта Министров на себя и пеняет. Да, он говорит, что у него была вѣра, которую разбивали, были идеалы, которым он должен был служить, что он, как член правительства, не мог остановиться перед тѣм, что эти идеалы его не осуществятся. Я скажу, что это великое самомнѣніе и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов и выше законной воли страны. Я скажу, что разсуждая так, оправдывают то, что ведет нас к анархіи, то, что анархію и составляет. Если иногда

исторія прощает дерзость тѣх титанов, которым свыше дано вести за собой народы, тѣх, которые, как говорил Хомяков про Наполеона, являются помазанниками собственной силы, если исторія прощает их дерзкія попытки, опрокинув всѣ законы, вести страну за собою, то вѣдь, господа, тот, кто таких заслуг за собой не имѣет и за собой, по совѣсти, их не знает, должен быть скромнѣе: он должен понять, что часто наши идеалы должны дожидаться своего времени, что часто длительная, скучная, утомительная работа предшествует торжеству этого идеала; это никто не имѣет права сказать: у меня есть идеал и так как я не могу от него отступить, то я насильно провожу его в дѣйствіе. И вы, враги террористов, вы, господа, подумайте, что так и они разсуждают, поймите что это их психологія, та губительная психологія правового и государственнаго одичанія, которую нынче воскрешают тѣ, которые в этом родствѣ с нею сознаться не захотѣли бы. *(Рукоплесканія слѣва)*.

И, господа, не только так нельзя разсуждать; еще важнѣе, что Россія в этом им не повѣрит. Да, Россія не вѣрит этому потому, что не видит того идеала, которому самоотверженно служит предсѣдатель Совѣта Министров. Гдѣ он, этот идеал? В Государственном Совѣтѣ он говорил, что его идеал есть насажденіе правового порядка. Я и отвѣчу ему его же словами: люди, которые имѣют идеал, вѣрят в то, что дѣлают, и дѣлают то, во что вѣрят; если бы этот идеал был у предсѣдателя Совѣта Министров, мы не видѣли бы того позорнаго правленія под его главенством, на которое мы, не уставая, указываем всѣ эти четыре года; мы не видѣли бы того, что дѣлается у нас на мѣстах при его одобреніи. Не этот идеал, не вѣра в право его вдохновляла и не она его теперь и оправдывает. И нам говорят теперь, что другая идея явилась на смѣну — націонализм. А что такое націонализм предсѣдателя Совѣта Министров? От этого спора я в концѣ своей рѣчи, конечно, принужден уклониться, но я скажу, что тот, кто служит идеѣ, бывает послѣдователен. А мы знаем, что во имя этого націонализма, господа, в Польшѣ были запрещены, разрушены всѣ добровольныя соединенія на самой безобидной почвѣ, всѣ профессіональныя организаціи; и это называлось — политикой націонализма. И во имя того же націонализма там теперь организуют польское населеніе в шести западных губерніях в особыя куріи с государственным значеніем, создают принудительно польскую организацію, которая получает свой особый голос и в земствѣ. Если это націонализм, то первое — что нибудь другое. Эти двѣ политики примирить невозможно и общаго в них только то, что онѣ обѣ принадлежат предсѣдателю Совѣта Министров. Но потому то Россія и не вѣрит, чтобы в данном случаѣ предсѣдатель Совѣта Министров стал жертвой своей преданности идеѣ, а не жертвой слишком большой увѣренности в обязательности для всѣх своих взглядов. Но, господа, если мы не видим тѣх идей, которым служит правительство,

к несчастью, мы слишком видим тѣ мотивы, которые им руководят. Россія не забыла — нынѣ мы обо всем говорим и, быть может, никогда не придется объясняться с такой откровенностью — Россія не забыла, как два года тому назад, в достопамятное время министерскаго кризиса, первой отставки, как тогда Россія с сочувствіем и ожиданіем глядѣла: неужели, в самом дѣлѣ, для правительства его убѣжденія, его программа, которую оно защищало, окажутся дороже портфеля? Мы ждали этого и не дождались. Мы увидѣли другое: как предсѣдатель Совѣта Министров, оставшись у власти, стал разрушать то, что он дѣлал, утверждать обратное тому, что он говорил. И когда сейчас — раз здѣсь говорят о слухах, да позволено будет мнѣ указать и на это, — когда сейчас существует мнѣніе о том, что эта личная репрессія против двух членов Государственнаго Совѣта, которая не может не возмущать, как всякая личная репрессія, что эта личная репрессія есть сведеніе личных счетов не за земство, а за штаты, то развѣ не все было сдѣлано для того, чтобы Россія этому повѣрила? Есть еще один признак, который мы наблюдаем четыре года и по которому мы можем отличить тот образ честолюбиваго правителя, для котораго, выражаясь словами Перикла, "власть есть средство к дѣятельности", от тѣх других, для которых "власть есть повод к тщеславію". Мы знаем этих великих и сильных властолюбцев, мы знаем, что они окружают себя выдающимися людьми своего вѣка, окружают себя не родными, не послушными клевретами, не тѣми людьми, которые по своему ничтожеству созданы за тѣм, чтобы он среди них властвовал безпредѣльно. Господа, видим ли мы это? Видим ли мы призыв всѣх живых сил, всѣх крупнѣйших сил бюрократическаго міра в общей работѣ над обновленной Россіей? Мы видим другое. Господа, когда в нынѣшнем году возник вопрос о том, кого поставить на самый важный и отвѣтственный пост в Россіи, на пост, от котораго зависит судьба нашего юношества, — развѣ не видѣли мы, что туда был вызван человѣк, никому, и предсѣдателю Совѣта Министров в том числѣ, неизвѣстный, человѣк, не бывшій никогда в русской школѣ, человѣк, который и сам признавался, что он ею управлять не пробовал, и который, будучи, конечно, послушен тому, кто его создал, тѣм не менѣе, господа, мог имѣть смѣлость принять этот пост только потому, что в своем презрѣніи к Россіи он был равнодушен к тому злу, которое он мог ей сдѣлать? *(Слѣва рукоплесканія и голоса:* браво). Господа, мы смотрѣли на политику предсѣдателя Совѣта Министров и часто ее не понимали. Мы не понимали, почему в то время, когда успокоеніе было так нужно, так возможно, почему велась та политика, которая его устраняла? Почему в это время создавались вездѣ неудовольствія и пожар искусственно поджигался? Но развѣ это сейчас не получило своего печальнаго объясненія? Развѣ это неудовольствіе, которое было посѣяно, не сыграло своей

роли в достопамятные дни министерскаго кризиса? Развѣ мы тогда не слыхали одного общаго голоса: господа, смѣна представителя правительства теперь, когда всѣ недовольны, когда недовольны в школѣ, в Финляндіи, в Польшѣ и повсюду, смѣна представителя правительства в это время есть гибель. И мы поняли тогда смысл этой политики, быть может, и инстинктивной, мы поняли, что эта политика озлобленія бывает полезна и сослужила свою службу, но не Россіи, а только предсѣдателю Совѣта Министров. И вот, господа, когда Россія видит это, не претендуйте на нее, не удивляйтесь на нее, что при всем своем желаніи она не идет за вами в этом краснорѣчивом походѣ, возвѣщенном во имя идеи против Государственнаго Совѣта, она ищет для всего этого других мотивов, мотивов болѣе личных. И вот, как бы потому, что этих аргументов нехватает, что страну этими аргументами не побѣдишь, мы слышали здѣсь и другіе, сказанные раньше в Государственном Совѣтѣ, разсчитанные на успѣх в другом мѣстѣ. Предсѣдатель Совѣта Министров нам говорит, что он вышел как защитник монархіи против народоправства. Господа, я на это скажу словами французскаго писателя, что "Бог в своей премудрости предпочитает тѣх, кто Его отрицает, тѣм, кто Его компрометирует". *(Слѣва рукоплесканія и голоса:* браво). Господа, так как об этом говорилось здѣсь, то и я могу говорить: что сдѣлали здѣсь с этой идеей монархіи? О, я помню, как в прошлом году предсѣдатель Совѣта Министров смѣялся над монархической тревогой лѣвой части Государственной Думы. Я скажу, что я конституціоналист больше предсѣдателя Совѣта Министров, но монархист не меньше его. Я считаю безуміем создавать монархію там, гдѣ нѣт для нея корней, но точно таким же безуміем — отрицать ее там, гдѣ ея историческіе корни крѣпки. Но я скажу, господа: в какое положеніе стал защитник монархіи относительно этой идеи; развѣ, когда он теперь вмѣшал имя Государя в свой конфликт с Государственным Совѣтом, развѣ он придал этому вмѣшательству достойную форму? Верховная власть выступила здѣсь не в той исторической роли, которая совершает государственные перевороты во имя своих исторических прав, во имя нормы: «salus populi suprema lex». Нѣт, здѣсь было сдѣлано иное, здѣсь прибѣгли к юридической казуистикѣ; здѣсь создали фикцію, подобную тому, как прокалывают себѣ уши, чтобы освободиться от воинской повинности, или подобную тому злостному банкроту, который подписывает бронзовые векселя, чтобы меньше платить, и этот сомнительный по достоинству акт поднесли на утвержденіе Государя? Здѣсь говорили о том, что Государь одобрил новый закон; но вѣдь это закон, про который говорил сам предсѣдатель Совѣта Министров, что он непріемлем, что его надо исправить; он поднес на утвержденіе Государя закон, в котором он же сам, представитель короны, обязуется сдѣлать поправки. Мы по-

нимаем, зачѣм это сдѣлано: это простая демагогія; роль свою она сыграла и службу свою сослужила. Но если эта демагогія, это уловленіе думских голосов прилично предсѣдателю Совѣта Министров, то как же он не подумал о том, что этого рода акт он не должен был вносить на утвержденіе Государя? Россія видѣла, наконец, что происходило в эти дни министерскаго кризиса; Россія видѣла, какая цѣна, какія компенсаціи были поставлены за то, чтобы предсѣдатель Совѣта Министров соблаговолил остаться у власти; она видѣла, что он, который так безпощадно строг к другим за одно прошеніе об отставкѣ, что он из просьбы об отставкѣ извлек себѣ пользу; эту пользу я вам указал, она получила утвержденіе Государя, и я могу сказать предсѣдателю Совѣта Министров: в этот день, 14 марта, конечно, он одержал большую побѣду, но его такт должен был бы заставить его, одержав такую побѣду, не приходить говорить, что он защищает монархію. *(Голоса слѣва:* вѣрно). Господа, бывают побѣды, которыя безслѣдно не проходят, и эта — из них. Для государственных людей этого типа, которые в излишней вѣрѣ в свою непогрѣшимость, в излишнем презрѣніи к мнѣнію других ставят свою волю выше законов и права, для них русскій язык знает характерное и выразительное слово "временщик". И время у него было и это время прошло. И предсѣдатель Совѣта Министров еще может остаться у власти: его удержит у ней и боязнь той революціи, которую его же агенты творят (гр. Бобринскій 2, *с мѣста:* стыдно*; шум),* удержит и опасность создавать прецедент. Но, господа, это агонія; вы можете относиться к этой агоніи с разными чувствами, но я скажу словами самого предсѣдателя Совѣта Министров: "мести в политикѣ нѣт, но послѣдствія есть". Они наступили и их вам теперь не избѣгнуть. *(Слѣва рукоплесканія и голоса:* браво*; шиканье справа; голоса:* перерыв).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДѢЯТЕЛЬ

Рѣчь в собраніи Толстовскаго Общества в Москвѣ 10 ноября 1911 г.

В ознаменованіе первой годовщины смерти Л. Н. Толстого, 10 ноября 1911 года, "Толстовское Общество" устроило торжественное собраніе в Москвѣ в большом залѣ Русскаго Музыкальнаго Общества. Было произнесено нѣсколько рѣчей и исполнена 5-ая симфонія Бетховена, под управленіем С. А. Кусевицкаго. Выступавшій на этом собраніи В. А. Маклаков, по совѣту старшаго сына Толстого, графа Сергѣя Львовича — посвятил свою рѣчь Толстому, как общественному дѣятелю (изданіе Толстовскаго Общества в Москвѣ 1912 г.).

Я хочу напомнить ту сторону жизни Толстого, которая естественно забывается. Художник, религіозный мыслитель — вот тѣ сферы, на которых создалась его міровая слава, на которых он вырос, как міровое явленіе; все остальное поневолѣ остается в тѣни. И говорить о другом, о том, что дѣлал Толстой в чужих спеціальностях, пристегивать к его имени столь рѣжущій ухо эпитет "общественнаго дѣятеля", перелицовывать Толстого на обычный шаблон — значило бы, как будто, умалять его память.

Но я буду говорить именно об этом.

И мое оправданіе не только в том, что мой доклад предполагался не единственным, что он должен был только служить дополненіем. И эту сторону жизни все равно нельзя отнять у Толстого, не нарушив не только цѣльности, но даже обаянія его личности, не задѣв кровных связей между ним и его современниками. Художник и мыслитель, Толстой не ушел от забот этого міра. Он был поэт; но если бы нужно было найти антипода к тому пушкинскому поэту, который свысока смотрит на "житейское волненье", на "полезный труд", на "метлу", то это был Толстой; он не только бросал "алтарь и жертвоприношеніе" для "метлы", не в переносном, а в собственном смыслѣ, но он вѣрил, что эта метла и лучшее, и болѣе важное дѣло; он всю жизнь боролся со своим великим даром художника, как с опас-

нымъ соблазномъ, писалъ только тогда, когда былъ побѣжденъ въ этой борьбѣ, и нашелъ извиненіе своему дару только въ томъ, что создалъ теорію, по которой все искусство есть только средство единенія людей.

А с другой стороны, как религіозный мыслитель, он исповѣдывал вѣру, которая есть благо людей. И если его мысль поднимала его на ту высоту, на которой вся его теорія казалась людям непрактичной, а иногда и опасной утопіей, то мір с его нуждами не стал для Толстого ни чужим, ни далеким, ни непонятным. Безмятежное спокойствіе мудреца он промѣнивал не раз на суету и огорченія практической дѣятельности; он становился часто в трогательное противорѣчіе с самим собой, потому что имѣл очи, которыя не умѣли не видѣть, и уши, которыя не могли не слышать; и подобно тому пророку, который благословлял то, что хотѣл проклинать, Толстой иногда дѣлал то, что хотѣл осуждать. И потому, быть может, он не застыл ни в каком опредѣленном ученіи, а до послѣдних дней своих все развивался и жил.

И если бы теперь мы забыли все это, то, что он дѣлал, и то, что он сдѣлал, и его усилія служить людям, и достигнутые им результаты, забыли бы только потому, что все это померкло в лучах его славы, если бы мы стали и теперь говорить то, что ему говорили при жизни, что он грѣшит против своего дара, тратя драгоцѣнное время и труд на пустяки, его недостойные, — то это значило бы заплатить за его службу черной неблагодарностью.

Но и помимо этого, вспомнить об этой сторонѣ дѣятельности Толстого интересно еще и потому, что она так характерна; в ней весь Толстой с тѣми основными чертами, которыя не измѣнялись всю жизнь. То же безстрашіе и добросовѣстность мысли, которая ничего не боится, и ни перед чѣм не останавливается, ни перед неожиданностью выводов, ни перед всеобщностью осужденія. Та же преданность дѣлу, которая не позволяла ему ограничиваться критикой, совѣтами, а заставляла самого дѣлать то дѣло, о котором он говорил. И, наконец, мы всегда увидим одно: когда он вмѣшивается в борьбу, можно быть увѣренным, что на какой сторонѣ была правда, справедливость, истинная человѣчность, на той сторонѣ был всегда и Толстой.

И вот об этой дѣятельности я и хочу вам напомнить; только напомнить, ибо на большее у меня не хватило бы времени.

Два слова о дебютѣ Толстого на общественном поприщѣ, в роли мирового посредника; об этом сохранились лишь отрывочныя воспоминанія. В них мало характернаго для Толстого; он был типичным мировым посредником перваго призыва, горячим дѣятелем освобожденія. На его дѣятельности и судьбѣ сказались не личныя свойства Толстого, а черты той своеобразной эпохи. Для нея все характерно. И недовольство дворян-помѣщиков, которые устами

губернскаго предводителя протестовали против назначенія Толстого посредником. "Зная несочувствіе к нему крапивенскаго дворянства за распоряженія его в своем собственном хозяйствѣ, г. предводитель опасается, чтобы при вступленіи графа на эту должность не встрѣтились какія-либо непріятныя столкновенія, могущія повредить мирному устройству столь важнаго дѣла" (Отношеніе губернскаго предводителя к министру внутренних дѣл).

Характерно и заступничество губернатора: "Зная лично графа Толстого, как человѣка образованнаго и горячо сочувствующаго настоящему дѣлу, и приняв в соображеніе изъявленное мнѣ нѣкоторыми помѣщиками Крапивенскаго уѣзда желаніе имѣть графа Толстого посредником, я не мог замѣнить его другим, мнѣ не извѣстным лицом". И, наконец, обычная борьба посредника с мѣстным дворянством, кончившаяся пораженіем и отставкой Толстого.

Во всем этом типичныя черты эпохи; своеобразной личности Толстого в них не видно. И можно заранѣе сказать, что в этой сферѣ Толстой и не мог проявить себя во весь рост. Натурѣ Толстого было органически противно умѣніе приспособляться к внѣшним рамкам закона, необходимость итти опредѣленным, условным путем. В предѣлах закономѣрности он всегда чувствовал себя несвободным, а потому и безсильным. Этому и кромѣ посредничества много примѣров.

Так, Толстой выступил раз адвокатом, защищая перед военным судом рядового Шебунина, которому угрожала смертная казнь: он не любил вспоминать своей рѣчи на этом судѣ — и это понятно. Толстой, который умѣл найти такія неподражаемыя по силѣ слова, борясь со смертной казнью, здѣсь, на этом процессѣ, пытаясь говорить языком закона, процессуальными статьями, был блѣден, лишил себя всякой силы и убѣдительности.

На Толстовской выставкѣ есть трогательная бумага, апелляціонная жалоба в "Уѣздный съѣзд земских начальников", написанная рукой Толстого для какой-то крестьянки, обвиняемой в кражѣ; он пытался ее спасти, и тѣм не менѣе, в этой жалобѣ учинил полное признаніе совершоннаго, то-есть, сдѣлал невозможным спасеніе. Для Толстого, мысль котораго не останавливалась ни перед какими условностями, шла всегда до конца, разсуждать т о л ь к о в предѣлах закона, не осмѣливаясь его касаться, предполагая закон безупречным, значило перестать быть собой. И потому от этой полосы его жизни, от посредничества, я скорѣе перехожу к той, гдѣ он мог себя проявить, к его педагогической дѣятельности.

Она началась тогда же, одновременно и в связи с посредничеством; и заговорив о ней, я чувствую особенно живо трудность моего положенія; эта дѣятельность была не только оригинальна, она оставила глубокій слѣд в исторіи педагогики; ей можно и должно было бы посвятить особую лекцію со стороны людей, болѣе меня компе-

тентных, выяснить мѣсто Толстого, как педагога, среди различных школ и систем. Я же принужден коснуться ея мимоходом; и останавливаюсь на ней не в виду ея спеціальнаго интереса, а потому, что она очень характерна для Толстого, что в ней уж виден Толстой в его излюбленных взглядах и пріемах.

Занятіе педагогической дѣятельностью началось в то время, когда Толстой был посредником, в 60-ые годы. Основныя мысли Толстого извѣстны и изложены в четвертом томѣ его сочиненій. С первой страницы он опредѣленно и рѣзко ставит вопрос: "Народное образованіе всегда и вездѣ представляло для меня одно непонятное явленіе. Народ хочет образованія, и каждая отдѣльная личность безсознательно стремится к образованію. Болѣе образованный класс людей — общества, правительства — стремится передать свои знанія и образовать менѣе образованный класс народа. Казалось, такое совпаденіе потребностей должно было бы удовлетворить как образовывающій, так и образовывающійся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно противодѣйствует тѣм усиліям, которыя употребляют для его образованія общество и правительство, как представители болѣе образованнаго сословія, и усилія эти, большей частью, остаются безуспѣшными"...

"Что ж это такое? Потребность образованія лежит в каждом человѣкѣ: народ любит и ищет образованія, как любит и ищет воздух для дыханія; правительство и общество сгорают желаніем образовать народ, и, несмотря на все насиліе, хитрости и упорство правительств и обществ, народ постоянно заявляет свое недовольство предлагаемым ему образованіем и шаг за шагом сдается только силѣ".

Таково основное сомнѣніе Толстого; он постоянно к нему возвращается; вездѣ возстает против "педагогическаго насилія", против такого "ненормального явленія, как насиліе в образованіи"; в этом живом протестѣ Толстого против педагогическаго принужденія уже виден будущій противник всякаго государственнаго принужденія. Насиліе, принужденіе не нужны — вѣрит Толстой; долг образованных классов, педагогов понять эту мысль. "Как при каждом столкновеніи, так и при этом нужно было рѣшить вопрос: что болѣе законно — противодѣйствіе или самое дѣйствіе; нужно ли сломить противодѣйствіе или измѣнить дѣйствіе? Перестанем смотрѣть на противодѣйствіе народа нашему образованію, как на враждебный элемент педагогикѣ, а, наоборот, будем в нем видѣть выраженіе воли народа, которой одной должна руководиться наша дѣятельность...".

И дальше: "учитель должен принимать всякое затрудненіе в пониманіи ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего ученія".

И, наконец, положительная формулировка его педагогическаго

кредо: "единственный метод образованія есть опыт, а единственный критерій его есть свобода".

С этой точки зрѣнія он дѣлает обзор как педагогических пріемов, так и всѣх видов учебных заведеній. Всѣ они построены на иных началах и, естественно, вызывают со стороны Толстого полное осужденіе; всѣ, начиная с народных школ и кончая университетами. Вездѣ та же картина: насиліе, принужденіе, основанное на слѣпой вѣрѣ в непогрѣшимость педагогических взглядов, на горделивой увѣренности, что виноваты тѣ, кто не понимает блага, которое ему дают; насиліе религіи, государства, общества, научной традиціи — для Толстого все это насиліе равно недопустимое. Мысль Толстого приводит его к отрицанію всего, что создано педагогикой, к отрицанію всѣх существующих типов школ; человѣчество все на ложном пути. Толстой никогда не останавливался в нерѣшительности перед грандіозностью и смѣлостью выводов. "Так что же нам дѣлать, — спрашивает он, — неужели так и не будет уѣздных училищ, так и не будет гимназій, не будет кафедр римскаго права? Что же станет с человѣчеством? слышу я. Так и не будет, коли их не понадобится ученикам и вы не сумѣете их сдѣлать хорошими".

"Не бойтесь, будет и латынь, и риторика, будут еще сотни лѣт и будут только потому, что "лѣкарство куплено, — надо его выпить", как говорил один больной. Едва ли еще через сто лѣт мысль, которую я, быть может, неясно, неловко, неубѣдельно выражаю, сдѣлается общим достояніем; едва ли через сто лѣт отживут всѣ готовыя заведенія: училища, гимназіи, университеты, и выростут свободно сложившіяся заведенія, имѣющія своим основаніем свободу учащагося поколѣнія".

Выступая таким радикальным отрицателем, как бы педагогическим нигилистом, отрицателем всяких авторитетов и всей практики, Толстой вовсе не руководился любовью к парадоксам или склонностью к отрицанію. Им управляла не любовь к сенсаціи, к оригинальности, а глубокая увѣренность в своей правотѣ. Он вѣрил в правильность своих педагогических взглядов, в возможность на дѣлѣ их привить, в их практическую осуществимость, как впослѣдствіи он вѣрил в возможность дѣйствительно устроить человѣческую жизнь без насилія. И не откладывая в долгій ящик, не полагаясь на других, не ограничивая своей роли подачей совѣтов, он принимается за дѣло, идет сам — первый примѣр — в деревню учить дѣтей, доказывать реальную возможность своих педагогических взглядов. Пріем, которому Толстой слѣдовал всю жизнь, дѣлая все сам, не боясь ни труда, ни скуки, ни всѣх аксессуаров черной работы.

Он открывает школу, принимается за изданіе педагогическаго журнала. В том самом яснополянском флигелѣ, который первый виден с желѣзной дороги между Козловкой и Ясенками, открывается

школа. Он сам ходит учить. Он отдается этому дѣлу с восторгом; этому он тоже никогда не измѣнял. Он не раз говаривал, что общеніе с дѣтьми — лучшіе моменты его жизни. "Дѣти, — говорил он еще, — это лучшее, что есть в мірѣ". И его статьи, гдѣ он разсказывает о своих успѣхах, о своих открытіях в дѣтской душѣ, так живо рисующія атмосферу яснополянской школы, зарожденіе и развитіе интересов в дѣтском умѣ — это цѣлое откровеніе.

Трудно судить теперь, чѣм это могло бы окончиться, к чему бы привела попытка т а к о г о педагога, не на словах, а на дѣлѣ доказать осуществимость образованія, без насилія, без принужденія, на полной свободѣ. Трудно оцѣнить весь захватывающій интерес такого опыта, предпринятаго таким человѣком, со всей страстностью убѣжденія. Но опыт не был доведен до конца, он оборвался в самом началѣ и оборвался характерно для русских порядков.

Министерство внутренних дѣл услышало о попыткѣ Толстого учить, читало его спеціальный журнал; оно встревожилось, почувствовало опасность и пишет министерству народнаго просвѣщенія, в вѣдомствѣ котораго тогда находилась цензура: "Внимательное чтеніе педагогическаго журнала "Ясная Поляна", издаваемаго графом Толстым, приводит к убѣжденію, что этот журнал, проповѣдующій совершенно новые пріемы преподаванія и основныя начала народных школ, нерѣдко распространяет такія идеи, которыя, независимо от их неправильности, по самому направленію своему оказываются вредными. Не входя в подробный разбор доктрины этого журнала и не указывая на отдѣльныя статьи и выраженія, что, впрочем, не представило бы затрудненія, я считаю нужным обратить вниманіе вашего превосходительства на общее направленіе и дух этого журнала, нерѣдко низвергающія основныя правила религіи и нравственности. Имѣю честь сообщить о сем вам, милостивый государь, в том предположеніи, что не изволите ли Вы полезным обратить особое вниманіе цензора на это изданіе".

Это типичная и знакомая картина; в ней оказалась, впрочем, и своеобразная черта: министерство народнаго просвѣщенія вступилось за просвѣщеніе: "Как по собственному наблюденію министерства, — пишет министр, — так и по содержанію предоставленнаго ему, министру, отчета о "Ясной Полянѣ", в направленіи помянутаго журнала нѣт ничего вреднаго и противнаго религіи, но встрѣчаются крайности педагогических воззрѣній, которыя подлежат критикѣ в ученых педагогических журналах, а никак не запрещенію со стороны цензуры".

"Вообще, — писал далѣе министр народнаго просвѣщенія, — я должен сказать, что дѣятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полнаго уваженія, и министерство народнаго просвѣщенія обязано помогать ему и оказывать содѣйствіе,

хотя не может раздѣлить всѣх его мыслей, от которых, послѣ многосторонняго обсужденія, он и сам, вѣроятно, откажется".

Удар был на этот раз отведен, но этим не кончилось. Однажды утром, когда Толстой, больной, был на кумысѣ, нагрянули тройки с жандармами; пріѣхали искать типографіи; яснополянская школа была перерыта, искали даже в пруду; потом поѣхали искать в других 17 школах участка.

Это был тот случай, который привел Толстого в такое негодованіе, что он пишет своей теткѣ: "Слава Богу, что меня не было дома; я бы уже судился, как убійца".

Он пишет дальше: "Выхода мнѣ нѣт другого — как получить такое же гласное удовлетвореніе, как и оскорбленіе (поправить дѣло уже невозможно), или экспатріироваться, на что я твердо рѣшился. К Герцену я не поѣду; Герцен сам по себѣ и я сам по себѣ. Я и прятаться не стану, а громко объявлю, что продаю имѣніе, чтобы ѣхать из Россіи, гдѣ нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает". Этот эпизод имѣет и своеобразный конец: Толстой в Москвѣ на бульварѣ встрѣтил покойнаго Государя Александра II и подал ему жалобу на дѣйствія властей; Государь прислал флигель-адъютанта с извиненіями. Но дѣло было все-таки кончено; жизнь и работа в уѣздѣ, среди радостно гоготавших тульских помѣщиков, стала невозможной, и Толстой уѣхал оттуда, прекратив занятія в школѣ... Так окончился первый опыт его педагогической дѣятельности.

Он возвращается к ней опять в 1874 г. За этот період совершилось нѣчто важное: Толстой написал "Войну и Мир"; он уже нашел себя, распрямил орлиныя крылья, стал гордостью русской литературы. Перед ним открылась дорога успѣха и славы, обезпечивающая ему и почет и безсмертіе. И в это время он бросает литературу, опять уходит в деревню, возвращается к педагогикѣ.

Главным дѣлом этого педагогическаго періода было составленіе азбуки. Азбука Толстого, библіографическая рѣдкость теперь, несравненно шире заглавія. В ней, кромѣ азбуки, и руководство к чтенію и письму, и статьи для чтенія, и грамматика, и былины, и славянскій язык, и руководство для учителей, и, наконец, арифметика до дробей. В ней и критика звукового метода обученія грамотѣ, так возмутившая педагогическій мір, и смѣлая попытка не только объяснить ученику различныя системы счисленія, но изложить самое понятіе о дробях, как только частный случай различных систем счисленія.

Эта азбука — библіографическая рѣдкость, но она не прошла безслѣдно; в 1875 г. она была переработана и выпущена в новом, значительно сокращенном видѣ, на принципѣ постепеннаго перехода от простого и легкаго к сложному, с отдѣлом постепеннаго чтенія. Арифметики в новом изданіи болѣе нѣт. В этом видѣ азбука

Толстого имѣла колоссальный успѣх; несмотря на то, что она не была одобрена министерством народнаго просвѣщенія и потому и не могла употребляться в училищах, она выдержала 25 изданій, из которых в пяти послѣдних было свыше ста тысяч экземпляров.

Составленіе этой азбуки потребовало громаднаго труда, массы черной работы. В одном из писем к Страхову Толстой пишет: "Я до одуренія занимаюсь эти дни окончаніем арифметики. Умноженіе и дѣленіе кончены и кончаю дроби. Вы будете смѣяться надо мною, что я взялся не за свое дѣло, но мнѣ кажется, что арифметика будет лучшее в книгѣ... Азбука моя не дает покою для другого занятія. Печатаніе идет черепашьим шагом и чорт знает, когда кончится, а я все еще прибавляю и измѣняю. Что из этого выйдет, не знаю, а положил я в него всю душу". Он был прав, и на этой работѣ он надорвался, заболѣл нервным переутомленіем, доведя себя до серьзной болѣзни, поѣхал лѣчиться на кумыс, упросив своего друга и почитателя Страхова заняться корректурой азбуки.

Но азбука была не единственным дѣлом; Толстой одновременно с этим дает уроки в школѣ, в собственном яснополянском домѣ, устраивает курсы для учителей, обучает их педагогическим пріемам, наконец, самое интересное — он мечтает о созданіи высшей школы по своему идеалу, опыт — "университета в лаптях". Предполагалось нѣчто в родѣ учительской семинаріи, с преподаваніем математики, иностранных языков, но при непремѣнном условіи — основная мысль всей жизни Толстого — чтобы ученіе в этом заведеніи не требовало измѣненія в условіях жизни учащихся. Судьба, казалось, улыбнулась этому оригинальному проекту. Губернским предводителем в то время был Самарин. Узнав о проектѣ Толстого, он сказал, что в земствѣ имѣется капитал в 30.000 рублей, предназначенный на народное образованіе и не получившій еще назначенія. Он предлагал Толстому сдѣлать в собраніи доклад с просьбой ассигновать ему эти тридцать тысяч и обѣщал ему поддержку. Толстой обрадовался этой идеѣ, баллотировался в гласные и был избран в члены училищнаго совѣта. Но и этот план неожиданно рухнул. В земском собраніи было сдѣлано одно из тѣх предложеній, от которых не смѣли отказаться. Во время преній о проектѣ Толстого один из гласных сказал, что в этом году Тула празднует столѣтіе губернских учрежденій и что слѣдует пожертвовать этот капитал на памятник императрицѣ Екатеринѣ. Это и было принято, и "университет в лаптях" не осуществился.

Педагогическая дѣятельность Толстого в это время не ограничилась Ясной Поляной; он выступил в Москвѣ, в московском Комитетѣ грамотности, с сенсаціонным докладом о методах обученія грамотѣ, защищая буквослагательный метод перед звуковым. Результатом этого доклада было состязаніе, устроенное между двумя

школами, из которых одна вела преподаванiе по способу Толстого, а другая — по способу звуковому.

Эти выступленiя его имѣли необыкновенный успѣх, произвели широкую сенсацiю; у него были и упорные противники и фанатическiе сторонники, но дѣятельность его во всяком случаѣ не прошла незамѣтной. Литература того времени об этом свидѣтельствует. Так, в "Педагогическом Листкѣ" (1875 г.), в статьѣ, написанной в ироническом, несочувственном Льву Николаевичу тонѣ, есть интересная замѣтка. Автор так начинает свою статью: "Самым животрепещущим вопросом педагогики послѣдних дней была статья гр. Толстого. Трудно было показаться куда-нибудь, не рискуя в сотый раз наткнуться на порядочно надоѣвшiй уже вопрос: вы за кого — за Толстого или за Евтушевскаго?".

Вот что говорит далѣе Михайловскiй о впечатлѣнiи, произведенном статьей "О народном образованiи" 1874 г.: "На долю статьи "Отечественных Записок" выпал такой громадный успѣх, каким едва ли может похвалиться какое бы то ни было литературное явленiе прошлаго года: силы наших извѣстнѣйших педагогов напряженнѣйшим образом сосредоточились на опроверженiи или защитѣ положенiй и отрицанiй гр. Толстого; засѣданiя педагогическаго общества никогда не привлекали такого огромнаго числа посѣтителей, как в дни пререканiй гг. Страннолюбскаго и Евтушевскаго об "Азбукѣ" Толстого и статьѣ "Отечественных Записок"; в обществѣ, под влiянiем этой статьи, появилось, по свидѣтельству г. Евтушевскаго, рѣзкое порицанiе всего новаго направленiя педагогики, наконец, газеты всѣх партiй, всѣх цвѣтов и оттѣнков с небывалым единодушiем стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого. И надо еще добавить, что гр. Толстой не принадлежит отнюдь к числу баловней нашей критики".

Так работал Толстой в этой спецiальной, чуждой ему области педагогики, работал между созданiем "Войны и Мира" и "Анны Карениной", то есть, как раз в перiод наивысшаго торжества таланта, наибольшаго успѣха. И он покидал свою литературную область для работы там, гдѣ его встрѣчала холодная или гордая критика, гдѣ он наживал себѣ врагов ересью своей "Азбуки". Он дѣлал то, что всѣ кругом него осуждали; отголоски этого осужденiя видны, например, в одном из писем Софьи Андреевны:

"Левочка весь ушел в народное образованiе, школы, учительскiя училища, т. е. гдѣ будут образовывать учителей для народных школ, и все это занимает его с утра до вечера. Я с недоумѣнiем смотрю на все это, мнѣ жаль его сил, которыя тратятся на эти занятiя, а не на писанiе романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта дѣятельность распространится на маленькiй уголок Россiи — на Крапивенскiй уѣзд"... "Роман не пишется, а из всѣх редакцiй так и сыпятся письма: 10 тысяч вперед,

и по 500 р. за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дѣло не до него касается. А мнѣ Бог с ними, с деньгами, а главное просто то дѣло, т. е. писаніе романов, я люблю и цѣню и даже волнуюсь им всегда ужасно; а всѣ эти арифметики, азбуки и грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую".

Этот мотив очень знаком, будет повторяться всю жизнь; как теперь, когда он бросил литературу для азбуки, так позднѣе, когда он бросит все для своих религіозных изслѣдованій, ему будут говорить: "не дѣлайте этого: это грѣх перед даром, вам данным; это зарывать в землю талант; перед вами иная дорога". И как типичен этот упрек, так типично и то равнодушіе, с которым встрѣчал его Толстой, который бросал все, успѣх, почести, восторженный пріем и похвалы людей, ради того, что он считал своим долгом, в чем он мечтал служить людскому благу.

Здѣсь оканчивается второй період педагогической дѣятельности Толстого. Правда, он никогда не переставал ею интересоваться; в самые послѣдніе годы жизни он еще думал о планѣ учебника для народа, основаннаго на тѣх же принципах слѣдованія за естественным развитіем интереса учащагося. Но эта мысль уже не заполняла его времени. Зато в тѣсную логическую связь с педагогической дѣятельностью семидесятых годов надо поставить его дѣятельность восьмидесятых гг., просвѣтительную дѣятельность в области народной литературы.

В 80-х годах не было вовсе порядочной народной литературы; тѣ немногія книги, которыя были изданы, в деревню доступа не имѣли; там народ еще не был пріучен читать книгу, приходить за книгой; у него не было и близких, доступных ему книжных лавок. Потребность народа в чтеніи обслуживалась своеобразным путем, путем книгонош, офеней. Они запасались дешевыми книгами в обмѣн за холст, или просто в кредит, и затѣм, гуляя по Россіи, наводняли ими деревни. Книгоноши, разносчики всякаго деревенскаго товара, были единственными проводниками литературы в народ. Эти книгоноши имѣли дѣло с очень опредѣленным кругом издателей, с восемью книгопродавцами Никольскаго рынка, и с очень опредѣленной литературой, получившей названіе лубочной.

Выбор книг был, поистинѣ, ужасающій; никто не помышлял не только о каком-либо идейном руководительствѣ, но просто о пристойности. "Было бы заглавіе, — говорил один из дѣятелей того времени, — а там что хочешь печатай". В продажу шли и патріотическіе разсказы, в родѣ пресловутой "Битвы русских с кабардинцами", и разная романическая переводная литература, без начала и конца, в родѣ знаменитаго когда-то "Милорда", о котором еще писал Некрасов в стихотвореніи "Кому на Руси жить хорошо", присоединяя к нему характерный эпитет "Милорда глупаго".

И что самое печальное, выбор литературы был так опредѣ-

ленен и так ужасен, что совершенно устранял возможность проникновенія в народ приличных писателей и приличнаго чтенія. Ни за какія деньги, разсказывает один современный книжный дѣятель, невозможно было убѣдить порядочнаго писателя дать свое сочиненіе для изданія лубочной литературы. Фигурировать в этих народных изданіях, рядом с "Милордом" и "Битвой русских с кабардинцами", было так же неприлично для литератора, как для музыканта появиться на подмостках кафе-шантана. Всякій приличный литератор брезгливо отворачивался от этого лубочнаго издательства, и народ был отдан всецѣло во власть этой литературы, ея издателей и ея излюбленных авторов.

И если в 80-х годах совершился перелом в этом дѣлѣ, то им мы обязаны исключительно Толстому.

Он пришел в ужас, когда увидѣл, как литература служит народу; и по своей привычкѣ все дѣлать самому, все видѣть своими глазами, стал усердно посѣщать Никольскій рынок, разговаривать с книгоношами, с издателями, старался понять, на чем держится их значеніе. Он убѣдился воочію, как в громадном спросѣ на народную книгу, так и в полной непригодности ея предложенія. Автор "Милорда", "Битвы русских с кабардинцами" был нѣкто Кассиров; его произведенія раскупались неимовѣрно. И вот Толстой, на вечерах у себя в домѣ, разговаривая о литературѣ, любил поставить вопрос: кто в Россіи самый любимый писатель, кого всего больше читают? Одни называли Пушкина, Лермонтова, Тургенева, самого Толстого, и он их всѣх озадачивал отвѣтом: вы ошибаетесь, самый любимый и распространенный писатель — Кассиров.

Но увидав, гдѣ зло, Толстой уже не ограничивался одними совѣтами; он пошел прямо к цѣли; помощником ему в этом дѣлѣ был впервые выступившій здѣсь на общественном поприщѣ — Чертков. Толстой вступил в переговоры с одним из издателей, тогда еще не самостоятельным, служившим у Шарапова, Сытиным; он предложил ему выпустить три своих разсказа: "Чѣм люди живы", "Бог правду видит, да не скоро скажет" и "Гдѣ любовь, там и Бог". К ним он присоединил также разсказ Лѣскова "Христос в гостях у мужика". Всякій коммерческій интерес устранялся; еще задолго до знаменитаго отреченія от литературной собственности, Толстой отказался от собственности на эти три разсказа; каждый получил полное право их перепечатывать. Фирма Сытина могла выдержать конкуренцію только дешевизной изданія; и она издала их почти без барыша.

Успѣх был поразительный; в первый же год было распродано больше 200 тысяч экземпляров этих книжек, и спрос на них все увеличивался. Впервые настоящая литература дошла до народа и он тотчас почувствовал разницу между ней и пресловутым "Милордом".

Начало было положено и тогда обнаружилось два параллель-

ных теченія. Во-первых, образовалось издательское предпріятіе, я бы сказал, партійное, если бы умѣстно было примѣнять к взглядам Толстого эту кличку "партійное"; во всяком случаѣ, литература "Посредника" была литературой выдержаннаго, опредѣленнаго направленія; эта фирма, впервые тогда зародившаяся, позднѣе выросла в крупное издательское предпріятіе.

Но с другой стороны — и это, пожалуй, важнѣе — началось оздоровленіе и прежней лубочной литературы. В ней появляются новыя имена; Толстой открыл дорогу; в компаніи с ним никому не было зазорно явиться; клеймо отверженія с лубочной литературы было снято. Вслѣд за Толстым, там появились Чехов, Гаршин, Короленко и др.

Толстой не ограничился этим; он сдѣлал попытку оздоровить, почистить и прежнюю лубочную литературу, сдѣлать ее хотя бы болѣе грамотной; он обратился в газеты с знаменитым воззваніем, в котором звал всѣх интеллигентов, желавших послужить народу, поработать над этой литературой, придать ходовым сочиненіям болѣе осмысленный и грамотный вид. Письмо не осталось без результатов и предложеніе рабочих рук было громадное.

Так впервые вопрос о литературѣ для народа был поставлен на очередь и скоро эта литература стала неузнаваемой. И если бы Толстой не был Толстым, если бы он ничего не сдѣлал кромѣ этого, то эта заслуга его перед родной землей не была бы все-таки забыта. И характерно для всей его жизни, что он опять бросил то поприще, гдѣ была его настоящая слава, гдѣ он мог состязаться с первыми именами міровой литературы, для того, чтобы состязаться с Кассировым; но Толстой не знал колебаній там, гдѣ рѣчь шла о службѣ народу.

Характерна и другая черта в этой исторіи: отношеніе к этому дѣлу власти. Мирнѣйшее и благонамѣреннѣйшее изданіе "Посредника" подверглось настоящим гоненіям; "Посредник" временно пріостанавливается, дѣятели его уѣзжают за-границу, ни одна книга не пропускается. А книгоноши, которые безпрепятственно распространяли "Милорда" и "Битву русских с кабардинцами", отравляли народ подонками сенсаціонной литературы, пошлым фельетоном, были запрещены и уничтожены, как только начали разносить также и такіе перлы художественнаго творчества, как "Упустишь огонь — не потушишь", "Бог правду видит" и т. п.

Чтобы покончить с этим, умѣстно упомянуть, что Толстой обратил вниманіе и на народный театр; и, как всегда, он, не ограничиваясь критикой, написал "Перваго винокура", а позднѣе "Власть тьмы". И как во всем, так и здѣсь власть осталась вѣрна себѣ, немедленно обратила вниманіе на сочиненія Толстого, и "Власть тьмы", несмотря на глубоконравственное ея содержаніе, в теченіе 15 лѣт была запрещена для сцены.

От этих попыток Толстого бороться с духовным голодом народа — естественно перейти к другой дѣятельности, которая отстояла еще гораздо дальше от его таланта и профессіи — к борьбѣ с простым голодом, в буквальном смыслѣ этого слова.

Первое столкновеніе с ним произошло в семидесятых годах во время знаменитаго самарскаго голода. Толстой был там и все видѣл; он написал воззваніе к обществу в Московских Вѣдомостях; описал то, что видѣл, присоединил статистическое описаніе 23 домов, взятых на выдержку. Обращеніе к обществу, столь обычное потом, было новостью в то время; оно возбудило неудовольствіе власти; в нем усмотрѣли и недовѣріе к ея распоряженіям, и вмѣшательство не в свое дѣло. Но у Толстого были и покровители: редактор Московских Вѣдомостей М. Н. Катков был слишком сильным человѣком, чтобы испугаться министерскаго неудовольствія; а на зов Толстого одной из первых откликнулась императрица. Пожертвованія стали поступать массой; всего в зиму было собрано около 1.700.000 рублей.

Но, зазвонив первый в набат, вызвав щедрый приток пожертвованій, Толстой сам стоял далеко от организаціи помощи; деньги собирала газета, распредѣляло их и тратило земство. Толстой был там, смотрѣл, наблюдал — но сам в это дѣло не вмѣшивался.

Иная роль была сыграна им, двадцать лѣт позднѣе, когда разразился страшный голод 1891 года. За эти годы Толстой уже пережил свой перелом 80-х годов; он во время переписи сдѣлал попытку бороться с городской нищетой и повѣдал о своих разочарованіях. Он вынес тогда отрицательное отношеніе и к деньгам вообще, и особенно к благотворительности. Самая мысль благотворительности со стороны имущих классов стала представляться ему глубокой нелѣпостью; "если всадник видит, что его лошадь замучена, — говорит он, — он должен не поддерживать ее, сидя на ней, а просто с нея слѣзть". Всякій благотворитель народа из имущих классов казался ему именно таким всадником, который не хочет понять, что единственной причиной народной нужды является он сам, и что лучшая услуга народу с его стороны, — это перестать пользоваться свим приввилегированным положеніем.

В годы такого душевнаго настроенія случился голод 1891 года. Рѣшительныя мѣры были приняты и обществом , и правительством. Правительство запретило вывоз хлѣба за границу, а общество с увлеченіем и страстью бросилось на всѣ виды помощи голодающим; собирались пожертвованія, устраивались столовыя и т. д. Толстой органически не поддавался общим порывам; они способны были скорѣе его охлаждать; он сам признавался, что в нем живо "чувство отпора против всякаго общественнаго увлеченія". Данное же увлеченіе, кромѣ того, противорѣчило его задушевному взгляду и на деньги, на зло от денег, и на самый принцип благотворительности.

И вот, разсказывает в своих воспоминаніях один из близких к нему в это время людей, он приготовил статью, гдѣ обрушивался на то, что дѣлалось перед ним, на общее увлеченіе помощью голодающим. Но в это время пріѣхал к нему его друг, И. И. Раевскій, из голодных мѣстностей, гдѣ он занимался устройством столовых; слыша возраженія и осужденія Толстого, он позвал его посмотрѣть, что там дѣлается; Толстой согласился; с готовой статьей, с готовым взглядом на дѣло он поѣхал к Раевскому на два дня, чтобы укрѣпиться в своем отрицательном отношеніи к помощи, — и остался там два года и стал во главе самаго грандіознаго общественнаго начинанія помощи голодающим.

Эта дѣятельность у всѣх еще в памяти; началось с воззванія Софьи Андреевны Толстой в газетах; и хотя в это время были и другіе центры сборов, были высокопоставленные комитеты, гдѣ за пожертвованіем слѣдовала лестная, почетная, а иногда и небезвыгодная благодарность, хотя таким образом конкуренція Софьѣ Андреевнѣ Толстой была громадная, но наплыв денег по ея адресу превзошел всѣ ожиданія; а главное, туда шла дѣйствительно лепта вдовицы, "прожженная, битая, трепаная ассигнація" неизвѣстнаго жертвователя. Зов Толстого напомнил некрасовскую сцену призыва Ермила на базарной площади, когда "как бы вѣтром" отворотило у всѣх "полу лѣвую".

А сам Толстой жил в деревнѣ, уйдя в практическую сторону дѣла, жил и работал наряду со всѣми, объѣзжал деревни на пространствѣ десятков верст, переписывал ѣдоков, распредѣлял пособія, открывал столовыя, — словом, дѣлал то черное, трудное дѣло, на котором надорвался и умер Раевскій. И глядя на него, на этого старичка, к которому всѣ шли с просьбами и претензіями, никто бы не подумал, что у него есть какое-то иное дѣло, иныя заботы, кромѣ организаціи столовых и составленія списков; никто бы не подумал, что это — тот, за кѣм слѣдил весь мір, на чей призыв зашевелилась Россія.

Простота, недѣланная, искренняя простота Толстого всегда была чѣм то чарующим, его ухо не терпѣло фальши. Он любил разсказывать индійскую сказку: какой то богатый человѣк, желая заслужить перед Богом, пошел на улицу и под забором нашел бѣднаго, больного, голаго нищаго; покорный волѣ Бога, он взял его, обмыл, обласкал, накормил, привел в свой дом и ухаживал за ним, радуясь, что он дѣлает доброе дѣло. Через нѣсколько дней нищій, чувствуя, что это дѣлается не для него, а для собственной святости, взмолился богачу: отнеси меня назад под забор, мнѣ будет там легче.

Толстой весь ушел в интересы дѣла; это показывают статьи его, в это время написанныя. Он весь поглощен одной мыслью, одной заботой: как помогать? Он изслѣдует выгоды и недостатки и продовольственных ссуд, и общественных работ, и, наконец, столовых.

И, характерно, конечно, что при этой оцѣнкѣ он не упускает из виду и того, чѣм он в это время жил, моральной стороны дѣла. У него было много основаній высказаться за столовыя, как за наилучшую форму помощи; но едва ли не на первом мѣстѣ у него стояли нравственныя соображенія, в родѣ того, что столовыя пріучают тѣх, кто сильнѣе, отказываться в пользу тѣх, кто слабѣе.

Столовыя для него — "наилучшая форма, в которой богатый и сильный могут сходиться с голодными".

"Семьи самыя бѣдныя, тѣ, у которых устраиваются столовыя, совершенно обезпечиваются. Исключается возможность неравенства полученія пищи, часто встрѣчающаяся в семьях по отношенію к нелюбимым членам; старые и дѣти получают соотвѣтствующую их возрасту пищу. Столовыя, вмѣсто раздраженія и зависти, вызывают добрыя чувства. Злоупотрбленій, т. е. полученія пособій тѣми лицами, которыя менѣе нуждаются в них, может быть менѣе, чѣм при всяком другом способѣ помощи... Мысль моя состоит в том, что спасает людей от всяких бѣдствій, в том числѣ и от голода, только любовь. Любовь же не может ограничиться словом, а всегда выражается дѣлами. Дѣла же любви по отношенію к голодным состоят в том, чтобы отдать свой кусок голодному" (т. XIII).

Эта мысль, что любовь, что доброе чувство сильнѣе голода, сильнѣе нужды, его не покидала. Один "калужскій житель", как он его называет, а я помню его фамилію и его самого, Владиміров, — предложил состоятельным людям брать на прокорм к себѣ мужицких лошадей из голодающих мѣстностей. Толстой с жаром схватился за эту идею. И, проповѣдуя ее, он радовался опять-таки не только тому, что лошади будут сохранены, а тому, что благодаря этому питаются добрыя чувства: каждый владѣлец такой лошади, говорил он, будет знать, что гдѣ то далеко кто то думает о нем и помогает ему. И, разсказывая об этом планѣ, Толстой пишет: "Предложеніе это и принятіе его для меня поразительно трогательно и поучительно. Крестьяне калужскіе, небогатые люди, для неизвѣстных им, невиданных братьев-крестьян в бѣдѣ берут на себя не малый расход и труд и заботу, и здѣшніе крестьяне, очевидно, понимая побужденіе своих калужских собратьев, очевидно, сознавая, что в случаѣ нужды они бы сдѣлали то же, без малѣйшаго колебанія довѣряют неизвѣстным им людям почти послѣднее достояніе, — хороших молодых лошадей, за которых, даже и при теперешних цѣнах, они все-таки могли бы взять 5, 10, 15 рублей.

"Если бы хоть сотая доля такого живого братскаго сознанія, такого единенія людей во имя Бога любви была во всѣх людях, как легко, да и не только легко, но радостно перенесли бы мы этот голод, да и всевозможныя матеріальныя бѣды" (т. XIII собр. соч.).

Но эти розовыя надежды не устояли перед практикой жизни; любовнаго порыва оказалось недостаточно, чтобы бороться со злом.

У Толстого с его столовыми получилось то же, что с Давидом Лейзером в "Анатемѣ": чѣм больше раздавал тот денег, тѣм больше к нему приходили. И чѣм больше кормил Толстой, тѣм больше со всѣх сторон шли голодные и нуждающіеся. Становилось ясно, что он не может всѣх накрмить, не может всѣх сдѣлать счастливыми; что кто-то остается за порогом, и не может питать за это добраго чувства.

И Толстой к концу второго года пришел к тѣм же выводам, к тому же сознанію, что и при городской переписи, — к сознанію своего безсилія и безплодности дѣла. И это безсиліе, безнадежность вновь звучат в его статьях по поводу голода. Вы помните, конечно, описаніе, как в морозное утро он выходит за дверь, разсчитывая, что он может спокойно пройтись, что никого около нѣт. Он ошибся: за дверью уже стоят двое — мужик и мальчик. "Хочу пройти мимо. Начинаются обычные поклоны и рѣчи. Нечего дѣлать, возвращаюсь в сѣни. Они всходят за мной. Что ты? — К вашей милости. — Что нужно? — Насчет пособія. — Какого пособія? — Да насчет своей жизни. — Да что нужно? — С голоду помираем. Помогите сколько-нибудь. — Откуда? — из Затворнаго. — Знаю, это скопинская нищенская деревня, в которой мы еще не успѣли открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищіе, и я тотчас же в своем представленіи причисляю этого человѣка к нищим профессіональным, и мнѣ досадно на него и досадно, что и дѣтей они водят с собой и развращают. — Чего же ты просишь? — Да как-нибудь обдумай нас. — Да как же я обдумаю? Мы здѣсь ничего не можем сдѣлать. Вот мы пріѣдем. — Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз слышанныя однѣ и тѣ же, кажущіяся мнѣ приторными, рѣчи: — Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, лѣтось корову проѣли, на Рождество послѣдняя лошадь околѣла; уж я куда ни шло ,ребята то ѣсть просят, отойти некуда, три дня не ѣли. — Все это обычное, одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он все говорит: — Думал, как-нибудь пробьюсь. Да выбился из сил. Вѣк не побирался, да вот Бог привел. — Ну, хорошо, хорошо, мы пріѣдем, тогда увидим, — говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды прелестными карими глазами, и одна свѣтлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновеніе отрывается и падает на натоптанный снѣгом дощатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися вѣнчиком кругом головы русыми волосами дергается от сдерживаемых рыданій. Для меня слова отца — старая, избитая канитель. А ему — это повтореніе той ужасной годины, которую он пережил вмѣстѣ с отцом, и повтореніе всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи,, умиляет его, потрясает его разслабленные от голода нервы. А мнѣ все это надоѣло, надоѣло; я думаю только, как бы поскорѣе пойти погулять.

"Мнѣ старо, а ему это ужасно ново".

"Да, нам надоѣло. А им все так хочется ѣсть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как, — я видѣл по прелестным, устремленным на меня полным слез, глазам, — хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себѣ доброму жалкому мальчику".

Таким сомнѣніем и разочарованіем кончался для Толстого этот тяжелый год неожиданнаго кормленія голодающих.

Он вернулся к тому же дѣлу послѣдній раз еще позже, в 1898 г. Мы увидим опять новыя черты. На этот раз ни сам Толстой, ни Софья Андреевна с воззваніем к обществу не обращались, но пожертвованія сами искали их. На их имя, на дом и в редакціи газет отправлялось столько пожертвованій, что нельзя было на это не откликнуться, надо было дать им какое-либо назначеніе. Само общество толкало Толстого; он опять поднимается, но его сердце уже не лежит к тому дѣлу, в которое он больше не вѣрит. По старой привычкѣ, он опять рекомендует устройство столовых; организует, сам принимает участіе в их открытіи. Но мысль его занята уже другим: он думает не о том, в какой формѣ лучше всего выльется помощь, — он думает о причинах голода, о том, что его создало и поддерживает. Он задѣвает здѣсь нѣсколько мотивов, о которых давно говорили и думали, но которые только теперь представляются ему с такой ясностью, потому что он видит их непосредственное дѣйствіе.

Он указывает и на правовое положеніе всего крестьянства, и на земельное законодательство и на многое другое. И тут, в этой статьѣ совершенно неожиданная нотка, которая, очевидно, самого Толстого приводит в недоумѣніе.

Дѣло в том, что в это время работы на помощь голодающим были уже взяты под подозрѣніе; власти и старались уменьшить размѣры бѣдствія, и не сочувствовали частной борьбѣ с ними, подозрѣвая в этом антиправительственную пропаганду. Самого Толстого не трогали, но создаваемыя им столовыя разрушали. Вот как говорит про это Толстой: "А между тѣм именно теперь как в нашей Тульской губерніи, так и в Орловской, Рязанской, Воронежской и других губерніях принимаются самыя энергическія мѣры для противодѣйствія частной помощи во всѣх ея видах, как видно, мѣры общія, постоянныя. Так, в том Ефремовском уѣздѣ, куда я направлялся, совершенно не допускаются постороннія лица для помощи нуждающимся. Устроенная там пекарня лицом, пріѣхавшим с пожертвованіями от Вольно-Экономическаго общества, при мнѣ была закрыта и самое лицо выслано. Считается, что нужды в этом уѣздѣ нѣт и помощь не нужна в нем. Так что, хотя и по личным причинам, я не мог исполнить своего намѣренія и проѣхать в Ефремовскій уѣзд, поѣздка моя туда была бы безполезна или произвела бы ненужныя осложненія. В Чернском уѣздѣ за время моего отсутствія, по

разсказам пріѣхавшаго оттуда моего сына, произошло слѣдующее: полицейскія власти, пріѣхав в деревни, гдѣ были столовыя, запретили крестьянам ходить в них обѣдать и ужинать; для вѣрности же исполненія разломали тѣ столы, на которых обѣдали, и спокойно уѣхали, не замѣнив для голодных отнятый у них кусок хлѣба ничѣм, кромѣ требованія безропотнаго повиновенія. Трудно себѣ представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещенію и у всѣх тѣх людей, которые узнают про него" (т. XIII соч).

Такими наблюденіями и размышленіями завершилась у Толстого попытка накормить голодающих. Он сталкивался опять с общим вопросом о том, что порождает зло, и убѣждался воочію, что были какія-то причины, которыя мѣшали проявленію той любви, в которой он видѣл долг человѣка и которой, как ему казалось, было достаточно, чтобы все исцѣлить.

Мы подходим здѣсь к одному из интереснѣйших моментов міровоззрѣнія Толстого, к его увлеченію идеями Генри Джорджа.

Я уже указывал, что одной из любимых идей Толстого было требованіе, чтобы тот, кто хочет помогать бѣдным, обойденным, сначала перестал сам угнетать. И это общее пожеланіе скоро облеклось в конкретную форму отрицанія частной земельной собственности.

В рядѣ сочиненій Толстой указывал тот замкнутый круг, ту неразрывную цѣпь послѣдствій, которая вытекает из факта земельной собственности: inde irae. Земельная собственность порождает существующую бѣдность, нищету и озлобленіе и все остальное. Эта идея вообще не нова. Ее развивал еще Руссо, котораго, быть может, за это так любил и цѣнил Толстой. С давних пор, еще до впечатлѣній голодной кампаніи, Толстой лелѣял эту мысль. В его дневникѣ записан необыкновенный "сон".

"1865 г. августа 18-го. Ясная Поляна. Всемірно-историческая задача Россіи состоит в том, чтобы внести в мір идею общественнаго устройства земельной собственности. La propriété — c'est le vol, остается больше истиной, чем истина англійской конституціи, до тѣх пор, пока будет существовать род людской. Эта истина абсолютная, но есть вытекающія из нея истины относительныя — приложенія. Первая из этих относительных истин есть воззрѣніе русскаго народа на собственность. Русскій народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда и собственность, болѣе всякой другой стѣсняющую право пріобрѣтенія собственности другими людьми, собственность поземельную. Это не есть мечта — она факт, выразившійся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково и ученый русскій, и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная. Эта идея имѣет будущность, революція только на ней может быть основана. Революція не будет русская против царя и деспо-

тизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человѣка, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавіе не мѣшает, а способствует этому порядку вещей.

Все это видѣл во снѣ 13-го августа".

Таковы были смутныя идеи Толстого еще издавна. И потому для него было цѣлым откровеніем ученіе Генри Джорджа, когда он с ним познакомился. В нем было все то, что было дорого Толстому; та же идея — отрицаніе земельной собственности, мирный обходный путь к ея осуществленію; Толстого плѣняло в ученіи Джорджа то, что было для него самого всего менѣе доступно, что было для него всегда чуждо: практическая сторона реформы, ея реальная осуществимость. Любимыя идеи Толстого объявлялись исполнимыми и без насильственнаго переворота, без революціоннаго насилія, в рамках государственности; и этому учил экономист, представитель науки, к которой так скептически привык относиться Толстой.

И он увѣровал в это ученіе, увѣровал, как в непреложную истину; ему казалось, что все это так просто и очевидно, что только незнакомство с этим ученіем или сознательное его игнорированіе может помѣшать его общему признанію. "Благодаря совокупным усиліям всѣх людей, заинтересованных отстаиваніем учрежденія земельной собственности, неотразимо убѣдительное по своей простотѣ и ясности ученія Джорджа остается почти неизвѣстным и послѣдніе годы все менѣе обращает на себя вниманіе. Кое-гдѣ в Шотландіи, в Португаліи, в Новой Зеландіи вспоминают о нем, и среди сотен ученых является один, который знает и защищает ученіе Джорджа. В Англіи же и в Соединенных Штатах число его сторонников становится все меньше и меньше, во Франціи его ученіе почти неизвѣстно, в Германіи оно проповѣдуется в очень маленьком кружкѣ и вездѣ заглушается шумным ученіем соціалистов.

"С ученіем Джорджа не спорят, а просто не знают его. Иначе и нельзя поступать с ученіем Джорджа, потому что тот, кто узнает его, не может не согласиться с ним" (т. XVI соч.).

И с той страстностью, с которой Толстой относился ко всему, что он считал правдой, он бросился на проповѣдь этого ученія Джорджа. Он пишет статьи, хлопочет о переводах, снабжает их предисловіями. Его дѣятельность в этом направленіи была скоро оцѣнена за границей; статья "Великій грѣх" стала любимой агитаціонной книгой. В день его юбилея ему был прислан из Австраліи адрес, подписанный предсѣдателем и секретарями всѣх отдѣлов лиги "Единый налог": "Мы, ученики и послѣдователи Генри Джорджа со всей Австраліи, называющіе себя сторонниками единаго налога... когда мы узнали, что вы приняли также ученіе нашего дорогого покойнаго учителя Генри Джорджа, мы с большей смѣлостью стали отстаивать тѣ идеалы, к которым мы стремимся".

С Генри Джорджем он так и не успѣл познакомиться, хотя был с ним в перепискѣ. Тот прислал ему свои труды, даже собирался пріѣхать лично познакомиться со своим великим поклонником. Он умер, не успѣв этого сдѣлать; позднѣе пріѣхал его сын. Толстой был страшно рад ему; прощаясь, он сказал ему: "до свиданья, вас я больше, вѣроятно, не увижу, скорѣе увижусь с вашим отцом; что передать ему от вас?". Толстой был очень доволен, что на это сын ему серьезно отвѣтил: "передайте, что я продолжаю его дѣло".

Увлеченіе Толстого Генри Джорджем любопытно потому, что оно опять вскрывает одну из его обычных непослѣдовательностей. Толстой был принципіальный враг государства, всякаго государственнаго насилія. Он отрицал всякое государственное дѣйствіе, между тѣм сущность ученія Генри Джорджа, единый налог, требует энергичнаго государственнаго вмѣшательства и немыслимо внѣ государственных форм. И с той непослѣдовательностью, которая никогда не смущала Толстого, он в этом вопросѣ забыл о своей нелюбви к государству, он надѣялся на его силу для осуществленія своих взглядов.

Он равнодушно и даже отрицательно относился и к нашей революціи и к Государственной Думѣ; однако, когда она была созвана, у него блеснула мысль, что он может провести через нее закон об едином налогѣ. И он собрал всѣ доступныя ему брошюры Генри Джорджа и послал их в Думу для раздачи депутатам. Дума была распущена; и вот Толстой обращается к Столыпину, главѣ правительства; он пишет ему письмо, столь же любопытное, сколько и трогательное. Он убѣждает его познакомиться с Джорджем и сдѣлать то, что он совѣтует.

"Причины тѣх революціонных ужасов, которые происходят теперь в Россіи, имѣют очень глубокія основы, но одна, ближайшая из них, это — недовольство народа неправильным распредѣленіем земли... Всѣ, и революціонеры, и правительство, сознают это, но, к сожалѣнію, до сих пор ничего, кромѣ величайших глупостей и несправедливостей, не придумывали и не предложили для разрѣшенія этого вопроса. Всѣ эти мѣры — от соціалистическаго требованія отдачи всей земли народу до продажи через банки и отдачи крестьянам государственных земель и так же, как переселенія — все это или неосуществимыя фантазіи, или палліативы, имѣющіе тот недостаток, что только усиливают раздраженіе народа признаніем существующей несправедливости и предложеніем мѣр, не устраняющих ея... Вопрос не в том, кто владѣет землей и каким количеством, а в том, как уничтожить право собственности на землю и как сдѣлать возможным пользоваться ею одинаково доступно всѣм.

"И такое рѣшеніе земельнаго вопроса—уничтоженіе права собственности и установленіе равнаго для всѣх пользованія ею, — уже давно ясно и опредѣленно выработано ученіем "Единаго налога"

Генри Джорджа... Пожалуйста, хоть на короткое время, освободясь от тѣх удручающих забот и дѣл, свойственных вашему положенію, постарайтесь не с чужих слов, а сами своим умом познакомиться с ученіем Генри Джорджа и подумайте о том, что я вам предлагаю...

"Начните эту работу до Думы, и Дума будет не врагом вам, а помощником; помощниками, а не врагами будут вам и всѣ лучшіе люди, как из образованных людей, так и из народа".

Он не ограничился этим совѣтом; он послал при письмѣ перевод своего любимаго сочиненія Генри Джорджа, к слову сказать, того самаго, за изданіе котораго судился два года тому назад издатель "Посредника". Он послал в Петербург близкаго ему человѣка, переводчика Генри Джорджа, Николаева, совѣтуя Столыпину повидаться с ним и поговорить. Ему пришлось скоро убѣдиться, что на правительство нельзя разсчитывать в примѣненіи идей Генри Джорджа: у правительства были совсѣм иные аграрные идеалы. Толстой опять возлагает надежды на Думу; и если бы я сознательно не воздерживался от всяких личных воспоминаній, я бы мог разсказать, как за год до смерти он обращался ко мнѣ с просьбой и порученіем поднять в Думѣ этот вопрос.

Движеніе Генри Джорджа не привилось в Россіи; как и вездѣ, оно было встрѣчено несочувственно; одни смотрѣли на него, как на революціонное движеніе, другіе видѣли в нем палліатив, принципіальное признаніе буржуазнаго строя. Так, когда в эпоху свобод собирался в Москвѣ крестьянскій съѣзд и Толстой послал ему брошюры Генри Джорджа, то онѣ были устранены от раздачи участникам съѣзда. И тѣм не менѣе, если что-нибудь сдѣлано для того, чтобы идеи Генри Джорджа стали не одним достояніем ученых людей и спеціальных журналов, то в Россіи это сдѣлал Толстой.

Разрѣшеніе аграрнаго вопроса в духѣ идей Генри Джорджа — единственная положительная задача, которую Толстой предлагал государству. Внѣ ея он видѣл в государствѣ только помѣху, притѣсненія. И была спеціальная область, особенно ему близкая, гдѣ Толстой встрѣчался ежедневно с отрицательными проявленіями государственнаго бытія, притѣсненіями столь же несправедливыми, сколько и безполезными. Это — область свободы совѣсти, гоненій на сектантов, религіозных преслѣдованій. Ничто так не волновало Толстого, как извѣстія о подобных случаях, всяком гоненіи за религіозныя убѣжденія. Он дѣлал все, от него зависящее, чтобы помочь тому, кого гнали. Но что он мог сдѣлать? Только хлопотать, и это он дѣлал. Для гонимых он подыскивал защитников на судѣ, хлопотал в Сенатѣ, искал заступничества и поддержки даже для прошеніе на Высочайшее имя. Его письма полны забот о гонимых. Чтобы дать понятіе о том, что он дѣлал, я позволю себѣ напомнить про самое громкое и замѣтное из дѣл подобнаго рода — про его участіе в духоборческом переселеніи.

Духоборческое движеніе возникло совершенно независимо от Толстого; еще в XVIII вѣкѣ духоборы — по идеям христіанскіе коммунисты—были уже наказаны и высланы в наказаніе на Кавказ, сначала на Мокрыя горы, а потом в Карскую и Елизаветпольскую губерніи. С годами религіозное одушевленіе ослабѣло, и хотя духоборы выдѣлялись всегда строгостью жизни, трезвостью, трудолюбіем, но жили, как всѣ, может быть только болѣе богато, чѣм всѣ. Совершенно случайное обстоятельство подняло волну религіознаго воодушевленія. Как это часто бывает у религіозных нелегальных сект, общественные капиталы помѣщались на имя отдѣльных лиц, которым довѣряют, как их личную собственность. Так было и с одной из духоборческих руководительниц — Калмыковой. Но когда она умерла, ея наслѣдники хотѣли захватить себѣ общественное достояніе, и суд рѣшил спор в их пользу. Проигрыш дѣла в судѣ, неудача в отстаиваніи такого праваго дѣла толкнули духоборов на мысль, что причина их бѣды — уклоненіе от отцовских обычаев, забвеніе старых завѣтов. Отвѣтом на рѣщеніе суда был подъем религіозной волны, который завершился грандіозной демонстраціей, отказом от несенія военной службы и массовым сожженіем оружія на площади. Наши власти всегда строго относились к проявленіям антимилитаризма, уклоненія от военной службы, хотя бы из религіозных воззрѣній; тѣм болѣе обратила их вниманіе массовая попытка этого рода, и были немедленно приняты мѣры.

Я не буду ворошить этого печальнаго прошлаго и эти мѣры описывать. Позднѣе они получили техническое наименованіе: к духоборам была отправлена карательная экспедиція со всѣми ея атрибутами. А потом им было предписано выселиться; все их имущество было спѣшно продано за безцѣнок или просто брошено на произвол судьбы, и духоборы, совершнно разоренные, были разселены поодиночке в других уѣздах, гдѣ должны были жить под строгим надзором.

Тысячи духоборческих семей обречены были на вымираніе.

Извѣстіе о происшедшем страшно взволновало Толстого; он с особой любовью и внимательностью останавливался на отказах от военной службы, считая, что здѣсь, в военной службѣ, корень всего зла, что только этим путем, путем мирнаго отказа от участія в государственном насиліи, придет то царство мира, котораго он дожидался. Поэтому, грандіозное движеніе цѣлой массы именно в этом направленіи произвело на него сильнѣйшее впечатлѣніе; а когда он узнал про жестокую расправу, их постигшую, то был совершенно разстроен.

Надо было помочь, надо было убѣдиться, что слухи не преувеличены. Толстой посылает двух вѣрных лиц узнать, что было; он не брезгает необходимыми предосторожностями; оба посланца были отправлены врозь, под вымышлечными предлогами, с условными

шрифтами и т. п. Один из них был арестован и не добрался до духоборов, зато другой был там, все узнал и вернулся с подробным разсказом.

Тогда Толстой поднимает агитацію; он пишет письмо в Русскія Вѣдомости, открывает подписку; Русскія Вѣдомости немедленно закрыты. Он пишет за границей; и факт сам по себѣ и имя Толстого возбудили вниманіе. Духоборческое гоненіе стало европейским, всемірным скандалом; и трудно сказать, что бы вышло из этого, если бы дѣло неожиданно не получило совершенно новаго оборота. Когда императрица Марія Феодоровна была на Кавказѣ, духоборы подали ей петицію и получили разрѣшеніе выѣхать за границу. Это разрѣшеніе русским подданным, трезвым и трудолюбивым, полезным работникам выѣхать за границу, оставить родину было для них благодѣяніем; но не так легко было этим разрѣшеніем воспользоваться; выселеніе требовало денег, больших денег, а они были совершенно разорены. Ѣхать было возможно только вмѣстѣ, цѣлым обществом, а они были разселены и разобщены. Надо было добиваться всего общими усиліями, а их вождь был сослан, жил в Архангельской губерніи (Веригин).

Разрѣшеніе грозило остаться мертвой буквой, рекламой перед Европой, не имѣющей реальных послѣдствій, если бы на помощь духоборам в это время не явился Толстой.

Он был тѣм, кто нашел для них все, что им было нужно: деньги, мѣста для выселенія; который, наконец, своим именем и обаяніем мог достигнуть того, что поднял их всѣх из захолустья и двинул в чужую страну на неизвѣстное будущее.

Переселеніе духоборов сначала на Кипр, а потом в Канаду — цѣлая эпопея. О ней написаны книги и разсказывать ее я не могу. Напомню ее только в общих чертах. Прежде всего надо было достать денег, много денег. И вот Толстой опять обращается к обществу с просьбой о помощи; болѣе того: хотя в это время Толстой уже написал свое извѣстное заявленіе об отреченіи от литературной собственности, в явное противорѣчіе с этим, он продает "Воскресеніе" Марксу и всѣ полученныя деньги полностью жертвует духоборам.

Деньги были собраны; надо было найти мѣсто, куда выселяться. Толстой входит в сношенія с правительствами различных стран и послѣ долгих колебаній и переговоров останавливается на Канадѣ. Наконец, надо было устроить самое переселеніе; войти в подробности найма парохода, сношенія с пароходными обществами. Толстой принимает в этом самое живое участіе и ухитряется устроить так, что переселеніе духоборов в Америку обошлось по 32 рубля с души, вмѣсто тѣх 102 рублей, которые от них были затребованы.

И все это время для духоборов, раздавленных всей массой государственной мощи, разсѣянных среди чужого враждебнаго населенія, под непріязненным надзором властей, он, Толстой, был

единственным объединяющим началом, единым вождем. Он стал скоро извѣстен всѣм и каждому из них под фамильярным прозваніем "дѣдушки", и они поѣхали туда, в чужую страну, вѣря ему, его слову, его нравственному руководству. Веригин прибыл туда, когда все уже было окончено, когда невиданное раньше благополучіе процвѣло в этом русском уголкѣ далекой Америки. Духоборческая колонія в Канадѣ теперь — любопытное и поучительное явленіе; ея богатству, довольству, порядку завидуют американцы; трудно вѣрить, что все это создано тѣми, кто прибыл туда на пожертвованныя деньги, кто на родинѣ был избит и обижен, как вредный преступник, что все это добыто исключительно свободным трудом, в условіях свободы и права. Мучительно и больно смотрѣть, что может сдѣлать русскій народ, когда ему не мѣшают. И если духоборы не вымерли по одиночкѣ в кавказских селеніях, если они создали могущественную экономическую силу, то эту заслугу им и родинѣ их оказал не кто иной, как Толстой.

Я уже нѣсколько раз касался вопроса об отношеніях Толстого к государству, и слишком понятно, какія чувства оно в нем возбуждало. Не было почти ни одной попытки, начиная с дѣятельности педагогической и кончая работой для прокормленія голодающих, которая ни приводила бы его в столкновеніе с властью. Но отрицательное отношеніе Толстого к государству коренилось гораздо глубже, чѣм в чувствах и настроеніях, вызываемых такими столкновеніями; вѣдь эти конфликты, в сущности, для государства не обязательны; государство может легко и даже гораздо лучше существовать, не мѣшая ни учить ребят грамотѣ, ни кормить голодающих, не препятствуя сектантам вѣровать по своему. Толстой же отрицательно относился не к русской власти, а ко всякому государству принципіально. Он не раз говорил, что нѣт большой разницы между республикой, конституціей и неограниченным самодержавіем. Толстой был врагом самаго принципа государственнаго принужденія, государственнаго насилія. Сущность антагонизма его к государству выразил лучше всего он же сам в том знаменитом мѣстѣ из "В чем моя вѣра", гдѣ солдат, прогоняя нищаго, на замѣчаніе Толстого о том, что он поступает против Евангелія, сначала смутился, а потом спросил его: "А ты воинскій устав читал? Ну, так и не разговаривай". И вот это противорѣчіе между христіанской моралью, христіанскими государствами, идея о несовмѣстимости государства и ученія Христа есть основа общественнаго міровоззрѣнія Толстого.

Он стал анархистом, отрицателем государственности, всякаго государства; его нисколько не интересовали попытки улучшенія государственнаго механизма, борьба за политическія реформы; он был равнодушен к каким бы то ни было политическим теоріям. Отрицая государство, он естественно отрицал и наиболѣе типичныя, характерныя его проявленія, отрицал военную службу, войны, на-

ціональное чувство, самый патріотизм. Во всем этом он видѣл лишь формы того злого начала, которое устраняло жизнь по евангельским завѣтам. Но любопытно, что Толстой и здѣсь не остался послѣдователен.

Так, он отрицал власть, государственное принужденіе — и в то же время, вѣруя в ученіе Генри Джорджа, призывал власть к осуществленію его путем государственной дѣятельности.

Он отрицал войско, патріотизм — и он ж не только сражался в Севастополѣ, не только создал національную эпопею — "Войну и Мир", но во время японской войны в нем пробудился русскій патріотизм, он скорбѣл о національных неудачах, о пораженіях нашей арміи, страдал от капитуляціи Порт-Артура, от сдачи Небогатовской эскадры. Он сознавал сам, что все это непослѣдовательно, но не мог в себѣ этого побороть.

И отношеніе Толстого к государству ни в чем не проявилось так характерно, как в знаменитом письмѣ когда-то распространяемом рукописно, а потом вошедшем в его сочиненіе: "Царю и его помощникам", в котором он выразил свои завѣтныя мысли. Он не возлагает на государство никаких положительных задач; он убѣждает его только уменьшить то зло, которое оно дѣлает. В чем его совѣты царю? Не мѣшать вѣрить по совѣсти, не мѣшать учить народ; уничтожить исключительные законы, уничтожить всѣ привилегіи и преимущества — и только. Как истинный анархист, говоря с носителем государственной власти, Толстой не высказал ни одного пожеланія благого дѣла, не разсчитывал извлечь от государственной власти никакого блага, никакой пользы; терпя государство, как неизбѣжное зло, он мог совѣтовать только не увеличивать без мѣры и повода этого зла — и только.

Я поневолѣ кончаю. Тема не исчерпана; можно было еще вспомнить о Толстом и как о поборникѣ вегетаріанства, инициаторѣ вегетеріанских столовых. О Толстом, как о борцѣ с смертной казнью, родоначальникѣ земледѣльческих колоній и многом другом. Но для этого у меня времени не хватило бы. Вы видите и без того, что та дѣятельность, которая осталась в тѣни, которая померкла в лучах его міровой славы, что эта дѣятельность для блага страны, в которой он жил, была многоразлична и так велика, что если бы ее дѣлал не один Толстой, а десяток людей, ея хватило бы для того, чтобы они могли сказать, что они недаром прожили на землѣ.

Если бы я сознательно не ограничивал своей рѣчи узким вопросом, мною поставленным, я бы не удержался от искушенія выяснить перед концом, что же такое Толстой, как міровая загадка, как міровое явленіе? Вѣдь всѣми подмѣчен тот факт, своеобразный и загадочный в жизни Россіи и міра, что существованіе Толстого было дорого, независимо от того, что он дѣлал и что мог еще сдѣлать. Это всего лучше и яснѣе выражено в предсмертной мольбѣ Турге-

нева, когда он писал Толстому: "как я счастлив, что был вашим современником!" Современники Толстого чувствовали эту цѣнность его бытія. Когда Толстой был уже весь в прошлом, был дряхлѣющим старцем, то и для тѣх, кто от него ничего больше не ждал, кто его никогда не чаял увидѣть, и для тѣх было важно знать, что Толстой все-таки гдѣ-то живет, что он не миф, не легенда, что он живая дѣйствительность.

И когда его не стало, его потерю, как чисто личную, почувствовали всѣ, кто не только не имѣл с ним личных отношеній, но и никогда на них не разсчитывал. Всѣ одинаково поняли, что из жизни каждаго что-то ушло, что мір без Толстого стал уже не тѣм, чѣм был раньше, что хотя все, что Толстой сдѣлал, и осталось его нерукотворным памятником, хотя лучшее, что он мог создать, никто от нас уже не отнимет, однако это лучшее, все-таки, его живого не замѣняло; для всѣх было дорого не то, что он сдѣлал, а он сам, Толстой, как живой человѣк.

Откуда вытекло это своеобразное отношеніе к его личности, к его жизни?

Говорила ли в нас национальная гордость? Ибо хотя Толстой был на той высотѣ, гдѣ смолкало національное соревнованіе, хотя он был той общей гордостью, в чествованіи которой сошлись всѣ народы, всѣ государства, однако он был все-таки н а ш; и чѣм бы ни попрекали нас, чѣм бы ни хвастались перед нами другіе — своим богатством, своей культурой, своими порядками, мы, пока он был жив, могли дать всѣм гордый отвѣт: "а у нас есть Толстой".

Радовало ли нас то, что благодаря Толстому, мы пріобщились к вѣку титанов и подобно тому, как всякій любит воочію видѣть тѣ мѣста, гдѣ совершалась міровая исторія, глядя на Толстого, каждому было гордо и радостно думать, что вот этот старичок, идущій в поношенном пальто своей торопливой походкой, есть тот самый Толстой, имя котораго никогда не умрет, память о котором пройдет через вѣка?

Или это было то чувство Остапа Бульбы, с которым он в предсмертных муках искал глазами Тараса, зная, что он не сможет помочь, не сможет спасти его, но искал потому, что легче было страдать и умирать, сознавая, что батько все-таки видит и слышит?

Но что бы ни было причиной такого к нему отношенія, важно, что оно было; и эта любовь к нему со стороны громадной Россіи, со стороны тѣх, кто его даже не знал, вѣра в него, как в носителя правды, как безстрашнаго и неподкупнаго борца против зла, это напряженное вниманіе, с которым были устремлены на него милліоны глаз, это в свою очередь как бы отраженным ударом составляло силу, своеобразную силу Толстого.

Его положеніе в мірѣ было необычайно. Его личность и жизнь

были воплощенным отрицаніем существующих порядков, самых основ существующей жизни. Он не щадил государства, он со своими взглядами был несовмѣстим с государством, не русским только, но со всяким. Недаром доклад его на конгрессѣ мира был не допущен к прочтенію не у нас в Росссіи, а в Берлинѣ. А государственная власть, столь суровая к тѣм, кого считает врагами, почтительно останавливалась перед ним, своим отрицателем. В отношеніи к нему государственной власти, вообще столь безпощадной, наблюдалась также трогательная непослѣдовательность. Я уже говорил, как во время послѣдняго голода власть разрушала столовыя, которыя он организовывал; но это дѣлала только послѣ его ухода. Присутствіе Толстого избавляло столовую от разрушенія. Всего интереснѣе это выразилось в отношеніи к его сочиненіям: за распространеніе, даже за храненіе этих сочиненій карали, но самого Толстого власть не касалась. Прокуратура и суды дѣлали вид, что они не знают, что сочиненія, за храненіе которых они выносят приговоры, написаны Толстым. Толстой не раз дѣлал различныя попытки добиться личной отвѣтственности; он обращался с открытыми письмами к министрам, властям. На них не обращали вниманія. Я защищал два года тому назад в Петербургѣ его знакомаго, котораго судили и осудили за храненіе его сочиненій; Толстой написал к слѣдователю письмо, в котором заявлял, что сочиненія эти им написаны и им отданы на храненіе; слѣдователь оставил письмо без послѣдствій, ибо подпись его у нотаріуса не засвидѣтельствована. Видал ли кто-либо такое отношеніе со стороны слѣдственной власти к явкѣ с повинной? Только два дня тому назад издатель "Посредника" Горбунов осужден на год крѣпости за напечатаніе одной книги Толстого; она выпущена была еще при Толстом и два года, пока Толстой был жив, ея не касались. Государство, как воплощеніе народной мощи, почтительно останавливалось перед этим безсильным старцем, как воплощеніем народнаго генія, народной славы, народной любви.

И в популярном сочиненіи графа Алексѣя Толстого "Князѣ Серебряном", я думаю, всѣ помнят сцену, в которой символически отразилась эта же идея.

На Красную площадь вышел царь Иван Васильевич Грозный, олицетвореніе тогдашней государственной мощи; пылают костры, работают орудія пытки — грозный царь творит расправу с ослушниками. Народ терпѣливо и молча страдает. Но вот из толпы выходит тот, на котором тоже сосредоточилась народная любовь, — Василій блаженный. Он подходит к Грозному и спрашивает: "А меня что же ты не казнишь? Чѣм я хуже других?" Грозный раздраженно замахнулся копьем, но молчавшій дотолѣ народ загудѣл: "Не тронь, в наших головах ты волен, а его не тронь". И Грозный опустил руку, он не рѣшился посягнуть на того, в ком было утѣшеніе, отрада на-

рода. О, как должен был быть дорог в это время им, московским людям, этот блаженный, в лицѣ котораго народная душа так явно торжествовала побѣду над внѣшней силой!

И вот почему седьмого ноября, когда мы потеряли Толстого, мы потеряли и сами себя, и русскій народ проснулся не тѣм, чѣм был наканунѣ.

ТОЛСТОЙ И СУД

(ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦІЯ, ПРОЧИТАННАЯ В. А. МАКЛАКОВЫМ 25 ЯНВАРЯ 1914 Г. В КАЛАШНИКОВСКОЙ БИРЖѢ В ПОЛЬЗУ ТОЛСТОВСКАГО ОБЩЕСТВА).

Московское Толстовское Общество организуя ряд собраній в память Л. Н. Толстого, просило В. Малакова прочесть в Петербургѣ лекцію на тему: "Толстой и Суд". Она и состоялась 25-го января 1914 года. На ту же тему выступил раньше в Москвѣ Н. В. Давыдов.

РѢЧЬ МАКЛАКОВА.

Отрицательное отношеніе Толстого к суду так общеизвѣстно, что особая лекція на эту тему возбуждает недоумѣніе, Не потому, чтобы, говоря о Толстом, слѣдовало задаваться самонадѣянной мыслью сказать что-либо новое, а потому, что непонятно, с какой цѣлью говорить, о том, что всѣм вѣдомо?

Я и хочу сразу объяснить мою цѣль. В вечерѣ памяти Толстого, устроенном Обществом его имени, можно вообще преслѣдовать только одну цѣль — его пониманіе. А с Толстым это самое трудное. Не потому, чтобы Толстой, как мыслитель, вѣрнѣе, как діалектик, не имѣл гигантской силы художника, но потому, что все его міровоззрѣніе так безконечно далеко от ученія міра, каких бы то ни было оттѣнков и направленій, что и тѣ, которые считают себя его вѣрными поклонниками, и тѣ, которые побѣдоносно его ниспровергают двумя-тремя аргументами, часто равно далеки от полнаго его пониманія.

И с точки зрѣнія *пониманія* Толстого, его отношеніе к суду — благодарная тема. Толстой отрицает суд принципіально, как учрежденіе вредное, и это с его стороны не парадокс, а глубокое убѣжденіе. А мы, люди міра, которые многое и отрицаем, и порицаем, мы не можем представить себѣ общежитія без суда, не знаем болѣе высокой функціи государства.

И в отношеніи Толстого к суду есть другая основная черта — оно неизмѣнно; и в художественных, и в философских сочиненіях, и до так называемаго перелома, и послѣ него (я говорю "так называемаго", ибо настоящаго перелома не было вовсе, и он только оптическій обман, в созданіи котораго повинен сам Толстой), — словом, в разное время и в разных сочиненіях, всякій раз, когда Толстой заговаривал о судѣ, он неизмѣнно, то страстно и гнѣвно, то добродушно и шутливо, но одинаково высказывал это отрицательное отношеніе к самому учрежденію и к людям, которые ему служат.

Такое отношеніе представляет загадку. Мы не можем льстить себя надеждою, что понимаем Толстого, пока ее не разгадали, пока нам не станет ясно, откуда взялось это непоколебимое отрицаніе Толстым того, что дорого міру.

Вѣдь это его отношеніе не случайно и не могло быть случайно. Оно неразрывно связано с общим его міровоззрѣніем, с его религіозным — он любил это понятіе и это слово — ученіем. И потому мы не можем говорить о судѣ, не затронув того ученія Толстого, которое составляло сущность его, как мірового явленія. Я не собираюсь ни проповѣдывать, ни критиковать, я хочу его только напомнить, поскольку это необходимо для поставленной цѣли.

Религіозное ученіе Толстого было им формулировано сравнительно поздно; но оно само не было чѣм-то неожиданным; всѣ элементы его были и раньше. Это ученіе соотвѣтствовало его всегдашнему настроенію. В Толстом не было перелома, было только развитіе. Оттого-то художественныя произведенія ранних періодов так сходятся с философскими сочиненіями позднѣйших; послѣдними можно объяснить особенности первых, как первыя иллюстрируют вторыя. И потому-то для пониманія Толстого можно исходить из его ученія в том его видѣ, каким оно было впослѣдствіи подробно развито.

Это ученіе, которое Толстой не любил называть своим, относя его к его первоисточнику — Христу, было изложено им в рядѣ сочиненій. Но с совершенно достаточной полнотой и, пожалуй, наибольшей страстностью, оно было выражено в одном из наиболѣе сильных сочиненій — "В чем моя вѣра", сочиненіи, которое долго было под запретом духовной цензуры, но было давно извѣстно всему міру по рукописям. В нем впервые произошел коренной разрыв Толстого и ученія міра, послѣ котораго обѣ стороны просто перестали понимать друг друга, и болѣе всего потому, что не замѣтили сами всей полноты разрыва.

В чем же сущность этого ученія, поскольку оно касается суда, т. е. одной из форм организованнаго общежитія, практических отношеній между людьми?

В этом сочиненіи Толстой впервые провозгласил, как основу Христова ученія, догмат непротивленія злу насиліем, отрицаніе всякаго насилія над человѣком, всякаго принужденія, во имя чего бы

оно ни дѣлалось и от кого бы ни исходило, т. е. провозгласил догмат, который столько соблазнял мір.

Мір не мог не то что *принять*, но просто *понять* это ученіе, ибо весь общественный строй стоит на обратном принципѣ. Кант говорит, что есть формы мышленія, категоріи воспріятія, внѣ которых мы себѣ не представляем вещей. Аналогично с этим можно сказать, что есть тоже категоріи мышленія по общественным вопросам: мы не можем представить себѣ человѣка внѣ общежитія, общежитіе внѣ государства, а государство внѣ принужденія. Если даже допустить, что все это может существовать, мы все-таки не умѣем этого мыслить.

Мы, люди міра, всѣх направленій, которые иногда борются и уничтожают друг друга, поклонники и самаго необузданнаго абсолютизма, и соціалистической демократіи, одинаково сходимся в одном: что государство, как принцип, есть благо, а принужденіе — неотъемлемое право государства. Для міра это аксіома, которая не требует доказательств. Правда, все это может стать источником зла. Мы можем возмущаться и тѣми цѣлями, которыя иногда ставит себѣ государство, если, напримѣр, станет основывать блага меньшинства на угнетеніи большинства и тѣми пріемами принужденія, к которым оно прибѣгает; все это дѣлит нас на партіи и направленія. Но в основном принципѣ всѣ мы согласны. И даже тѣ, кто называют себя анархистами, и тѣ, если вникнуть в их построеніе, чего за недостатком времени я дѣлать не стану, в сущности стоят на той же позиціи.

Это вѣрованіе міра старше всяких религій; оно началось тогда же, когда началось общежитіе, когда зародилась впервые общественная жизнь. И когда появилось ученіе Христа и Его проповѣдь непротивленія злу, т. е. то ученіе, в которое увѣровал Толстой, оно нисколько не поколебало государства; оно только поставило перед ним новую задачу: мір стал стремиться принудительно, через государство, осуществлять завѣты Христа.

Этим открылось благодарное и необъятное поле для практической дѣятельности, а для моралистов-историков — интересная тема о вліяніи христіанства на человѣческія отношенія.

Условія государственной жизни того времени, как и теперь, стояли безконечно ниже завѣтов Христа; можно было с ними бороться во имя Христа; наиболѣе передовая часть людей это и дѣлала. Они не говорили, что государство и христіанство несовмѣстимы; они христіанством стали исправлять государство. То они клеймили пріемы, которыми пользовалось государство, жестокость, пытки, казни и т. п.; то иначе, шире и глубже ставили цѣли для государства; когда Бисмарк проводил свои страховые законы для рабочих, то на возраженіе, что в его законах сказывается соціализм, отрицаніе собственности, у него был неизмѣнный отвѣт: "соціальное законодательство есть практическое христіанство sans phrases".

Я ни словом не касаюсь вопроса о том, можно ли христіанскому ученію приписать какое-либо вліяніе на развитіе общественной жизни, можно ли вообще объяснять историческій процесс вліяніем идей, а не желѣзными законами общественной природы. Это — вопрос другой категоріи. В сферѣ практической жизни, при столкновеніи людских взглядов, все сводится все-таки к идеям, если их и трактовать как производныя; и эти идеи нашли свой авторитет в христіанствѣ.

Конечно, для всѣх было ясно, что завѣты Христа безконечно далеки от возможности их осуществленія в практической жизни. Но это не смутило міра. Христіанство было принято, как идеал, к которому идет человѣчество длинным процессом. Воплощеніе христіанства было представлено не дѣлом одного человѣка, а всего человѣчества, задачей не одного дня, а всемірной исторіи. Христіанство стало подлежать закону постепенности. Многое можно было осуществить и сейчас; можно было изгнать пытки из судов, отказаться от поголовнаго истребленія на войнѣ мирнаго населенія, как это было в Ветхом Завѣтѣ; многое будет сдѣлано завтра: так на очереди стоит безусловная отмѣна смертной казни; а многое останется навсегда, как идеал человѣческой высоты, а не дѣло принудительнаго осуществленія. Можно ли, например, принуждать подставлять щеку обидчику или раздавать имѣніе нищим? Так завѣты Христа были восприняты, но и переработаны привычками міра.

Государство, конечно, выиграло от соприкосновенія с христіанством; но христіанство было принижено до немощей человѣческой природы. Как бы то ни было, христіанство не разрушило государства, не разрушило ученія міра, а поставило перед ним новыя задачи, их возвысило и облагородило, и этим как будто еще больше доказало возвышенное назначеніе государства.

И вот против этого ученія міра, против такого пониманія христіанства и вышел Толстой во имя Христа.

"Я не толковать хочу ученіе Христа", — заявил он в своем сочиненіи "В чем моя вѣра"; — "я хотѣл бы запретить, чтобы его толковали", т. е. запретить, чтобы его истолковали так, как его истолковало по-своему ученіе міра.

Христос учил — не противиться злу. Это не аллегорія, не метафора, это истина простая и элементарная. Ни частныя лица, ни тѣм паче общество и государство, ни во имя какой цѣли, ни при каких условіях — не должны прибѣгать к насилію для отвращенія зла.

Это было так странно и противоестественно, что эту часть ученія Толстого даже его поклонники склонны были считать преувеличеніем или увлеченіем. Во имя практичности его ученія они хотѣли заставить его от этого отказаться.

Но Толстой не сдавался.

"Ученым людям заповѣдь непротивленія злу насиліем кажется преувеличеніем и даже неразуміем.

"Они не замѣчают того, что сказать, что в ученіи Христа заповѣдь о непротивленіи злу насиліем есть преувеличеніе, — все равно, что сказать, что в ученіи о кругѣ положеніе о равенствѣ радіусов круга есть преувеличеніе.Совѣтовать откинуть или умѣрить положеніе о равенствѣ радіусов в кругѣ — значит не понимать того, что есть круг. Совѣтовать откинуть или умѣрить в жизненном ученіи Христа заповѣдь о непротивленіи злу насиліем — значит не понимать ученія" ("Царство Божіе внутри нас", стр. 387).

Толстой предвидѣл всѣ возможныя возраженія. Но они не смущали его и он отстаивал свою мысль, что таково ученіе Христа.

"Христос говорит то, что говорит. Можно утверждать, что всегдашнее исполненіе этого правила очень трудно; можно не соглашаться с тѣм, что каждый человѣк будет блажен, исполняя это правило; можно сказать, что это глупо, как говорят невѣрующіе; что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и слѣдовали по глупости Его ученики, но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и опредѣленно то самое, что хотѣл сказать: именно, что человѣк, по Его ученію, должен не противиться злу и что потому тот, кто принял Его ученіе, не может противиться злу" ("В чем моя вѣра", стр. 529).

Что было дѣлать міру с этим упрямством, с этим желаніем понимать ученіе Христа буквально, не как метафору, не как аллегорію, а как практическое и необходимое требованіе? Мір не мог счесть его за серьезное, оно противорѣчило всему складу его жизни, всѣм его понятіям. И он опрокинул это ученіе простым, элементарным возраженіем.

Это мѣтко подмѣтил человѣк, который сочетал теплую вѣру в Христа, как в Бога, с умом государственника — Владимір Соловьев. В его знаменитых "Трех разговорах", в спорѣ толстовца-князя с единомышленником Соловьева г. З., приводится такой аргумент:

"*Князь.* А! впрочем, догадываюсь: вы разумѣете тот знаменитый случай, когда в пустынном мѣстѣ какой-нибудь отец видит разъяреннаго мерзавца, который бросается на его невинную (для большаго эффекта прибавляют еще малолѣтнюю) дочь, чтобы совершить над нею гнусное злодѣяніе, и вот несчастный отец, не имѣя возможности иначе защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слыхал этот аргумент!

Г. З. Замѣчательно, однако, не то, что вы тысячу раз его слыхали, а то, что никто ни одного раза не слыхал от ваших единомышленников дѣльнаго или хоть сколько-нибудь благовиднаго возраженія на этот простой аргумент".

Это справедливо и мѣтко; и любопытно, что оба правы, и князь, и г. З. На этот аргумент г. З., неотразимый, мы, люди міра, дѣйстви-

тельно, не слыхали и не могли услышать ни одного серьезнаго возраженія. Самый примѣр, несмотря на всю свою фантастичность, всетаки взят из жизни. Когда тѣ, которые считали себя послѣдователями Толстого, пытались по его ученію устраивать земледѣльческія колоніи, и в этих колоніях организовывать правильныя соціальныя отношенія, обходясь в то же самое время без принужденія, жестокая дѣйствительность поставила их лицом к лицу с этим главным мірским возраженіем. Сосѣдніе крестьяне, наслышавшись, что новые хозяева злу не противятся, приходили к ним во двор, уводили их скот, лошадей, брали повозки и упряжь; другіе рубили дрова, снимали их хлѣб и т. д., и когда против этих актов насилія несчастные толстовцы отвѣчали увѣщаніями и убѣжденіями, это было смѣшно; мір справедливо смѣялся и зубоскалил. Владимір Соловьев был прав.

Но, с другой стороны, это возраженіе г. З. обнаруживает такое полное непониманіе Толстого, такую пропасть в исходной точкѣ ученія его и міра, свидѣтельствует о таком безнадежном и неустранимом разномысліи, что на этом споры кончались, и Соловьев мѣтко подмѣтил, что князю только и осталось, что отвѣтить своему собесѣднику: "тысячу раз я слыхал такой аргумент".

Откуда же взялось это коренное разномысліе?

Оно явилось потому, что міровоззрѣніе Толстого нельзя брать по частям, в отдѣльных его проявленіях, его можно только цѣликом принять или отвергнуть; нельзя представлять себѣ жизнь в условіях міра, по взглядам міра и его оцѣнкой вещей, и эту жизнь по ученію міра устраивать и защищать толстовскими принципами непротивленія.

Тѣ, что так опровергает Толстого, не хотят или не могут замѣтить, что с точки зрѣнія Толстого то зло, которое они приводят в примѣр и которому рекомендуют противиться, вовсе не зло.

Кто этого не понимает, или не признает, кто способен страдать от этого зла, кто не хочет или не может подняться до сознанія, что это не зло, тот не может понять ученія непротивленія.

И так как ученіе міра считает благом именно то, на что покушаются, и хочет устроить свою жизнь с непремѣнным сохраненіем этого блага, то теорія непротивленія при этих условіях есть простая безсмыслица.

Если я собственность считаю благом, необходимым для устройства моей жизни, необходимым для устройства общественнаго порядка (а мы всѣ так думаем и разнимся между собою только в деталях), то я не могу принять теорію непротивленія тому, кто эту собственность у меня отнимает. Но тогда я не могу принять не только теоріи непротивленія, но и заповѣди Христа — отдай кафтан, когда у тебя просят рубашку, не могу принять его грозных слов о том, что богатому не войти в царство небесное.

Если я страдаю от нанесенной мнѣ обиды, я не могу послу-

шаться заповѣди — подставь лѣвую щеку, когда тебя ударят в правую; но если я, как Христос, буду жалѣть обидчика, буду просить у Бога прощенія для него, если в моих глазах достоин жалости и состраданія не жертва обиды, а тот несчастный, который нашел в нанесеніи ея удовольствіе, то будет ли страшна и ужасна для меня заповѣдь непротивленія обидѣ насиліем?

А самая жизнь? Конечно, жизнь всѣ оберегают. Но если понять и принять слова Христа: "не бойтесь убивающих тѣло, а душу не могущих убить", если смотрѣть на смерть, как на радостную минуту соединенія с Богом, а на земную жизнь, как на юдоль печали и скорби, удивимся ли мы требованію, чтобы для защиты своей жизни не чинили насилія над другими?

Мы, люди міра, не мыслим общежитія при таких правилах, не мыслим общества по завѣтам Христа. И так как потребность общежитія для нас болѣе несомнѣнна, чѣм буквальное исполненіе завѣтов Христа, то мы и пожертвовали им для нашего общежитія.

Но если вѣрить, что блаженны и счастливы тѣ, над кѣм смѣются, кого заушают и обижают, кого гонят и преслѣдуют, кого убивают во имя Христа; если дойти до той высоты, чтобы славить Бога за то, что Он сподобил счастья страданья, и искренно молиться за обидчика, если стать на эту высоту, то нѣт ничего смѣшного в заповѣди непротивленія злу.

Мір, поклоняясь Толстому, смѣется над ученіем Толстого, — и он послѣдователен. Тот мір, который создал культуру и дорожит ею превыше всего, который не понимает ея без общежитія, и борется с тѣми, кто на нее покушается, тот мір не может принять заповѣди непротивленія. Но тот, кто ясно понял, что эта культура — тлѣн и суета, что счастье не в этом, тому смѣшны разсужденія міра.

Историки разсказывают, что в древнем Римѣ, в эпоху гоненій, христіанам давали в руки оружіе, чтобы они боролись друг с другом, защищали свою жизнь против гладіаторов; они кидали оружіе и защищаться не хотѣли. Древній мір смѣялся над их глупостью. Но развѣ теперь, когда мы видим и знаем их побужденія, когда мысленно становимся на высоту их міровоззрѣнія, развѣ мы не понимаем, что смѣшны были не они, а тот мір, который над ними смѣялся?

Вот та точка зрѣнія на жизнь, из которой исходит Толстой. Только усвоив ее, можно понять ученіе о непротивленіи, и про нее нужно сказать то, что Толстой говорил про Христа, что ее можно порицать, ее можно отрицать, но Толстой говорил именно это, и мы не поймем Толстого внѣ этого.

Мір не принял ученія Толстого, у него были иные идеалы. Но міровое значеніе Толстого именно в этом; его историческая позиція, которая взволновала весь мір, обратила на него общее вниманіе, заключалась именно в этой борьбѣ с ученіем міра, в борьбѣ, в кото-

рой он стоял совершенно одиноким, равно далеким от всѣх политических направленій, в этой борьбѣ с христіанством во имя Христа.

В этом — сущность Толстого, как мірового явленія, и глубоко знаменательно, что с этим ученіем выступил именно Толстой, и что это слово было сказано именно в Россіи.

Это сдѣлал Толстой... Это и мог сдѣлать только тот человѣк, которому было дано понять ошибочность ученія міра, кто имѣл возможность и право его осудить. Исходный пункт всего міровоззрѣнія Толстого — это призрачность мірских благ, безсмыслица мірского счастья. Без этой основной предпосылки, все ученіе будет неясно. Это сказал и сам Толстой в своем сочиненіи "В чем моя вѣра".

"Если я один среди міра людей, не исполняющих ученія Христа, — говорят обыкновенно, — стану исполнять его, буду отдавать то, что имѣю, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы итти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру от голода, меня изобьют до смерти, и если не изобьют, то посадят в тюрьму или разстрѣляют, и я напрасно погублю все счастье своей жизни и всю свою жизнь" ("В чем моя вѣра").

Так возражают Толстому, и Толстой говорит:

"Христос предлагал Свое ученіе о жизни, как спасеніе от той губительной жизни, которою живут люди, не слѣдуя Его ученію, и и вдруг я говорю, что я бы и рад послѣдовать Его ученію, да мнѣ жалко погубить свою жизнь; Христос учил спасенію от погибельной жизни, а я жалѣю эту погибельную жизнь. Стало быть я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной, считаю эту жизнь чѣм-то дѣйствительным, мнѣ принадлежащим и хорошим" ("В чем моя вѣра").

Это правда. Для того, чтобы принять то ученіе, которое Толстой проповѣдует, надо знать, ясно чувствовать, что то ученіе міра, которым мы живем, ученіе погибельное, что оно не дает блага и счастья. И это Толстой испытал. Только поэтому он и мог говорить об этом. Его первое сочиненіе "Исповѣдь", появившееся двумя годами раньше "Вѣры", открывает ключ ко всему его ученію. В этом сочиненіи впервые Толстой выступил с ученіем о ничтожности того мірского счастья, которое считал таковым мір.

И кто же, как ни он, мог об этом судить? Кто из нас, людей міра, с нашими понятіями о счастьи, не желал бы быть на мѣстѣ Толстого?

Вѣдь он в изобиліи обладал всѣм, что принято считать человѣческим счастьем. Он был богат, с громадными связями, с несокрушимым здоровьем, счастливый в семейной жизни, надѣленный великим талантом и чуткой совѣстью, истый олимпіец. Кто из нас не завидовал бы Толстому, его дивной судьбѣ, его дивной организаціи? И что же? Всѣ эти блага міра, сосредоточенныя на нем, баловнѣ судьбы, не спасли его от отчаянія. И отчаялся он не от какого-нибудь внезапнаго, преходящаго несчастья, даже не от горя других, с которым он бы столкнулся, он страдал и погибал от *безсмыслицы*

собственнаго счастья. В момент наибольшей высоты своего счастья он думал о самоубійствѣ. Всѣ блага міра, о которых он имѣл право судить, ибо ими обладал в изобиліи, показались ему суетой, жизнь, ими наполненная, стала не радостью, а тяжелым бременем; и все это совершилось оттого, что Толстой понял, что нѣт ни одного людского счастья, *которое не уничтожалось бы смертью.* Своей чуткой душой он понял основное пртиворѣчіе человѣческой жизни: человѣк живет для себя, только для себя, весь мір ему важен постольку, поскольку он служит ему; а наступает смерть, и этот мір продолжает жить, а та ничтожная человѣческая личность, которая казалась важнѣе всего, вдруг исчезает. И эта безсмыслица счастья, которая кончается смертью, эта безсмыслица жизни, если она не безконечная, привела Толстого в такое отчаяніе, что он думал о смерти. Вы помните эту художественную картину, которую он нарисовал в "Исповѣди".

"Давно уже разсказана восточная басня про путника, застигнутаго в степи разъяренным звѣрем. Спасаясь от звѣря, путник вскакивает в безводный колодец, но на днѣ колодца видит дракона, разинувшаго пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смѣя вылѣзть, чтобы не погибнуть от разъяреннаго звѣря, не смѣя и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за вѣтви растущаго в разселинѣ колодца дикаго куста и держится на нем. Руки его ослабѣвают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обѣих сторон ждущей его; но он все держится, и видит, что двѣ мыши, одна черная, другая бѣлая, равномѣрно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают его. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону, Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их".

Да, тѣ люди, которые могли в ожиданіи смерти услаждаться лизаніем меда, эти люди и были счастливцами; если им и суждено было прозрѣть, то только тогда, когда уже поздно одуматься. Но такіе люди, как Толстой, увидали эту безсмыслицу гораздо раньше, и она для них убила радости жизни. Но для того, чтобы это было возможно и убѣдительно, нужно было, чтобы это случилось именно с Толстым, которому всѣ блага жизни были открыты, которому никому завидовать не приходилось. И потому глубоко знаменательно и необходимо было, чтобы с этой проповѣдью отреченія от міра, презрѣнія к міру вышел баловень міра — Толстой.

И не только знаменательно, но необходимо было, чтобы ученіе это родилось у нас в Россіи. Толстой — русскій человѣк; это не только факт, которому мы можем радоваться, это необходимость, которой мы можем гордиться и утѣшаться.

Вѣдь ученіе Толстого, или, лучше, его вѣра, не простой каприз

оригинальнаго ума, своеобразнаго генія. Своей "Исповѣдью" Толстой повѣдал, кто спас его от отчаянія, кто внушил ему его вѣру.

Он обращался к умным и разумным, к людям науки и богословія, и они не успокоили его. Там даже не ставили того вопроса, на который он тщетно искал отвѣта. Успокоило Толстого его сближеніе с простым, темным, неразвитым рабочим людом.

"И я стал сближаться с вѣрующими из бѣдных, простых, неученых людей, странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этих людей из народа было тоже христіанское, как вѣроученіе мнимо-вѣрующих из нашего круга.

"И я стал вглядываться в жизнь и вѣрованія этих людей, и чѣм больше я вглядывался, тѣм больше убѣждался, что у них есть настоящая вѣра, что вѣра их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни.

"В противоположность тому, что чѣм мы умнѣе, тѣм менѣе понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмѣшку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти, и страдают с спокойствіем, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаянія, есть самое рѣдкое исключеніе в нашем кругѣ, — смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое рѣдкое исключеніе среди народа" ("Исповѣдь").

Эти люди и дали ему элементы его будущей вѣры. Это и мог сдѣлать только этот, еще непонятый, еще неразгаданный до конца русскій народ, который то огорчает, то восхищает, то возбуждает надежды, то разочаровывает, идет какой-то особенной дорогой, в котором сами недостатки составляют его обаяніе.

Только этот народ мог дать ему это презрѣніе к мірскому счастью, ибо этот народ не создал большой матеріальной культуры, мало ею пользуется, но потому и не стал ея рабом. Заботы об этой культурѣ не сдѣлались для него превыше всего, не наложили на него своей печати, не превратили его в того евангельскаго юношу, которому нѣт входа в царство небесное.

Нельзя служить Богу и мамонѣ, и русскій народ, который мало служит мамонѣ, тѣм самым мог думать о Богѣ. Отсюда в нем, в этом народѣ-богоносцѣ, создалась эта чуткая совѣсть, трепетное исканіе Бога, желаніе чего-то безусловнаго, пренебреженіе к личному благу, собственному счастью во имя чего-то другого и высшаго.

Это свойство проявляется на различных ступенях и на различных полюсах; оно было и в том мірѣ простых вѣрующих людей, о которых говорил Толстой, в мірѣ людей, вѣрующих в Бога, живущих мыслью о Нем, исканіем Его. Но тѣ же свойства можно бы было найти и на противоположном полюсѣ, среди людей, отвернувшихся от Бога, от мысли о загробной жизни, среди людей, воспламененных фанатизмом общаго блага, которые ради этого общаго блага жертво-

вали своей личной жизнью, шли на преступленія, на гибель, на потерю добраго имени; тѣх людей, нравственный облик которых так чудно выражен в стихотвореніи в прозѣ Тургенева: "Дура, — сказал про нее мір; святая, — прибавил художник".

Но полюсы сходятся. И между этими людьми, у которых, казалось бы, нѣт ничего общаго, вдруг оказалось одинаковое пониманіе цѣли собственной жизни. Вы помните один из посмертных разсказов Толстого "Божеское и человѣческое"; там нарисована картина встрѣчи старика-раскольника и революціонера.

Раскольник видѣл, как революціонера везут на казнь. И спокойствіе обреченнаго убѣдило его, что он знает Бога.

"Лошади тронулись, и колесница с сидѣвшим в ней свѣтлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громыхая по камням, выѣхала за ворота.

"Раскольник слѣз с окна, сѣл на койку и задумался. "Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затѣм и задавят его веревкой, чтобы не открыл никому".

И он встрѣчается потом с единомышленником казненнаго, и идет научиться у него, разспросить об их вѣрѣ.

Такіе русскіе люди часто не умѣют создать личнаго благополучія, не умѣют использовать своих привилегій и даже организовать прочный общественный порядок, они вызывают высокомѣрное сожалѣніе со стороны практических культурных людей, которые скорбят об их неприспособленности к жизни личной и общественной; но они же поражают тѣх, кто имѣет очи, чтобы видѣть, высотой моральнаго экстаза; все это — проявленіе нашей русской жизни, національная черта, а пессимисты скажут — ступень нашей культурной неразвитости. Но только этот народ, с этими свойствами, мог внушить его вѣру Толстому.

Мір не принял его ученія, и он был прав; но почему же это ученіе, которое явилось таким вызовом культурному міру, имѣло все-таки такой колоссальный успѣх, произвело такое громадное впечатлѣніе? Почему? Потому что мір брал из него то, чего хотѣлось.

Одни брали рѣзкое осужденіе существующаго порядка вещей, обличеніе богатых и сильных, и зачисляли и Толстого в разряд соціальных борцов. Другіе брали не менѣе рѣзкое обличеніе революціонных мечтаній, и боролись с революціонерами во имя Толстого. Третьи заимствовали из него политическій индифферентизм, равнодушіе к политическим формам, к политической дѣятельности. Для Толстого нѣт преимущества у демократической республики перед самым неограниченным самодержавіем, ибо то и другое одинаково далеко от завѣтов Христа.

Но ученіе Толстого о ничтожествѣ мірских благ было особенно на руку тѣм, кто дорожил этими благами. В XIX вѣкѣ, в момент наибольшей высоты матеріальной культуры, невиданнаго расцвѣта,

когда за этой культурой пошли тѣ, кто были ею обдѣлены, когда завязывалась соціальная борьба, грозившая катастрофой, между имущими и неимущими, между тѣми, кто защищал прежній порядок, и тѣми, которые шли на него во имя тѣх благ, от которых были отрѣзаны, в это время для обладателей этих благ было полезно и цѣнно ученіе Толстого, которое говорило, что они, обладатели, достойны сожалѣнія, что они несчастны, что в обладаніи этими благами нѣт радости, что счастливы тѣ, кто их не имѣет. О, ученіе Толстого не было страшно для них; не была опасна проповѣдь о ничтожествѣ земного счастья, которым они дорожили; не было риска, что он соблазнит их своим презрѣніем к жизни, своим исканіем смерти; все это было неопасно; важно было, что они, счастливцы этого міра, становились как будто жертвами, и что, вмѣсто борьбы насиліем за сохраненіе своих привилегій, они могли доказывать неимущим и добивающимся, что они, неимущіе, счастливѣе их.

И мір не мог не быть потрясен тѣм неожиданным зрѣлищем, которое им дал Толстой; что в XIX вѣкѣ, в момент наибольшаго подъема культуры, явился человѣк высшей культуры, который ее отрицал, что в эпоху наисильнѣйшаго обостренія соціальной борьбы каким-то анахронизмом вышел Толстой, не как соціальный борец, а как религіозный учитель, проповѣдник нищеты и обличитель богатства. И в этом — историческое мѣсто Толстого.

С высоты такого воззрѣнія, как иначе, как отрицательно, мог смотрѣть Толсттой на суд, одно из основных проявленій государственнаго принужденія, одну из попыток насильственной охраны благ этого міра? И, конечно, в этом отрицательном отношеніи он осуждал не форму, не несовершенство судов, не недостатки процесса, не жестокость наказаній, не судебныя ошибки, — он осуждал самый принцип суда.

Это не удивительно, и для всякаго, кто понимает Толстого, иначе быть не могло; удивительнѣе скорѣе эта особливая враждебность Толстого к суду; ни на какую другую дѣятельность, кромѣ развѣ военной, Толстой не нападал так настойчиво и постоянно, как именно на судебную.

Вѣдь это видно даже в сочиненіи "В чем моя вѣра". Там провозглашен общій принцип, отрицающій государство: не противься злу... Несмотря на это, Толстой неоднократно вновь возвращается к суду, берет спеціальный текст Христа "не судите" и много раз подробно доказывает, что этими словами Христос запрещал не нравственное осужденіе, а самое учрежденіе человѣческаго суда, опредѣленной государственной функціи.

И интересно спросить себя: почему же Толстой оказывает такое особенно вниманіе судам? Отрицает именно их так настойчиво?

Да потому именно, что для нас, для людей міра, суд не только

самое необходимое, но и самое почетное проявленіе государственности.

Ни для кого не тайна то особенное чувство уваженія, которым окружены суды, если не в практическом их проявленіи, то в принципѣ. Отрицать суд для нас — значит отрицать государство. Государство мыслимо без парламента, даже без войска, — об этом мечтают пацифисты; но оно немыслимо без суда. Сами пацифисты потому и мечтают об уничтоженіи войн, что думают замѣнить их международным судом.

С нашей точки зрѣнія, что может быть выше дѣятельности суда? Защищать закон, устанавливать истину в спорѣ — что может быть почетнѣе этого? Законодательная дѣятельность почетна, конечно; но вѣдь в ней непремѣнно проявляется произвол, котораго люди боятся, и за это ее осуждают. Дѣятельность исполнительной власти? Она необходима в государственном строѣ, но в ней есть элемент непосредственнаго насилія, и потому она особенным сочувствіем общества не пользуется.

Совсѣм иное судебная дѣятельность. В ней нѣт ни произвола, ни насилія; это не работа ни воли, ни рук, это работа исключительно ума и совѣсти; разрѣшеніе спора, отысканіе и объявленіе правды. Судья не говорит и не может говорить: "я так хочу", судья может сказать только: "так было".

Чѣм нам, людям міра, рисуется судья? Независимым человѣком, абсолютно безпристрастным и справедливым, который напряженіем мысли и совѣсти, среди спора различных теченій, отыскивает правду и ее объявляет. И перед его рѣшеніем, как перед приговором врача, почтительно склоняются и спорщики, и самая власть.

Таков идеал; пусть жизнь далека от него. Пусть судьи бывают зависимы, запуганы, пусть мечтают они о карьерѣ и о служебных успѣхах. Но это преходящія условія, болѣзнь времени. Настоящій же судья должен быть именно таков.

И Толстой относился отрицательно именно к такому идеальному судьѣ; отрицая суд, он не указывал на его несоотвѣтствіе с идеалом; он просто отрицал самый идеал, как учрежденіе вредное. И, конечно, для такого отрицанія у него было достаточно основаній, они приведены в сочиненіи "В чем моя вѣра".

"Христос говорит: не противься злому. Цѣль судов — противиться злому. Христос предписывает: дѣлать добро за зло. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: не разбирать добрых и злых. Суды только и дѣлают, что этот разбор. Христос говорит: прощать всѣм. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов, дѣлать добро ненавидящим. Суды не прощают, а наказывают, дѣлают не добро, а зло тѣм, которых они называют врагами общества". ("В чем моя вѣра").

Этих соображеній достаточно для того, чтобы понять, почему

Толстой отрицает суд. Но почему это особенно непріязненное к нему чувство, это особенно настойчивое его порицаніе?

Это станет ясно из других его сочиненій. Толстой не раз, в разных произведеніях задавался вопросом: почему люди, которым Христос открыл истину, указал путь к спасенію и счастью, не идут этой дорогой, а держатся за свою прежнюю, погибельную жизнь? Толстой не мог понять, что это происходит от того, что исходная точка людей совершенно иная, чѣм его, Толстого; что люди вовсе не считают настоящую жизнь погибельной, вовсе в ней не разочаровались; что то мірское счастье, от котораго Толстой хотѣл искать спасенія в смерти, для людей составляет предмет и зависти, и всяческих усилій. Для них жизнь сладка, не погибельна, и потому-то они и не идут за Толстым. Этого Толстой понять не сумѣл, и объясненій он искал в другой сферѣ. И такое объясненіе он нашел в своем ученіи о "соблазнах".

142. "Соблазн — **Skandalon** — означает западню, ловушку. И дѣйствительно, соблазн есть ловушка, в которую заманивается человѣк подобіем добра и, попав в нее, погибает в ней. Поэтому-то и сказано в Евангеліи, что соблазны должны войти в мір, но горе міру от соблазнов, и горе тому, через кого они входят" ("Христіанское ученіе").

Есть пять соблазнов, — говорит далѣе Толстой, — погубляющих людей, и на пятом мѣстѣ поставлен соблазн *государственный* или соблазн *общаго* блага.

154. "Соблазн государственный или общаго блага состоит в том, что люди оправдывают совершаемые ими грѣхи благом многих людей, народа, человѣчества. Это тот соблазн, который выражен Каіафой, требовавшим убійства Христа во имя блага многих". (Христіанское ученіе).

Итак, этот соблазн состоит в том, что люди поступают против велѣнія совѣсти, против Христа, оправдывая себя в собственных глазах тѣм, что служат общему благу, благу людей. И чѣм правдоподобнѣе такое объясненіе, чѣм дѣятельность государственнаго или общественнаго дѣятеля на первый взгляд полезнѣе и для людей, тѣм, конечно, опаснѣй соблазн.

И с этой точки зрѣнія, может-ли быть соблазн большій, чѣм соблазн судебный? Не всякая государственная дѣятельность, — думает Толстой, — дает одинаковую с ним иллюзію, способна равным образом заглушить правильное пониманіе вещей.

Возьмем для примѣра функцію палача. Палач вездѣ покрыт презрѣніем... Почему? Государство, которое допускает смертную казнь, не имѣет моральнаго права презирать палача. Сторонники смертной казни или хотя бы ея попустители смѣют ли не подать руки палачу? Но, хотя, казалось бы, это так, на дѣлѣ мы видим другое: к палачу всѣ, не исключая и судей, приговаривающих к

смерти, считают себя в правѣ относиться с презрѣніем, а к его дѣятельности, как если не прямо преступной, то позорной.

Во время французской революціи, когда гильотина работала безпрерывно, палач Самсон безуспѣшно настаивал на реабилитаціи своей профессіи. Много раз подавал он в Конвент заявленія с протестом против того презрѣнія, которым она была окружена. Логика была на его сторонѣ. Но он все-таки никого не убѣдил, и к палачам попрежнему относились с презрѣніем. Зло этой государственной функціи было так очевидно, так само себя обличало, что никакія разсужденія никого не могли обмануть.

Совсѣм другое — дѣятельность судьи. Здѣсь все соединилось, чтобы замаскировать это зло. Судья, даже тот, кто приговаривает к смертной казни, сам ея не исполняет. Судья, который приказывает отнять имущество, сам руки к этому не прикладывает. Болѣе того, он может даже сказать, что не он отнимает имущество, не он лишает жизни, что это дѣлает закон, обязанность судьи только его примѣнять, за содержаніе закона он не отвѣтственен. Если закон плох и несправедлив — это не его забота; скорѣе наоборот: только примѣненіем дурного, жестокаго, несправедливаго закона можно обнаружить эту жестокость, привести к его измѣненію. Поэтому на судьѣ не лежит отвѣтственности за то, что законы плохи, — это дѣло другой государственной власти, законодательной; на судьѣ не лежит отвѣтственности и за то, как жестоко и нелѣпо исполняются его рѣшенія и приговоры; это опять-таки дѣло других. Судья только объявляет тѣм, кто его спрашивает, чего хочет закон, чего он требует в данном случаѣ; судья объявляет, виноват ли человѣк в том, в чем его обвиняют другіе, дальше этого не идет его дѣятельность, не идет и отвѣтственность.

Толстой со всей страстностью набрасывается на это раздѣленіе отвѣтственности, на эту попытку судей отмежеваться от других государственных функцій.

“Если бы была задана психологическая задача: как сдѣлать так, чтобы люди нашего времени, христіане, гуманные, просто добрые люди, совершали самыя ужасныя злодѣйства, не чувствуя себя виноватыми, — то возможно только одно рѣшеніе: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями-офицерами, т. е. чтобы, во-первых, были увѣрены, что есть такое дѣло, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человѣческаго, братскаго отношенія к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы отвѣтственность за послѣдствія их поступков с людьми не падала ни на кого отдѣльно” (“Воскресеніе”).

В этом и кроется причина того сугубо-отрицательнаго отношенія Толстого к суду, которое мы у него наблюдали. Судебная дѣя-

тельность, больше чѣм какая бы то ни было, отвлекает от Христа, удерживает на ложной дорогѣ.

Соблазн ея наиболѣе велик и наиболѣе опасен по своим послѣдствіям. Она не только мирит с голосом совѣсти, не только позволяет хорошим и чутким людям не сознавать того зла, которое они дѣлают. Она мирит с устройством міра, построенным на силѣ и принужденіи. Самое государство теряет свой отталкивающій облик, поскольку оно имѣет в своей средѣ судью, а в области дѣятельности судебный процесс. Судебная профессія обманывает мір и развращает людей. Она является той ширмой, за которую не проникает ученіе Христа. Палач может одуматься, солдат может раскаяться, но не судья.

Чѣм обнаженнѣе зло, чѣм яснѣе и очевиднѣе насиліе, тѣм оно менѣе опасный соблазн, тѣм болѣе шансов, что сама эта дѣятельность вызовет реакцію, приведет к покаянію. Но жить в судебной дѣятельности — значит жить в мірѣ наиболѣе скрытаго зла, среди самаго опаснаго соблазна; судебная дѣятельность развращает людей, и то, что доступно разбойнику, не доступно судьѣ.

Посмотрите, — говорит Толстой, — на ту атмосферу, в которой живет судья, она вся фальшива, вся полна софизмов; эта атмосфера учит и внушает сознаніе безотвѣтственности за то, что дѣлают другіе, прививает умѣніе смотрѣть не в корень вещей, а на их внѣшнія формы, оцѣнивать все с условной точки зрѣнія соотвѣтствія существующаго с людским несовершенным и дурным законом. Жизнь, настоящая людская жизнь, человѣческія отношенія исчезают, человѣк живет в мірѣ условностей, которыя он сочинил. Поживши этой дѣятельностью, человѣк утрачивает способность смотрѣть на жизнь иначе, понимать, что в ней есть нѣчто, кромѣ этих условных форм. Крайности сходятся; и поэтому-то у Толстого наиболѣе отрицательное отношеніе к войнѣ, к военной дѣятельности и к судьѣ. Там, в первом случаѣ, зло наименѣе прикрыто, оно ясно для всякаго, его противорѣчіе завѣтам Христа обнажено; а в другой, судейской дѣятельности, все спрятано, и нужно много, чтобы это зло разгадать. Таковы тѣ два основные мотива в отношеніи Толстого к суду, которые логически вытекают из всего его міровоззрѣнія, и эти основныя начала можно видѣть в их конкретных проявленіях во всей его художественной дѣятельности.

Указанія на суд разбросаны во многих сочиненіях, и большинство из них всѣм памятно. Кто, например, не помнит знаменитый конец "Власти тьмы", той "Власти тьмы", которая является как будто бы новой иллюстраціей на эпиграф, поставленный во главѣ еще "Анны Карениной" — "Мнѣ отмщеніе и Аз воздам"? Это отмщеніе наступило, совѣсть замучила Никиту: пораженный простыми словами солдата Митрича, что нечего бояться людей, он кается перед этими людьми, облегчает свою душу. На сценѣ появляется

урядник, представитель человѣческаго правосудія, хочет начать это правосудіе составленіем акта. Но старый Аким носит в себѣ другое начало и потому полон презрѣнія к этому человѣческому правосудію. И он говорит:

"Экій ты, тае! Погоди, говорю. Об ахтѣ, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, Божье дѣло идет, кается человѣк, значит, а ты, тае, ахту... Дай Божье дѣло отойдет, значит, тогда, значит, ты и свое справляй, значит"...

Почему появленіе людского правосудія в данном случаѣ оскорбило Акима? Здѣсь людское правосудіе с Божьим не разошлось, оба одинаково осуждали Никиту. Земное правосудіе в лицѣ урядника не помѣшало бы торжеству совѣсти. Но это совпаденіе людского и Божьяго случайно, это только совпаденіе. На судѣ не будут говорить ни о Богѣ, ни о совѣсти, Никитѣ будут грозить люди, и не угрызеніями совѣсти, а людским насиліем, которое не лучше того, что сдѣлал Никита. Но все это осталось за предѣлами пьесы, и в ней не имѣется. Но иллюстрація эта дана в других сочиненіях Толстого.

Так, в народном разсказѣ "Упустишь огонь — не потушишь" показана другая сторона человѣческаго суда. Вы знаете этот разсказ. Два мужика, Иван и Гаврило, ссорятся. Ссорятся и судятся. И вот однажды Гаврило, разгорячась, ударил беременную жену Ивана; она поболѣла, но встала. Подана жалоба в волостной суд, и волостной суд осудил Гаврилу. Казалось бы опять, чего возмущаться? Суд сдѣлал то, для чего предназначен. Он защитил обиженнаго, покарал обидчика — и в этом его призваніе и назначеніе. По людским законам все было правильно, но вот что из этого вышло. Старик судья, который, как истинный старик, не был настоящим судьей, почувствовал, что здѣсь что-то неладно.

"И стал старичок-судья говорить:

"— А вот что, братцы: сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврило, развѣ хорошо сдѣлал — тяжелую бабу ударил? Вѣдь хорошо, Бог помиловал, а то какой бы грѣх сдѣлал. Развѣ хорошо? Ты повинись, да поклонись ему. А он простит. Мы это рѣшеніе перепишем".

Так говорит умный старик, но это разсужденіе непонятно профессіоналу-судьѣ. И этот профессіонал слицетворен здѣсь в лицѣ волостного писаря. Он говорит:

"Услыхал это писарь и говорит:

"— Это нельзя, потому что на основаніи 117-й ст. миролюбивое соглашеніе не состоялось, а состоялось рѣшеніе суда, и рѣшеніе должно войти в силу".

Писарь прав, так это и слѣдует по закону. Судьи свое рѣшеніе постановили по закону, остальное дѣло не их.

Но старичок-судья еще не испорчен судейским міровоззрѣніем, и для него все кажется просто.

"Но судья не послушал писаря.

"— Будет, — говорит, — язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: Бога надо помнить, а помириться Бог велѣл".

Так столкнулись два міровоззрѣнія: людская правда и Божья правда. И финал извѣстен. Гаврило поджег Ивана; Иван, бросившись на него, не потушил пожара; от пожара обгорѣл отец Ивана. Происходит встрѣча Ивана с отцом, которую я могу безбоязненно приводить только потому, что она много раз была на разсмотрѣніи всяких цензур. Но с точки зрѣнія закона, Толстой в дальнѣйшем изложеніи совершает ряд преступленій в печати; он восхваляет преступныя дѣйствія, подстрекает к неповиновенію закону и т. д., и т. д.

"— Иван, — говорит старик отцу. — Моя смерть пришла и ты помирать будешь. Чей грѣх?"

"И Иван, наконец, понял:

"— Мой, батюшка".

Что же нужно дѣлать? Старик дает простой отвѣт: не обращайся к суду, не поступай по закону.

"— Смотри ж, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грѣх покрой, Бог два простит. — И взял старик свѣчку в обѣ руки, сложил их под сердцем, вздохнул, потянулся и помер.

"Иван не сказал на Гаврилу, и никто не узнал, отчего был пожар".

Здѣсь уже явный конфликт людского и божескаго закона. Людской закон требовал, чтобы Иван не покрывал преступленія, не совершал преступленія недонесенія. Божескій закон требовал прощенія, и Иван ему подчинился. Противоположность ученія Христа и ученія міра показаны ярко.

Есть еще одно сочиненіе Толстого, гдѣ также осуждается суд, но с другой, менѣе высокой точки зрѣнія: не с точки зрѣнія Христа, а с точки зрѣнія просто людской, — это "Живой труп".

"Живой труп" — сочиненіе неоконченное, но я художественной критикой не занимаюсь. Основная же мысль его очень ясна: а мнѣ особенно потому, что у меня сохранилось от "Живого трупа" и личное воспоминаніе. Я помню, как очень давно, в Хамовниках, Толстой разговаривал о том судебном эпизодѣ, который потом лег в основаніе его пьесы. Помню, как он смѣялся над безсмыслицей этого суда, который разстроил счастливую жизнь нѣскольких человѣк. Смѣялся не во имя несоотвѣтствія этого суда с христіанством, а во имя просто его житейской безсмыслицы. Он разсказывал, как всѣм было хорошо, всѣ вели себя так, как слѣдует, по-человѣчески, а вмѣшался суд и всѣх сдѣлал несчастными. При этом разговорѣ присутствовал Анатолій Федорович Кони, который хорошо знал это дѣло, ибо он исхлопотал Высочайшее помилованіе осужденным, и он вводил нѣкоторыя поправки в разсказ Толстого: дѣло обстояло

уже не так хорошо, как то выходило по разсказу Толстого; здѣсь нѣкоторую роль играла корысть. Толстой шутливо упрекал Кони за эти поправки, говоря: "Зачѣм вы это мнѣ разсказываете, так выходит как будто бы хуже". Корысть не играла никакой роли в пьесѣ "Живой труп". Но основная мысль самого Толстого, которую я слышал от него, выражена в страстной тирадѣ Феди у слѣдователя:

"...Живут три человѣка: я, он и она. Между ними сложныя отношенія — борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятія не имѣете. Борьба эта кончается извѣстным положеніем, которое все развязывает. Всѣ успокоены. Они счастливы, — любят память обо мнѣ. Я в своем паденіи счастлив тѣм, что я сдѣлал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мѣшать тѣм, кто полон жизни и хорош. И мы всѣ живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участія в шантажѣ. Я прогоняю его. Он идет к вам, борцу за правосудіе, и охранителю нравственности. И вы, получая 20-го числа по двугривенному за пакость, надѣваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себѣ в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады"...

В этой тирадѣ Феди содержится основная мысль, которую я слышал от Толстого; она нѣсколько осложнена включеніем в нее спеціальной психологіи Феди. Но общая мысль, как осужденіе тѣх нелѣпостей, к которым иногда приводит, с точки зрѣнія самой обыкновенной, вмѣшательство суда, эта основная мысль выражена как в тирадѣ Феди, так и во всей пьесѣ очень рельефно.

Я нѣсколько подробнѣе, насколько мнѣ позволит время, остановлюсь на двух главных произведеніях Толстого, посвященных судебному міру, на "Смерти Ивана Ильича" и на "Воскресеніи". Оба сочиненія необыкновенно характерны и сами по себѣ, и в своем сопоставленіи; они как бы соотвѣтствуют двум сторонам личности Толстого, двум различным этапам его развитія. Начну с "Смерти Ивана Ильича".

Это произведеніе вполнѣ и чисто художественное, не тенденціозное, в смыслѣ преднамѣреннаго учительства, каким нельзя не считать "Воскресенія": но оно было написано в эпоху усиленной философской работы Толстого, послѣ "Исповѣди", одновременно с "В чем моя вѣра", в 84-м году, и естественно проникнуто тѣм настроеніем. "Смерть Ивана Ильича" интересна, как живая, художественная иллюстрація к настроеніям Толстого, выраженным в его "Исповѣди".

Иван Ильич — судебный дѣятель, член судебной палаты. Но это чистая случайность; с таким же успѣхом, без всякаго ущерба для разсказа, он мог быть губернатором, предводителем, профессором или литератором. Я убѣжден даже, что это случайность, которую нельзя назвать ни знаменательной, ни характерной. В эту эпоху

Толстой был слишком далек от того, чтобы одну человѣческую дѣятельность ставить выше другой; он был равно далек от всѣх; это был момент апогея его религiознаго чувства, когда на весь мiр и на всякую мiрскую дѣятельность он смотрѣл одинаково отрицательно.

И не отрицательныя свойства именно судейской дѣятельности — центр произведенiя и источник страданiй Ивана Ильича. Иван Ильич страдает не потому, что он судья, не потому, что у него открылись глаза на судейскую дѣятельность. Вопрос поставлен гораздо глубже. Все сочиненiе — художественная иллюстрацiя к той основной мысли, которая выражена в слѣдующих словах "Исповѣди":

"Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбѣжной, предстоящей мнѣ смертью?" ("Исповѣдь").

Эта мысль и есть трагедiя человѣческой жизни: ставить свою личную жизнь центром своей дѣятельности, свои удобства и удовольствiя смыслом жизни было бы разумно, но только если бы люди не умирали. Но жить для себя, считать себя центром и умирать, между тѣм как мiр остается жить, это — безумiе, которое в "Исповѣди" иллюстрировано сказкою Будды.

Но то, что открылось Толстому, как великому художнику, открылось его чуткой совѣсти, его неутомимому уму, то открывается не всѣм; люди живут и не понимают, что дѣлают, и боятся смотрѣть на то, что дѣлают, отгоняют от себя мысль о смерти. Но та минута просвѣтлѣнiя, которая далась Толстому, дастся и им, если они будут имѣть счастье или несчастье умирать в полном сознанiи, если у них будет возможность видѣть приближенiе смерти и оглянуться на жизнь. Именно это и случилось с Иваном Ильичем; он во время болѣзни имѣл время и возможность подумать. И вы помните эти страницы, гдѣ описываются размышленiя Ива́на Ильича.

Иван Ильич умирает.

"Он весь стал вниманiе: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

"— Чего тебѣ нужно? — было первое ясное, могущее быть выраженным словами понятiе, которое он услышал... — Жить, — отвѣтил он.

"И он опять весь предался вниманiю, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

"— Жить? как жить? — спросил голос души.

"— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, прiятно.

"— Как ты жил прежде, хорошо и прiятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображенiи лучшiя минуты своей прiятной жизни. Но — странное дѣло — всѣ эти лучшiя минуты прiятной жизни казались теперь совсѣм не тѣм, чѣм казались они тогда. Всѣ — кромѣ первых воспоминанiй дѣтства...

"Так и было. В общественном мнѣніи я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово — умирай! Так что ж это? зачѣм? Не может быть! Не может быть, чтоб так безсмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и безсмысленна была, так зачѣм же умирать и умирать страдая? Что-нибудь не так...

"И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить перед собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать было нечего".

Вот тот ужас, который Толстой испытал при жизни.

"Когда он увидѣл утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движеніе, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видѣл себя, все то, чѣм он жил, и ясно видѣл, что все это было не то, все это был ужасный, огромный обман, закрывающій и жизнь и смерть".

Да жизнь оказалась безсмыслицей; и вопрос, который задавал себѣ Иван Ильич, и тот отвѣт, который ему пришлось себѣ дать, настолько безконечно глубже какой бы то ни было критики судебной дѣятельности, что нельзя не признать, что основная идея лежит внѣ суда.

Но не только безсмыслица жизни показана ясно, в произведеніи Толстого есть и другая глубокая идея, — показан смысл смерти. Смерть — основное зло, одна возможность ея дѣлает жизнь безсмысленной. Но смерть Ивана Ильича является полной глубокаго и торжественнаго смысла.

"Это было в концѣ третьяго дня, за два часа до его смерти. В то самое время гимназистик тихонько подкрался к отцу, подошел к его постели. Умирающій все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

"Тут он почувствовал, что руку его цѣлует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его... Жена подошла к нему. Она с открытым ртом и с неутертыми слезами на носу и щекѣ с отчаянным выраженіем смотрѣла на него. Ему жалко стало ее.

"«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру».

"И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всѣх сторон.

"Жалко их, надо сдѣлать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданій. Как хорошо, и как просто".

Смерть оказалась побѣжденной с того момента, когда у Ивана Ильича явилась мысль не о себѣ, а о других; когда он понял, что его смерть может составить радость и благо других, смерть пере-

стала быть страшной. Исчезла смерть и появился смысл жизни.

Но что можно вывести отсюда о *судебной* дѣятельности? Только одно. Только то, что в тѣ моменты, когда Иван Ильич старался вспомнить что бы то ни было из своей прежней жизни, что бы могло утѣшить его в предсмертном томленіи, его судейская дѣятельность, эта пресловутая работа для общаго блага, никакого утѣшенія ему не дала. Тот великій соблазн, которым он жил, оказался тѣм, чѣм он был, т. е. соблазном. Он мог обманывать живущих, он не обманул умирающаго. Он исполнял свою роль, покуда Иван Ильич жил, он прятал от него мір, прятал и безсмыслицу жизни; но когда смерть подошла, обман исчез, вся эта работа для общаго блага оказалась тѣм, чѣм была — самообманом. Толстой вкратцѣ, с эпическим спокойствіем, в самых общих чертах касается этого самообмана, касается основной его сущности, которая уводит человѣка от серьезных и важных вопросов в тот мір условностей, гдѣ все представляется ясно и просто; вы помните, как Толстой описывает это искусство Ивана Ильича смотрѣть на людскія отношенія с точки зрѣнія чисто служебной.

"Во всем этом надо было умѣть исключать все то сѣрое, жизненное, что всегда нарушает правильность теченія служебных дѣл: надо не допускать с людьми никаких отношеній помимо служебных, и повод к отношеніям должен быть только служебный и самыя отношенія только служебныя".

"Как только кончается отношеніе служебное, так кончается всякое другое. Этим умѣніем отдѣлять служебную сторону, не смѣшивая ея с своею настоящей жизнью, Иван Ильич владѣл в высшей степени, и долгой практикой и талантом выработал его в такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себѣ, как бы шутя, смѣшивать человѣческое и служебное отношеніе..."

Эта характеристика не новая, она напоминает нам что-то очень знакомое. Не то же ли самое говорил Толстой в свое время, гораздо раньше, в "Аннѣ Карениной", о Свіяжском, о другом представителѣ такой же условной дѣятельности, не судейской, но такой же общественной, о том же соблазнѣ общаго блага? Вы помните, что говорил про Свіяжскаго Толстой:

"Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себѣ испытывать Свіяжскаго, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый раз, когда Левин пытался проникнуть дальше открытых для всѣх пріемных комнат ума Свіяжскаго, он замѣчал, что Свіяжскій слегка смущался; чуть замѣтный испуг выражался в его взглядѣ, как будто он боялся, что Левин поймет его, — и он давал добродушный и веселый отпор" ("Анна Каренина").

Вот в каком мірѣ живут всѣ эти милые и честные люди, которые увлекаются этим соблазном общаго блага; они живут в мірѣ внѣш-

ности, которая может их обмануть, но только до тѣх пор, покуда они не столкнутся с чѣм-то серьезным. Этим серьезным явилась смерть для Ивана Ильича. А раньше ея явилось самое предчувствіе смерти, сознанная ея неизбѣжность. Она олицетворилась в той ноющей, сосущей боли, которую чувствовал Иван Ильич, и появленіе этой боли разстраивало весь привычный склад мыслей и отношеній.

"Послѣднее время Иван Ильич большею частью проводил в этих попытках возстановить прежніе ходы чувства, заслонявшаго смерть. То он говорил себѣ: займусь службой, вѣдь я жил же ею. И он шел в суд, отгоняя от себя всякія сомнѣнія... Но вдруг в срединѣ боль в боку, не обращая вниманія на період развитія дѣла, начинала свое сосущее дѣло.

"...Огонь тух в его глазах, и он начинал себя спрашивать: неужели только она правда?

"Он встряхивался; старался опомниться и кое-как доводил до конца засѣданіе и возвращался домой с грустным сознаніем, что не может по-старому судейское его дѣло скрыть от него то, что он хотѣл скрыть; что судейским дѣлом он не может избавиться от нея".

И столкновеніе с этим серьезным, которое не позволяло уже болѣе относиться к жизни так поверхностно, так внѣшне, как привык относиться Иван Ильич, вдруг живо напомнило Ивану Ильичу его собственное непозволительное отношеніе к жизни. Вы помните эти сравненія, которыя ум Иван Ильича дѣлал между отношеніем доктора к его болѣзни, и отношеніями его, Ивана Ильича, судьи, к подсудимым. И тут, и там оказалась одна внѣшность, ничего серьезнаго, ничего глубокаго. И тут, и там дѣловыя служебныя отношенія заслонили человѣческія. Иван Ильич был у доктора, был с жестокой болѣзнью, от которой зависѣла не только его физическая жизнь, но его душевное спокойствіе. Для Ивана Ильича в этом вопросѣ все, в буквальном смыслѣ слова — жизнь или смерть. Но как относится к этому человѣк профессіи — доктор?

"Все было, как он ожидал; все было так, как всегда дѣлается. И ожиданіе, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себѣ в судѣ.

"Как он в судѣ дѣлал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор дѣлал тот же вид.

"Все это было точь в точь то же, что дѣлал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сдѣлал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянул сверх очков на подсудимаго. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключеніе, что плохо, а что ему, доктору, да пожалуй и всѣм — все равно, а ему плохо".

Он спрашивает:

"...Опасная эта болѣзнь или нѣт?

"Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как

бы говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в предѣлах ставимых вам вопросов, я буду принужден сдѣлать распоряженіе об удаленіи вас из зала засѣданія.

Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнѣйшее покажет изслѣдованіе. — И доктор поклонился".

Иван Ильич узнавал себя в этом отношеніи доктора; и он, когда был счастлив и доволен, и он к людям относился так, как доктор относится к нему; и он понял, что это ошибка, что это отношеніе губит его, дѣлая цѣлью и центром жизни то, что ненадежно: личную жизнь и здоровье. Иван Ильич это понял, но слишком поздно, а доктор этого еще не понимал. Толстой ограничился этим сопоставленіем, сдѣланным с эпическим спокойствіем: ни против судьи, ни против доктора у него нѣт ни гнѣва, ни раздраженія, ни досады... Как мудрец, ушедшій далеко, равно далеко от всѣх, он на всѣх глядит с жалостью, на всякую дѣятельность, как на ошибку, которую он видит ясно, но которую и люди поймут, но, к сожалѣнію, когда будет поздно.

Совсѣм иное настроеніе в "Воскресеніи"; я с нѣкоторой робостью подхожу к этому сочиненію. О нем слѣдовало бы говорить не в коротких словах, а читать отдѣльную лекцію. Ибо нѣт среди сочиненій Толстого произведенія болѣе содержательнаго и необходимаго для того, чтобы понять, что такое Толстой. Я говорю о "Воскресеніи" не с художественной точки зрѣнія; эта критика в мою задачу не входит, тѣм болѣе, что "Воскресеніе"" — вещь неоконченная. Хотя оно было издано им при его жизни, но, вѣроятно, всѣ знают, что Толстой, вопреки отказу от собственности, продал "Воскресеніе" Марксу, чтобы полученныя от этого деньги пожертвовать цѣликом духоборам для их переселенія в Америку. Толстому пришлось торопиться, и с художественной стороны эта вещь и недостаточно отдѣлана, и не окончена.

Но "Воскресеніе" все-таки драгоцѣнный источник для пониманія взглядов Толстого и его настроенія.

Здѣсь опять описывается судейская среда; но здѣсь она не случайна. Судебная дѣятельность во всей своей совокупности, т. е. начиная с судебнаго зала, "этого священнодѣйствія судящей совѣсти", говоря словами Аксакова, и кончая исполненіем приговоров, тюрьмой, — основная и неотъемлемая часть произведенія. Без нея вы не поймете Неклюдова. Если само судебное засѣданіе, точнѣе, случайная в нем встрѣча с Катюшей, дало Неклюдову первый толчок, разбудило его совѣсть, а это могло быть иначе, могло быть вызвано другими причинами, то перерожденіе, или, говоря словами Толстого, "воскресеніе" Неклюдова совершилось под непосредственным вліяніем сближенія Неклюдова с этим "міром отверженных", с оборотной стороной цивилизаціи.

Цѣлая пропасть лежит между Толстым "Ивана Ильича" и Толстым "Воскресенія", Толстым "Исповѣди" и "В чем моя вѣра" и позднѣйшим Толстым. Не потому, чтобы он измѣнился, чтобы он в чем-нибудь отрекся от того, что говорил, но потому, что на Толстом позднѣйшей эпохи лежит новый отпечаток, в нем слышны иные мотивы. Толстой в позднѣйших произведеніях уже не мудрец, проповѣдующій ученіе не от міра сего, каким он является в своей "Вѣрѣ", он стоит гораздо ближе к нам, в нем проглядывают черты соціальнаго реформатора. С точки зрѣнія того идеала, на которую в религіозном экстазѣ, в восьмидесятых годах, стал Толстой, выступив проповѣдником Христа, "мір лежит во злѣ", но и весь во злѣ одинаково. Самый культурный слой не лучше дикаго, хваленый правовой порядок не лучше самаго неистоваго абсолютизма. Тот, кто прозрѣет, пойдет новым путем, будет обличать весь строй этого міра, а борьбу за его частичное видоизмѣненіе будет отрицать, как опасный соблазн. Для такого міровоззрѣнія самая попытка человѣческих судов такой вздор, о котором не стоит говорить.

И если бы Иван Ильич каким-то чудом остался в живых, то, может быть, он пошел бы по этому новому пути; но Неклюдов, новый герой Толстого, воспринял другія впечатлѣнія.

Толстой вмѣстѣ с Неклюдовым, с высоты этих идей, спустились в мір, но сблизились с его оборотной стороной, с его отверженными, увидѣли воочію то, что этот мір дѣлает для своей самообороны, самосохраненія. Они увидѣли цѣну, которую мір платит за свое благополучіе; они увидѣли то, что бросалось в глаза, чего не могли не увидать. Они столкнулись с судом и увидѣли, что суды осуждают невинных; это случилось не только с Катюшей Масловой, это было еще рѣзче с Меньшовым, который был отдан под суд в угоду богачу, который отнял жену у Меньшова. Неклюдов увидѣл не только *как* судят суды, но и *кого* они судят; увидѣл, что они судят людей, которые часто много выше тѣх, кто их судит, и судят именно за то, что они выше их, что они смотрят вперед, живут болѣе высокими идеалами; таков мір религіозных, а иногда и политических преступленій; он увидѣл, наконец, что на ряду с ними судят просто несчастных, тѣх, перед которыми сам мір, само общество виновато, которые стали тѣм, чѣм они стали, благодаря дурному устройству этого общества. И Неклюдов увидѣл, чѣм кончается суд, что такое эти людскія кары, грязь, насиліе тюрем, позор тѣлеснаго наказанія, преступленіе казни, ужас одиночнаго заключенія. Неклюдов видѣл все это, и поставил вопрос так, как его ставит мір, весь мір. Он исходил уже не из евангельской заповѣди "не судите", а из мысли о нецѣлесообразности человѣческаго принужденія, заговорил языком не христіанина, а политика и революціонера.

Что такое в глазах Неклюдова представлял собою этот мір отверженных, эти обитатели тюрем? Вот как говорит о них Толстой.

"Неклюдов пришел к заключенію, что состав арестантов, так называемых преступников, раздѣляется на пять разрядов людей. Один, первый разряд — люди совершенно невинные, жертвы судебных ошибок, как мнимый поджигатель Меньшов, как Маслова и др. Другой разряд составляли люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах, как озлобленіе, ревность, опьяненіе и т. п. поступки, которые, почти навѣрное, совершили бы в таких же условіях всѣ тѣ, которые судили и наказывали их. Третій разряд составляли люди, наказанные за то, что они совершали, по их понятіям, самые обыкновенные и даже хорошіе поступки, но такіе, которые, по понятіям чуждых им людей, писавших законы, считались преступленіями. К этому разряду принадлежали люди, тайно торгующіе вином, перевозящіе контрабанду, рвущіе траву, собирающіе дрова в больших владѣльческих и казенных лѣсах. К этим же людям принадлежали вѣрующіе горцы и еще невѣрующіе люди, обворовывавшіе церкви.

"Четвертый разряд составляли люди, потому только зачисленные в преступники, что они стояли нравственно выше средняго уровня общества. Таковы были сектанты, таковы были поляки, черкесы, бунтовавшіе за свою независимость, таковы были и политическіе преступники — соціалисты и стачечники, осужденные за сопротивленіе властям.

"Пятый разряд, наконец, составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше виновато, чѣм они перед обществом. Это были люди заброшенные, одуренные постоянным угнетеніем и соблазнами, как тот мальчик с половиками и сотни людей, которых видѣл Неклюдов в острогѣ и внѣ его, которых условія жизни как будто систематически доводят до необходимости того поступка, который называется преступленіем".

Ну, а самый суд, который постановляет свои приговоры и их туда посылает, суд что такое? И Толстой выразил свою мысль в разговорѣ Неклюдова с его родственником.

"— Точно как будто справедливость составляет цѣль дѣятельности суда, — сказал Неклюдов.

"— Что же другое?

"— Поддержаніе сословных интересов. Суд, по моему, есть только административное орудіе для поддержанія существующаго порядка вещей, выгоднаго нашему сословію".

То, что говорит здѣсь Толстой, может быть, справедливо, но не христіанская мысль; ее должен был сказать не Толстой эпохи "В чем моя вѣра", который одинаково отрицательно относился к всякому суду, как к суду во имя блага меньшинства за счет большинства, как и к самому демократическому суду во имя права всего государства. Это мог сказать соціал-демократ, поклонник теоріи классовой борьбы, как объясненія соціальных явленій.

Когда Толстой стал на эту позцію, когда он спустился до мірского пониманія, он тѣм самым опустился и до мірских возраженій. Толстой в "Воскресеніи" уже не на той религіозной высотѣ его "Вѣры", гдѣ нельзя было спорить: в "Воскресеніи" *наш* язык, *наши* понятія, *наши* заботы. Здѣсь можно было возражать: если суд дѣйствует плохо, то его можно было поставить иначе; если законы жестоки и несправедливы, можно написать другіе, прекратить преслѣдованія против тѣх, кого до сих пор преслѣдовали. Если плохи тюрьмы и их порядок, можно было, говоря ученым слогом усовершенствовать пенитенціарную систему. Неклюдов, с тѣми взглядами, которые он высказывает на большинствѣ страниц "Воскресенія", не христіанин, усвоившій ученіе Христа, а простой мірянин, у котораго прозрѣли глаза на зло этого міра. Сдѣлайте на минуту Неклюдова просто любознательным человѣком, который из сочувствія Катюшѣ Масловой сошелся с тѣм міром, в котором вращается, и вы поймете, и почему он пришел к тѣм взглядам, которые излагает, и поймете самые взгляды.

Все отрицаніе Толстым суда в "Воскресеніи" понятно именно с этой точки зрѣнія.

"Воскресеніе" в свое время возбудило страстные протесты; говорили, что все в нем преувеличено, что это каррикатура, пасквиль на судебное вѣдомство. Негодовали на то, что всѣ судьи изображены сплошными уродами. Теперь, когда страсти нѣсколько успокоились, на это можно смотрѣть справедливѣе. Я думаю, что сами судьи принуждены признать, что их негодованіе не заслужено и упреки преувеличены. Конечно, в "Воскресеніи" есть фактическія ошибки, а в отношеніи к судьям нѣт эпическаго спокойствія; иногда чувствуется какая-то несвойственная Толстому раздраженность. Но тѣм не менѣе упрекать Толстого в том, что он написал каррикатуру или пасквиль — во всяком случаѣ не приходится. Если бы в "Воскресеніи" и, дѣйствительно, всѣ были уроды, только отрицательные типы, то и тогда укорять в этом Толстого можно было бы так же мало, как Гоголя за то, что он не вывел положительных типов в своем "Ревизорѣ". Но такой упрек против Толстого был бы и невѣрен фактически. Положительные типы среди судейскаго міра в "Воскресеніи" имѣются.

В этом не трудно убѣдиться, если пересмотрѣть "Воскресеніе". Так, возьмем прокуратуру. Товарищ прокурора, обвинявшій Маслову, изображен самыми отрицательными чертами.

"Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имѣл несчастье окончить курс в гимназіи с золотой медалью и в университетѣ получить награду за свое сочиненіе о сервитутах, по римскому праву, и потому был в высшей степени самоувѣрен, доволен собой (чему еще способствовал его успѣх у дам), и, вслѣдствіе этого, был глуп чрезвычайно" ("Воскресеніе").

Так говорил Толстой про него, но это не мѣшает ему найти совсѣм другія краски в описаніи другого прокурора, товарища обер-прокурора Селенина.

"— Я его хорошо знаю, это прекрасный человѣк... — говорит про него Неклюдов. — И Фонарин, который так сильно видит в нем только дурное, иначе отнесся к Селенину.

"— И хорошій товарищ обер-прокурора, дѣльный. Вот его надо бы было просить, — сказал Фонарин".

И это общее мнѣніе. Тетушка ушла проводить Неклюдова и Селенина и вот что у нея вырывается:

"Ах какая чистая душа. Вот именно chevalier sans peur et sans reproches. Чистая душа, — приложили дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был извѣстен в обществѣ".

И поведеніе Селенина в Сенатѣ, его добросовѣстное исполненіе закона, нелицепріятіе, в связи с той человѣчностью, какую он проявил, узнав, что была осуждена невиновная, все это дѣлает Селенина одним из тѣх почтенных судебных дѣятелей, перед которыми всѣ склоняются с уваженіем. И нельзя уже говорить, что Толстой рисовал каррикатуру.

Возьмем судей. Судьи в описаніи Толстого не лишены человѣческих слабостей. Но эти слабости еще не дѣлают их отрицательными типами. Так, настроеніе одного из судей зависит от состоянія его здоровья; конечно, это как будто бы нехорошо; печально, если человѣческое правосудіе зависит от такого случайнаго фактора, как здоровье судьи. Но кто же будет утверждать, что это неправда, что этого не может быть, что такого судью, настроеніе котораго зависит от состоянія его здоровья, можно и упрекать, и обвинять, и презирать? Судьи, в произведеніи Толстого, не герои, не стоят на пьедесталах, они просто самые обыкновенные люди, и тѣм, кто в этом усматривает клевету, кому хотѣлось бы, чтобы Толстой изображал не только неотрицательные, но даже необыкновеные типы, кому хотѣлось бы, чтобы он рисовал героев и праведников судебнаго дѣла, тѣм, конечно, можно отвѣтить, что такой задачи себѣ Толстой и не ставил. Я скажу болѣе: в отношеніи к судьям Толстой проявил большую снисходительность. Если бы он задался цѣлью не то, что нарисовать каррикатуру на суд, а просто изобразить его тѣневую, обратную сторону, он мог бы найти примѣры гораздо болѣе рѣзкіе; он мог бы разсказать про судей много того, чего не говорил; мог бы изобразить судей запуганных, задерганных, судей, которые дѣлают себѣ карьеру пристрастными приговорами, судей, которые забыли судейскую совѣсть. Но Толстой на это и не покушался. Болѣе того, и среди судей, как среди прокуратуры, у него есть и положительные типы. Как иначе, напримѣр, можно назвать тип сенатора Б.? Вы помните, что говорит о нем Толстой по разным поводам.

"Б. — это практическій юрист, а потому болѣе всѣх живой, — сказал адвокат. — На него больше всего надежды".

Таков отзыв Фонарина. А вот что говорит сам Толстой:

"Б. был либерал самаго чистаго закала. Он свято хранил традиціи шестидесятых годов и если и отступал от строгаго безпристрастія, то только в сторону либеральности".

И наконец, вот Б. при исполненіи обяанностей, в совѣщательной комнатѣ.

"Б., поняв в чем дѣло, очень горячо стоял тоже за кассацію, живо представив товарищам картину суда и недоразумѣнія присяжных, как он его совершенно вѣрно понял"...

Что можно сказать против такого судьи!

Поэтому, хотя в "Воскресеніи" есть ошибки, но неправды в нем нѣт. Картина, им нарисованная, не вымышлена; я отмѣчу в ней другое свойство: она для Толстого недостаточно типична. Это не та картина суда, которая должна была ему представиться с точки зрѣнія Христова ученія. Толстой в изображеніи суда в "Воскресеніи" — слишком мірянин, а не христіанин, это не упрек, а только указаніе, которое я уже не в первый раз дѣлаю.

Но если представители судебнаго міра обидѣлись на Толстого за его "Воскресеніе", то я сказал бы, что гораздо больше права обидѣться имѣла адвокатура. Потому что, — и это очень характерно и так отрицательно, как к адвокатурѣ. И с перваго раза это кажется интересно, — ни к одной судебной профессіи Толстой не относился непонятным: вѣдь адвокат, который борется за подсудимаго, сражается с прокурором, добивается не наказанія, а оправданія, заслуживал бы сочувствія со стороны Толстого. А между тѣм как раз наоборот: гдѣ бы, сколько бы Толстой ни говорил об адвокатурѣ, он всегда о ней говорил отрицательно. Вспомните всѣ адвокатскіе типы, когда-либо им нарисованные.

Возьмите, например, "знаменитаго адвоката" в "Аннѣ Карениной". Вы помните и описаніе франтовского, дурного тона, костюма, и торговлю с кліентами, которая происходила тут же, на глазах других посѣтителей, как, — говоря словами самого адвоката, — на дешевых товарах, помните, наконец, это любопытное описаніе адвокатских глаз, которые слушают Алексѣя Александровича .

"Сѣрые глаза адвоката старались не смѣяться, но они прыгали от неудержимой радости, и Алексѣй Александрович видѣл, что тут была не одна радость человѣка, получающаго выгодный заказ, — тут было торжество и восторг, был блеск, похожій на тот зловѣщій блеск, который он видал в глазах жены" ("Анна Каренина").

А в "Иванѣ Ильичѣ"? В этом эпическом по спокойствію произведеніи, которое я не могу иначе назвать, как откровеніем мудреца, в нем тоже, и без всякой надобности, заговоря об адвокатах, Толстой

покинул эпическій тон, чтобы пустить стрѣлу в адвокатскую профессію.

"Когда доктор дѣлает над ним с значительнѣйшим лицом разныя гимнастическія эволюціи, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, рѣчам адвокатов, тогда как он уже очень хорошо знал, что они все врут и зачѣм врут".

А "Живой труп"? В послѣднем дѣйствіи двоеженца защищает знаменитый адвокат Петрушин. Защищает великолѣпно по отзыву всѣх; из-за дверей слышатся аплодисменты. Публика, выходя, в восторгѣ от адвокатской рѣчи. Мало того, она построена именно так, как должно было понравиться Толстому: не в видѣ казуистической защиты, а в видѣ обвиненія самого общества. Казалось бы, Толстой мог быть доволен, хотя бы Петрушиным, в отличіе от других адвокатов. А между тѣм нѣт. На сценѣ появляется Петрушин и его обаяніе падает. Как самый послѣдній кляузник, Петрушин дает совѣты относительно послѣдняго слова, научая, о чем говорить и о чем промолчать. В его совѣтах не слышно ни убѣжденія, ни правдивости, которую ждешь от занявшаго такую хорошую позицію адвоката.

Возьмите, наконец, "Воскресеніе". Много раз и в различных видах появляются адвокаты, но один хуже другого. Вот мелкій адвокат, "нанятый за триста рублей", защитник Бочковой.

"Послѣ рѣчи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лѣт человѣк во фракѣ, с широким полукругом бѣлой крахмальной груди, и бойко сказал рѣчь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный повѣренный. Он оправдывал их обоих и сваливал вину на Маслову".

Это — маленькій адвокат. А вот большой, знаменитость. Что говорит о нем Толстой?

"Господин разсказывал про тот удивительный оборот, который умѣл дать дѣлу знаменитый адвокат, и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что заплатить большія деньги противной сторонѣ.

"Геніальный адвокат! — говорил он".

И Толстой показал нам адвоката.

"В сдѣланный перерыв из этой залы вышла та самая старушка, у которой геніальный адвокат сумѣл отнять ея имущество в пользу дѣльца, не имѣвшаго на это имущество никакого права; это знали и судьи, и тѣм болѣе истец и его адвокат; но придуманный им ход был такой, что нельзя было не отнять имущество у старушки и не отдать его дѣльцу. Старушка была толстая женщина в нарядном платьѣ и с огромными цвѣтами на шляпкѣ.

"Вслѣд за старушкой из двери залы гражданскаго отдѣленія, сіяя пластроном широко раскрытаго жилета и самодовольным лицом, быстро вышел тот самый знаменитый адвокат, который сдѣлал так, что старушка с цвѣтами осталась ни при чем, а дѣлец, давшій

ему 10 тысяч рублей, получил больше 100 тысяч. Всѣ глаза обратились на адвоката, и он чувствовал это и всей наружностью своей как бы говорил: "Не нужно никаких выраженій преданности", и быстро прошел мимо всѣх".

Ну, а сам Фонарин? Я не буду говорить о всѣх его появленіях в "Воскресеніи". Напомню только начало главы XXIV, гдѣ в оглавленіи он значится, как надоѣдливый адвокат. Вот что там говорится:

"Адвокат начал еще новое повѣствованіе о мошенничествах и всякаго рода преступленіях высших чинов государства, сидѣвших не в острогѣ, а на предсѣдательских креслах в разных учрежденіях. Разсказы эти, запас которых был, очевидно, неистощим, — доставляли адвокату большое удовольствіе, показывая с полной очевидностью то, что средства, употребляемыя им, адвокатом, для добыванія себѣ денег, были вполнѣ правильны и невинны, в сравненіи с тѣми средствами, которыя употреблялись для той же цѣли высшими чинами в Петербургѣ. И потому адвокат был очень удивлен, когда Неклюдов, не дослушав его послѣдней исторіи о преступленіях высших чинов, простился с ним и взял извозчика и поѣхал домой на квартиру".

Словом, Толстой неизмѣнен; стоило в его сочиненіях появиться адвокату, как он является отрицательным, отталкивающим лицом. Можно ли считать это случайным? Я думаю, на свѣтѣ нѣт ничего случайнаго, не случайно и это. И если вдумаешься в причины этого отношенія Толстого к адвокатурѣ, онѣ едва ли могут представлять загадки.

Адвокатура — профессія, которая, конечно, имѣет свои профессіональныя черты, и в них много отрицательных. Мы сами их знаем. Это, конечно, не продажность, на которую так часто напирает общее мнѣніе, — это свойство может быть в отдѣльных представителях адвокатуры, но это не свойство профессіи, оно совсѣм не необходимо; это свойство падает на человѣка; но есть нѣчто неизбѣжное, яд самой профессіи, который в большей или меньшей степени ложится на каждаго; это та гибельная школа ума, в которой принужден жить адвокат и из которой не всякій выходит здоровым. Если вдуматься в условія адвокатской профессіи, то нельзя не признать, что она ставит человѣческій ум в положеніе, противное его назначенію. Всѣ мы мыслим и должны мыслить от фактов к выводу; умѣнье читать факты, находить в них правду — это и есть задача ума. В адвокатской профессіи — наоборот; вывод дан заранѣе, к нему человѣк идет не от фактов, он привносится в дѣло; вывод готов, и уже факты подгоняются к выводу. В адвокатѣ вырабатывается умѣніе найти в фактах то, что нужно найти; находить положительную сторону там, гдѣ ищут ее, и черныя пятна там, гдѣ их ожидают. Вырабатывается умѣніе не только находить то, что ищут, но не видѣть того, что не хотят видѣть. Напрасно думают, что адвокат

обманывает других; он больше всего обманывает себя сам. Никогда не бывает, чтобы адвокату принесли дѣло и предложили стать на ту или другую сторону, по его выбору и усмотрѣнію; чтобы он мог выбрать ту сторону, которая ему кажется наиболѣе справедливой. У адвоката ищут защиты, просят защитить опредѣленную сторону, найти все то, что говорит в ее пользу. И если в нѣкоторых исключительных случаях он признает ту или иную позицію незащитимой и от дѣла отказывается, то это исключеніе; нормальная работа адвоката в том и заключается, что, принимая дѣло, он принимает на себя обязанность глядѣть на него предвзято, и все его искусство в том, чтобы отстоять эту предвзятую мысль. Оттого-то в адвокатѣ развивается усиленная способность аргументаціи, и исчезает способность убѣжденія. Адвокаты — люди безпринципные. Я говорю это не в том дурном смыслѣ, которым клеймят человѣка, который измѣняет свои убѣжденія, У адвоката просто их нѣт; он хорошо понимает, что всякая позиція, всякій тезис условен; он понимает, что во всем двѣ стороны, что обо всем можно спорить; в нем развивается только искусство спорить, обнаруживать то, чего другіе не видят. Но истин и положеній неопровержимых, безспорных для него почти не существует. Посмотрите на адвоката на консультаціи; там, гдѣ нужно ему сказать свое убѣжденіе, он безпомощен, он теряется. Он хорошо знает, что все можно двояко рѣшить; и только когда ему скажут, чего от него ждут, что желательно, тогда он оживляется и становится на твердую почву. Это свойство адвокатуры, в котором не адвокаты повинны, а самая их профессія, оно является типичной профессіональной болѣзнью, оно же в значительной мѣрѣ объясняет и роль адвоката и в политической жизни, там, гдѣ новыя условія этой жизни предъявляли на них усиленный спрос. Условіями профессіональнаго адвокатскаго воспитанія объясняются и та выдающаяся роль, которую они играют в политической жизни страны, и в то же время вредное их вліяніе в ней. В политической жизни адвокату помогает это выработанное долгой практикой умѣнье видѣть то, что хочется видѣть. В адвокатурѣ он на все смотрит предвзято, в зависимости от того, какая сторона к нему обратилась; в политической жизни эта предвзятость дается его принадлежностью к партіи, к политическому направленію. Партійность всегда ставит ему опредѣленное заданіе: либо находить, что то явленіе, о котором он говорит, дурно, либо, наоборот, его защищать. А так как он умѣет находить во всем обѣ стороны и с равным искусством их защищать, то никто лучше адвоката не подготовлен вести ту политическую дѣятельность, какою ее создала наша жизнь, т. е. чисто-партійную дѣятельность.

По поводу всего этого можно было бы еще много сказать, но не эти соображенія, не эти свойства профессіи оттолкнули Толстого от адвокатуры. Отрицаніе Толстого вытекало из других источников.

По тѣм причинам, по которым Толстой к судебной дѣятельности относился наиболѣе отрицательно из всѣх видов государственной дѣятельности, по тѣм же причинам из всѣх видов судебной дѣятельности он наиболѣе отрицательно относился к адвокатурѣ. Как он отрицал судебную дѣятельность потому, что она из всѣх служеній общему благу была наиболѣе опасным соблазном, так он отрицал адвокатуру потому, что она — наибольшій соблазн в области уже только судебной. В самом дѣлѣ, адвокат как будто бы вовсе не несет на себѣ отвѣтственности за то, что дѣлают суды; он не отвѣчает и за то дурное, что требует закон; борется и с тѣм, и с другим, стоит как будто внѣ аппарата суда, внѣ судейской дѣятельности, он ея главный противник, врач, помогающій больным, с которым адвокаты так любят себя сравнивать. Кто из адвокатов, поэтому, не считает себя свободным от тѣх упреков, которые они могут дѣлать судам и прокуратурѣ, своим вѣчным противникам? И Толстой отвѣчает на это, что все это разсужденіе — самый опасный самообман. Адвокат ничѣм не отличается ни от судьи, ни от прокурора; всѣ они служат одному и тому же богу, богу законности и государственности, больше, чѣм велѣнію Христа. Всѣ они, участвуя в гражданских дѣлах, служат и тому насилію государства, которое само по себѣ есть зло. Толстой вообще отрицает раздѣленіе отвѣтственности, потому и не снимает ея с адвокатуры. Отвѣтственность за все то, что дѣлается, остается и на этой профессіи, но то, что внѣшнія ея условія дают повод адвокатам утверждать, что они ни при чем, что они с судьями борются, что они от наказанія защищают, — именно это и составляет самый зловредный обман. Институт адвокатуры, состоящій при судах, как будто мирит с ними, покрывает их тѣм виноградным листиком, которым покрывают то, что хотят скрыть; адвокат, который воображает, что он своей дѣятельностью приносит пользу, не видит, что эта его польза сторицей окупается тѣм соблазном, в который он вводит людей. А когда, наконец, подумаешь, что из своей профессіи адвокаты, как и всѣ остальные, извлекают и личныя выгоды, что они ею живут, что эта выгода безсознательно заставляет их отстаивать и необходимость их дѣятельности, один из тѣх видов самообмана, к которому часто возвращается Толстой, — когда сопоставишь все это, то понимаешь, почему Толстой так отрицательно к ним относился. А если поймешь, что адвокаты, как и прокуроры и судьи, как всѣ люди, занимающіеся государственно-общественной службой, живут в том же мірѣ условных отношеній, в котором они не могут и не хотят глядѣть дальше поверхности, в котором истинно-человѣческія отношенія устраняются, замѣняются служебными, то станет ясно, почему Толстой возставал против адвокатуры.

А что результат адвокатской профессіи приводит к такому именно упрощенному взгляду на жизнь, видно из самого "Воскресенія". Неклюдов разговорился с Фонариным о разных несправед-

ливостях, которыя творятся на судѣ, о произволѣ судебных рѣшеній и т. п.; когда Фонарин привел ему массу примѣров этого, Неклюдов говорит:

"Но если так и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих примѣнять и не примѣнять закон, так зачѣм же суд?".

— Что же на это Фонарин, живущій этим судом?

"Адвокат весело расхохотался. — Вот какіе вопросы вы задаете! Ну-с, это, батюшка, философія. Что же, можно и об этом потолковать. Вот пріѣзжайте в субботу. Встрѣтите у меня ученых, литераторов, художников. Тогда и поговорим об общих вопросах, — сказал адвокат, с ироническим пафосом произнося слова: «общіе вопросы»".

Вот это-то отношеніе к жизни больше всего раздражало Толстого. Для Фонарина всѣ эти вопросы только милые разговоры, темы для шуток, для остроумія. Он вошел во вкус, добровольно сжился с этим міром, с тѣми людьми, с которыми якобы борется, и для Толстого он настолько же хуже судьи, насколько судья хуже палача.

Мнѣ давно пора и можно кончать, но я не могу разстаться с "Воскресеніем", не коснувшись главной его темы. Она вѣдь не в судѣ и не в тюрьмах; она в самом Неклюдовѣ, в нашем старом знакомом, который "совлек ветхаго человѣка", который "воскрес".

Неклюдов, как и сам Толстой, понял, насколько безсмысленна и гадка была его прежняя жизнь, и возненавидѣл ее. И как Толстой, он это понял не на смертном одрѣ, подобно Ивану Ильичу, а в разгарѣ жизни; поняв, нашел и выход. Выход, к которому пришел Неклюдов, тот самый, к которому пришел и Толстой во "В чем моя вѣра". Тѣ самыя пять Христовых заповѣдей, которыя нашел Толстой в Евангеліи, точка в точку тѣ же, которыя найдены и Неклюдовым. И если «Смерть Ивана Ильича" — художественная иллюстрація к "Исповѣди", то "Воскресеніе" — иллюстрація к "В чем моя вѣра". Неклюдов, как и Толстой, повѣрил в Христа.

Но это принятіе Неклюдовым ученія Христа затронуто лишь на послѣдних страницах; результаты его стоят внѣ "Воскресенія". В самом же "Воскресеніи" мы видим другое: переходную ступень Неклюдовской жизни, видим Неклюдова, когда он еще не дорос до этого ученія, когда он только постепенно им проникался, когда жизненными впечатлѣніями выталкивался на другой путь. И в этом періодѣ Неклюдов, будущій христіанин, остается еще вполнѣ міряниным; он по-мірски понимает страданія міра, и по-мірски им помогает. Он не совѣтует страдающему благодарить Бога за испытанное страданіе, жалѣет не обидчика, хлопочет за страдающих, пользуется своими связями, богатством, всѣм, что дала ему прежняя жизнь, которую он ненавидит, пользуется всѣм, чтобы вызволять из темниц, возвращать дѣтей родителям, освобождать от суда невиновных. Он широкими глазами глядит на этот новый для него мір, и оттуда, снизу

понимает, как безсмысленна, пуста, жестока и вредна была его прежняя жизнь.

Таков Неклюдов, но вѣдь таким был и Толстой; неклюдовская жизнь — это та самая жизнь, коотрую вел сам Толстой послѣ того, как написал "В чем моя вѣра". И эта его жизнь была сплошным противорѣчіем его собственной вѣрѣ, которое он сам больно чувствовал. Противорѣчіе было, конечно, не в том, на что любили злорадно указывать его враги и толпа. Не в том, что он свое имѣніе отдал семьѣ, а не чужим, что он не превратил семью в нищих, не в том, что жил в условіях сравнительнаго комфорта, ничтожнаго сравнительно с тѣм, с которым он мог бы жить; противорѣчіе в том, что Толстой не разучился по-мірски понимать страданія міра, что видя и понимая их, он отступил от своего ученія, от своей вѣры в Христа и по-мірски с ними боролся.

Был голод 1892 г. Люди умирали. С точки зрѣнія того ученія не от міра сего, которое в 84-м году предложил Толстой, было очевидно, что голод сам по себѣ не есть зло или только преходящее зло; что несчастны не тѣ, кто с голоду умирает, а тѣ, кто это допускал, как несчастлив разбойник, а не его жертва; было ясно далѣе, что попытки сытых кормить голодающих есть простое средство заглушить голос совѣсти, оправдать то зло, которое они причиняют, худшій из видов соблазна.

Да, Толстой все это понимал; недаром, незадолго перед тѣм, послѣ переписи, он так энергично возстал против филантропіи, против денег, против всякой помощи сверху; и когда во время голода к Толстому пріѣхал его друг Раевскій, который в это время организовывал столовыя в Рязанской губерніи, Толстой не только не одобрил этого дѣла, но написал грозную статью против этого общественнаго увлеченія. И с этой статьей в руках Толстой поѣхал посмотрѣть на устройство столовых, чтобы найти там новый матеріал для статьи, новое подтвержденіе своих взглядов, — но увидал, что там дѣлалось и остался на мѣстѣ, и стал во главѣ самой грандіозной затѣи из области общественной помощи голодающим.

Толстой узнал о духоборах, о том, как они страдают за вѣру, разосланные и разсѣянные по Кавказу. С точки зрѣнія Толстого, *они* были счастливы, а не их мучители. Они должны были быть блаженны, что их гонят. Не этот ли случай был предусмотрѣн заповѣдью Христа, который говорил, что "блаженны вы, когда вас будут гнать и преслѣдовать во имя Христа"? И что же? Толстого не успокоили эти соображенія, он не рекомендовал им не только примириться, но даже радоваться своей участи; он стал во главѣ обширнаго общественнаго движенія и добился переселенія духоборов в Канаду, в условія спокойной, достаточной, по-мірски счастливой жизни.

Государственное насиліе есть зло; чѣм справедливѣе государ-

ство, тѣм хуже, оно скрывает Христа, оно соблазняет. Но Толстой наблюдал крестьянскую жизнь, видѣл роль земельнаго вопроса, земельной тѣсноты и, ознакомившись с ученіем Генри Джорджа, ученіем государственным, не-христіанским, стал хлопотать о проведеніи земельной реформы, обращался с проектом о ней и к членам Государственной Думы, даже к правительству, к предсѣдателю совѣта министров Столыпину.

Фонарин говорил Неклюдову: "Вы стали воронкой, горлышком, через которое изливаются страданія тюрьмы". Это примѣнимо к Толстому, только в большем масштабѣ; не тюрьма, а весь мір через его посредство изливал свою скорбь. Толстой пользовался своим богатством, личными связями, чтобы хлопотать за несчастных; он не утѣшал их ученіем Христа, не успокаивал призрачностью человѣческаго счастья, а пользовался обаяніем своего имени и личности, чтобы облегчить чужую боль.

Это была непослѣдовательность — трогательная, чудесная непослѣдовательность, ради которой Толстой так близок нам, так дорог нам, но это все же непослѣдовательность. Это была переходная ступень, через которую прозрѣвшій человѣк приходит к тому, как, по мнѣнію Толстого, надлежало жить, жить во Христѣ.

Но какова должна была быть эта жизнь? Что нужно было дѣлать, чтобы сказать, что этот вопрос разрѣшен? Как устроить жизнь в условіях теперешняго мірского существованія? Неклюдов воскрес; он прошел через горнило этого испытанія помощи людям в условіях міра, понял всю невозможность спастись от зла в этом мірѣ, и обратился к Христу; он понял, гдѣ была правда. Но в тот самый момент, когда Неклюдов это понял, когда можно было на его примѣрѣ показать, что нужно дѣлать, "Воскресеніе" окончилось. Вы помните послѣднія слова "Воскресенія":

"Так вот оно, дѣло моей жизни. Только кончилось одно, началось другое. С этой ночи началась для Неклюдова совсѣм иная жизнь, не столько потому, что он вступил в новыя условія жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсѣм иное, чѣм прежде, значеніе.

"Чѣм кончится этот новый період его жизни, покажет будущее".

Отвѣт отнесен в будущее, его еще нѣт в "Воскресеніи".

А сам Толстой? Он тоже чувствовал, что живет не так, как нужно, что жизнь — коренное противорѣчіе. Что нужно коренным образом измѣнить свою жизнь, — и его поклонники ему на это указывали.

Послѣ его смерти было напечатано одно страстное письмо кіевскаго студента, которое в свое время произвело впечатлѣніе на Толстого.

"Голубчик, дорогой, на колѣнях и со слезами умоляю вас... меня бѣсят ваши враги, которые черной сворой окружили все свѣт-

лое и хорошее и давят, уничтожают его; но мнѣ кажется, что и в протестующих голосах есть один слабый, правда, холодный, намек, похожій на истину. Почему вы, образец для нас и учитель, не отказались от самого себя? Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бѣдным, останьтесь без копѣйки денег и нищим пробирайтесь из города в город. Откажитесь от себя, если не можете отказаться от близких своих в родном семейном кругу. Знаю, что вам трудно это сдѣлать, что вам уже много лѣт, но не хочу вѣрить, чтобы вас в скорбях (если только вы сдѣлаете то, о чем я вас умоляю) оставили люди. Приходите тогда и в наш старый добрый Кіев, заходите ко мнѣ, и я буду смотрѣть вам в глаза и на вашу сѣдую бороду и наслаждаться тѣм, что вы дали первый росток, первый бутон для того, чтобы из него распустилось счастье, о котором у нас так много пишут, но котораго никто еще не нашел..."

Толстой не раз думал про это, и это письмо было одна из послѣдних капель; 28 октября 1910 года Толстой ушел и больше не вернулся.

Что бы вышло из этого ухода? О, мы знаем одно: мір бы за ним не послѣдовал. Мір не послѣдовал бы за Толстым, если не пошел за Христом. Мы, люди міра, которые восхищаемся Толстым, но не слѣдуем за ним, мы вѣрим, что мір развивается иначе, идет по другой дорогѣ, исходит из другого начала. Уход Толстого не мог быть страницей в исторіи міра, но он был страницей в жизни Толстого.

Что могло выйти из этого ухода? Удалось бы Толстому воплотить его любимую и трогательную легенду о Федорѣ Кузьмичѣ, под которым скрылся великій Император, пресыщенный властью и счастьем? Удалось ли бы ему, удалившись от міра так, что никто бы Толстого не узнал, обратиться в какого-либо безвѣстнаго старика, погибнуть или умереть гдѣ-нибудь в тюрьмѣ за безписьменность. Или, что было бы гораздо вѣроятнѣе — и от великаго один шаг до смѣшного — в наш вѣк телеграфов и кинематографов, всѣ попытки Толстого исчезнуть из міра оказались бы тщетными, за ним бы двигалась армія репортеров, трещали бы кодаки, и жадный, любопытный мір опошлил или высмѣял бы этот послѣдній порыв. Это было вѣроятнѣе, но судьба пощадила своего любимаго сына, и пошлость остановилась у святой могилы. Своим уходом из міра Толстой поднялся на ту высоту, выше которой он уже подняться не мог; ему оставалось только умереть. Судьба надѣла на него новый вѣнок, увѣнчала великую жизнь ореолом послѣдняго подвига, вплела новый лавр в его славу, но загадка, что дѣлать? — осталась неразрѣшенной.

Перепечатано из журнала "Русская Мысль" за 1914 год.

БАНКЕТ, ДАННЫЙ В МОСКВѢ ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦІИ

ПОД ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМ СЕНАТОРА d'Estournelles de Constant.

(Февраль 1910 г.).

Введеніе в Россіи конституціоннаго строя, как ни слабо было, по нашим законам, вліяніе Думы в области внѣшней политики, самым существованіем народнаго представительства, заставляло власть и в этом вопросѣ считаться с общественным мнѣніем. Это совпало с постепенной перемѣной оріентаціи этой политики, с ослабленіем значенія традиціонной, чисто династической дружбы с Германіей и со сближеніем с европейскими демократіями. Отсюда возникло стремленіе к установленію личнаго контакта между политическими дѣятелями Россіи и дружественных европейских держав. Первый шаг в этом направленіи был сдѣлан еще в эпоху I-ой Государственной Думы; в момент преждевременнаго роспуска Думы русскіе делегаты были в Лондонѣ, гдѣ и узнали о роспускѣ. Эти сношенія возобновились в III-ей Думѣ на этот раз при сочувствіи и поддержкѣ нашего Мин. Иностр. Дѣл, и при демонстративном несочувствіи, а иногда и протестах правых депутатов. В 1909 г., когда наша парламентская делегація ѣздила в Лондон, в нее входило много видных членов Гос. Думы и Гос. Совѣта, из центра и лѣвых, но не было правых; во главѣ делегаціи стоял Н. А. Хомяков, тогдашній предсѣдатель Государственной Думы. Делегацію принимали в Парламентѣ. Привѣтственныя рѣчи говорили и премьер — Асквит, и лидер оппозиціи Бальфур; ей была дана аудіенція Королем; ее возили в Оксфорд и Кембридж и т. д. На обратном пути через Париж, в нем состоялся неподготовленный, импровизированный пріем ея и французскими парламентаріями. На слѣдующій год французскіе парламентаріи, пріѣхали с отвѣтным визитом под педсѣдательством d'Estournelles de Constant. В Петербургѣ им был сдѣлан офиціальный пріем, включительно до пріема у Государя. Послѣ окончанія офиціальных пріемов, члены Делегаціи поѣхали на один день увидать *Москву.* Москва не измѣнила московскому гостепріимству; их цѣлый день возили по городу, а вечером угостили банкетом в "Эрмитажѣ", раутом в Городской Думѣ и ужином в

"Стрѣльнѣ". Ниже помѣщается рѣчь В. А. Маклакова, сказанная на этом банкетѣ, на котором предсѣдательствовал Московскій Городской Голова Н. И. Гучков.

Vous comprendrez facilement, Messieurs, tout l'embarras que j'éprouve à prendre la parole après l'éloquent discours que nous venons d'applaudir. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est malheureusement pas une excuse d'usage. Mais il y a des occasions où l'on ne saurait se taire et, quant aux fautes de grammaire, la galanterie française les pardonne toujours à un étranger.

La raison qui nous procure le plaisir et l'honneur de saluer nos hôtes parmi nous, l'objet même de cette visite de parlementaires français à leurs collègues de Russie, c'est la bienvenue solennelle de la part de la France au nouveau régime, au régime constitutionnel établi en Russie. Et nous qui avons lutté pour son avènement, qui luttons encore pour son développement, nous qui sommes convaincus que l'avenir de notre patrie est intimement lié à cette grande réforme politique, nous sommes heureux de voir et de constater que l'opinion publique de l'Europe, ne s'y trompe pas ; que tous ceux (nous en avons eu naguère la preuve en Angleterre), qui voudraient voir la Russie puissante et prospère, ont salué cette réforme ; que ce ne sont que ceux qui auraient voulu la Russie affaiblie par les discordes intérieures qui prennent en mains la cause perdue du passé.

Et de votre part, anciens amis et alliés, nous ne nous attendions pas à une autre attitude. Vos paroles ne sont point une surprise. Mais il est permis, peut-être, au moment où notre amitié reçoit une consécration nouvelle due aux nouvelles conditions politiques, où on parle d'alliance de parlement à parlement, de scruter un peu ce qu'il y a de vital, et de vraiment fatal dans l'amitié qui nous rapproche.

M. d'Estournelles de Constant dans son discours admirable a dit une parole que je tiens à relever ; il a dit que, si l'alliance n'avait pas été faite par les gouvernements, elle aurait été faite quand même par la seule force des choses. Rien n'est plus vrai. On a dit et souvent répété, que ce rapprochement de nos gouvernements devient désormais un rapprochement des nations. C'est une erreur. Il l'a toujours été. L'alliance de 1891 a pu être méditée dans le silence des cabinets diplomatiques. Mais quiconque se souvient des transports de joie qui, dans la Russie, alors muette, ont accueilli cette alliance, des manifestations populaires qui n'ont pas pu être faites sur commande, avouera que, même à cette

époque, cette alliance s'est présentée déjà, non comme une œuvre de gouvernements, mais comme un acte national.

Et pourquoi ? Parce que cette alliance n'avait pas pour base seulement des considérations diplomatiques, des combinaisons de politique étrangère. Je ne veux pas me hasarder plus loin sur ce terrain épineux ; mais quiconque se souvient de l'époque où cette alliance s'est produite, conviendra que quelqu'aient été les considérations diplomatiques sagement prévues par les deux gouvernements, notre position internationale à elle seule n'aurait jamais pu expliquer et motiver les mouvements de joie qui ont accueilli la proclamation de l'alliance. Les raisons sont ailleurs ; elles sont peut-être dans le caractère national des deux peuples qui s'attiraient l'un vers l'autre, par la loi de ressemblance ou peut-être par la loi de contraste. Il y a de ces sympathies nationales comme on l'a dit de l'amour ; on peut toujours le constater, quelquefois le prévoir, jamais l'expliquer. Elles sont dans ce rôle exclusif que la France a toujours joué dans le développement intellectuel de l'Europe en général et de la Russie en particulier ; dans ce rôle qui a fait que, même aux moments de guerre déclarée et quand les deux armées remplissaient leur devoir et mouraient sur les champs de bataille, la France restait néanmoins pour nous le pays le plus connu et aimé, sa langue la plus parlée, son histoire la plus étudiée, ses grands hommes les plus admirés ; ce rôle qui a fait que l'amour de la France a été poussé à un excès qui soulevait une juste réprobation de nos patriotes ; que nos plus grands écrivains, créateurs de notre langue littéraire, révélateurs de la Russie à l'Europe, parlaient le français avant qu'ils aient appris à parler le russe ; et ce qui est plus encore, de même que les générations françaises du XVIII[e] siècle ont été formées par l'étude de l'antiquité et la lecture de Plutarque, de même notre jeunesse à nous — j'en ai été — se formait en lisant, en étudiant, en admirant cette épopée de géants qu'on appelle la Grande Révolution. Mais je m'arrête, car si j'allais plus loin, je n'en finirais jamais.

C'est bien cela qui a fait que cette alliance a répondu à tous les vœux, je dirai même à toutes les habitudes : et quoique les temps aient changé, les raisons qui nous ont rendu la France si proche, ces raisons subsistent toujours.

Ah ! Certes, ce n'est plus la Grande Révolution qui nous inspire à l'heure actuelle ; ce n'est même plus l'opposition irréconcilliable des cinq fameux députés de Paris ; nous ne sommes plus à l'heure héroïque de la lutte, et, dans l'œuvre

de régénération et de relèvement, la France nous offre d'autres exemples, d'autres leçons.

Nous apprenons sur son exemple qu'il y a quelque chose de plus difficile, de plus pénible, de plus ingrat, que la proclamation de grands prncipes ; c'est leur mise en pratique ; que, suivant la parole profonde de Tocqueville, le moment le plus dangereux pour tout régime politique, qui a senti ses défauts, est justement celui où il cherche à s'en débarrasser ; que l'heure de l'avènement d'un nouveau régime tout salutaire, tout désiré qu'il soit, est une heure non pas de joie et de calme, mais de troubles, de désillusions, de catastrophes ; car, selon la parole de Louis Blanc, la nature a voulu que l'homme pleurat en naissant. Nous apprenons qu'une révolution est toujours suivie de réaction, que ses flux et reflux de mouvement politique sont néanmoins une marche en avant ; qu'il ne faut jamais en conséquence ni se décourager, ni se flatter d'avoir vaincu, car selon une parole, que j'ai entendue de la bouche de votre ancien Président du Conseil, chaque victoire est un commencement de la défaite, et toute défaite un commencement de la victoire. Nous apprenons encore par votre exemple quelle source inépuisable de force présente une nation rendue à elle-même, recouvrant ses droits, consciente de sa tâche, nous savons ce qu'est,— comme dit l'épitaphe tirée du Manifeste de Bordeaux, inscrite sur le monument du Grand Patriote,— nous apprenons ce qu'est un grand peuple qui ne veut pas périr. Nous voyons le miracle que peut faire le travail en commun, la paix au dehors et encore plus au dedans et l'amour de la patrie, qui est, comme l'a dit Gambetta au banquet de Thonon, « le résumé de toutes les vertus civiques ».

C'est la France qui nous l'apprend, ce pays qui s'est relevé, après un désastre inoui, par les seuls efforts de ses enfants, ce pays qui tâche maintenant de résoudre le grand problème d'unir la puissance de l'Etat à la liberté du citoyen, c'est la France qui marche à la tête du progrès, c'est la France qui reste le pays que, quoi qu'il arrive, nous suivons toujours d'un œil attentif et inquiet, car si ses revers sont à elle seule, ses conquêtes sont pour tout le monde. Et nous aimons la France avec désintéressement, comme on aime la jeunesse pour ses qualités et ses défauts, et c'est avec une émotion profonde et sincère que je bois à la gloire et à la prospérité de la France.

Перепечатана из Журнала «Conciliation Internationale»
за 1910 год, (стр. 153).

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

(«Русскія Вѣдомости» № 221 от 27 сентября 1915 г.).

Печатаемая ниже статья и отклик, который она встрѣтила, были бы непонятны, если не отдавать себѣ отчета во времени, когда она появилась.

В апрѣлѣ 1915 г. у нас началась полоса серьезных военных неудач: прорыв фронта нашего в Галиціи, очищеніе нами Польши и т. д. Правительство сочло необходимым пойти навстрѣчу общественным настроеніям. 5-го іюня четыре непопулярных Министра были уволены; на 19 іюля был назначен созыв Государственной Думы. Дума собралась под другими впечатлѣніями, чѣм год назад. Она не отступила от рѣшенія во время войны власти не ослаблять, но понимала, что если правительство будет идти прежним курсом, оно сдѣлает невозможным побѣду. Начались совѣщанія между благожелательными членами правительства и представителями обѣих Палат, о выработкѣ программы на ближайшее время. Совѣщанія закончились установленіем организованнаго соглашенія между фракціями большинства Госуд. Думы, получившаго названіе "прогрессивнаго блока"; в него входили всѣ партіи центра, за исключеніем крайних флангов. Соглашеніе было подписано и оглашено в Думѣ 24 августа. К нему примкнули многіе члены Госуд. Совѣта и правительства. Оно могло быть основаніем для взаимнаго пониманія и совмѣстной работы власти и общественных сил. Нормальный исход, таким образом, казался, как будто возможным. Но часть правительства и предсѣдатель его И. Л. Горемыкин на это не шли. Перед Государем и его окруженіем они оказались сильнѣе. В отвѣт на образованіе прогрессивнаго блока, Указом 3 сентября, засѣданія Гос. Думы были прерваны; а Государь принял личное командованіе над арміей. Эти мѣры и главное та психологія, которая их вдохновила, вызвали в обществѣ необычайное раздраженіе и тревогу. Стала крѣпнуть *мысль,* что соглашеніе с правительством невозможно, что программа прогрессивнаго блока — утопія, что нужно другое — борьба *против* власти, т. е. появились тѣ настроенія, которыя возобладали через 2 года. На тактику прогрессивнаго блока шли нападки за ея "умѣренность". В разгар этих споров и была написана эта статья. Она по необходимости должна была говорить эзоповым языком; иначе появиться она не могла бы, да и в закамуфлированном видѣ — в теченіе двух недѣль газеты ее не рѣ-

шались печатать. Она вызвала сенсацію потому, что иносказательно говорила о том, о чем думали всѣ. Иллюстраціей этого может быть "отрывок" из донесенія Начальника Московскаго Охраннаго Отдѣленія С. Мартынова Департаменту Полиціи. Оно было напечатано в пореволюціонном изданіи — "Буржуазія перед Революціей". "Одним из подтвержденій указаннаго настроенія, — пишет Мартынов, — может служить тот живѣйшій отклик, какой встрѣтила в самых широких кругах общества, помѣщенная в № 221 газеты "Русскія Вѣдомости" за текущій год, статья члена Государственной Думы В. А. Маклакова, посвященная вопросу об отношеніях к верховной власти. По заявленію извѣстнаго члена кадетской партіи Кизеветера, статья эта вызвала массовыя выраженія благодарности по адресу автора и редакціи; номер же газеты с этой статьей, спеціально ради нея, был затребован в значительном количествѣ".

Однако, смысл этой статьи толковал каждый по своему, по своим политическим симпатіям; многіе увидѣли в ней даже призыв к революціи.

Развитіе техники создало это положеніе; в таком остром видѣ его не могло быть прежде ни прямо, ни в аллегоріи.

Вы несетесь на автомобилѣ по крутой и узкой дорогѣ; один невѣрный шаг, — и вы безвозвратно погибли. В автомобилѣ — близкіе люди, родная мать ваша.

И вдруг вы видите, что ваш шоффер править не может; потому ли, что он вообще не владѣет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что дѣлает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и если продолжать ѣхать, как он, перед вами — неизбѣжная гибель.

К счастью, в автомобилѣ есть люди, которые умѣют править машиной; им надо поскорѣе взяться за руль. Но задача пересѣсть на полном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управленія, — и автомобиль будет в пропасти.

Однако выбора нѣт, — вы идете на это.

Но сам шоффер не идет. Оттого ли, что он ослѣп и не видит, что он слаб и не соображает, из простого профессіональнаго самолюбія или упрямства, но он цѣпко ухватился за руль и никого не пускает.

Что дѣлать в такія минуты?

Заставить его насильно уступить свое мѣсто? Но это хорошо на мирной телѣгѣ или в обычное время, на тихом ходу, на равнинѣ; тогда это может оказаться спасеніем. Но можно ли дѣлать это на бѣшеном спускѣ, на горной дорогѣ? Как бы вы ни были и ловки и сильны, в его руках фактически руль, он машиной сейчас управляет и один невѣрный поворот, или неловкое движеніе этой руки, — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает. И он смѣется над вашей тревогой и вашим безсиліем: "Не посмѣете тронуть!"

Он прав: вы не посмѣете тронуть; если бы даже страх или негодованіе вас так охватило, что, забыв об опасности, забыв о себѣ, вы рѣшились силой выхватить руль, — пусть оба погибнем, — вы остановитесь: рѣчь идет не только о вас; вы везете с собой свою мать; вѣдь вы и ее погубите вмѣстѣ с собой, сами погубите.

И вы себя сдержите; вы отложите счеты с шоффером до того вожделѣннаго времени, когда минует опасность, когда вы будете опять на равнинѣ; вы оставите руль у шоффера.

Болѣе того, — вы постараетесь ему не мѣшать, будете даже помогать совѣтом, указаніем, дѣйствіем. Вы будете правы, — так и нужно сдѣлать. Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шоффер не управится; что будете вы переживать, если ваша мать, при видѣ опасности, будет просить вас о помощи, и, не понимая вашего поведенія, обвинять вас за бездѣйствіе и равнодушіе? И кто будет виноват, если она, потеряв вѣру и в вас, на всем ходу выскочит из автомобиля?

БАНКЕТ, ДАННЫЙ ЧЛЕНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПАЛАТ

В ПЕТЕРБУРГѢ 16-го МАЯ 1916 ГОДА, В ЧЕСТЬ ВИВІАНИ И АЛЬБЕРТА ТОМА

В маѣ 1916 г. Вивіани — предсѣдатель Совѣта Министров Франціи, и Альберт Тома пріѣхали в Петербург для переговоров по вопросам, связанным с войной. Пріѣзд их совпал по времени с неудачей нѣмцев под Верденом и с успѣхами Брусиловскаго наступленія. Члены Думы и Государственнаго Совѣта дали в их честь многолюдный банкет, под предсѣдательством предсѣдателя Думы М. В. Родзянко, в присутствіи всѣх русских министров, дипломатических представителей союзных держав и многочисленной публики. На этом банкетѣ Шаляпин, при общем энтузіазмѣ, пропѣл Марсельезу. Было сказано много рѣчей офиціальными лицами. Послѣдняя была сказана В. А. Маклаковым. Она здѣсь помѣщается.

Permettez-moi, Messieurs, en ma qualité de particulier irresponsable, de risquer un aveu déplacé. J'ai été pacifiste et je ne renie pas cela comme une erreur de jeunesse. Or, cette profession de foi peut paraître ridicule au moment de la guerre : c'est pourquoi je veux m'expliquer.

Quelques uns d'entre nous ont eu sans doute tort de penser que la civilisation pouvait seule supprimer la guerre, comme elle a déjà supprimé beaucoup d'autres habitudes. Mais ceci n'a été qu'une erreur de fait, non de principe. Quant au principe, est-il à présent ébranlé ? Qu'est en face de ce principe la guerre actuelle ? Est-ce une épreuve ? Un démenti? Ici je reste impénitent. Je pense le contraire. L'idée pacifiste, d'utopie devient réalité ; elle fait son entrée dans le monde; cette guerre ce sont ses douleurs d'enfantement.

Pour établir la paix éternelle, il ne suffisait pas, certes, de bonnes intentions et de propagande littéraire. Il a fallu que cette insuffisance fut démontrée par des faits ; il a fallu qu'une crise éclatât, capable de réparer les torts du passé,

d'écarter dans l'avenir les causes d'inquiétudes et de troubles et de jeter les bases d'un nouvel ordre de choses.

Il a fallu que la paix du monde fut troublée non pas par une guerre libératrice, revolte suprême contre l'oppression qui restera toujours à nos yeux un droit sacré du malheur et de la faiblesse opprimée ; il a fallu qu'elle fut troublée par « une guerre honteuse contre un pays faible », comme l'a dit la depêche de notre Empereur, c'est à dire par l'Autriche, voulant égorger la Serbie.

Il a fallu que cette guerre se fut révélée au monde sous l'aspect repoussant de la force sans honneur, dénuée de justice et de tout attrait chevaleresque ? Et nos adversaires se sont montrés dignes de cette guerre ; les voilà réunis en un faisceau monstrueux ; la manie grandiose de l'Allemagne, la bêtise de l'Autriche qui n'avait rien à gagner à cette guerre quels qu'aient pu être ses résultats, la vénalité des chefs de la Turquie malheureuse, et la lâcheté nationale des bulgares. La voilà « cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés ». Les voilà ceux qui prétendent imposer leur volonté à l'Europe. L'Europe indignée a saisi les armes : il fallait l'espérer. Mais les pacifistes ? Vis-à-vis d'une telle guerre leur devoir était tout tracé ; serait-ce bien servir la cause du droit que de l'abandonner sans défense, que de tolérer que l'Allemagne pût rester impunie et même victorieuse ? Et non comme patriotes seulement à qui l'intérêt supérieur de la patrie fait oublier leurs rêves, mais bien comme pacifistes, nous avons acclamé l'attitude belliqueuse de l'Europe, acclamé cette guerre défensive, comme une défense du droit et de paix.

Nous l'avons acclamée d'autant plus, que si cette guerre a montré le point faible de la doctrine pacifiste, elle a aussi indiqué, que dis-je, elle a imposé, le remède. La violence de l'Allemagne devait être repoussée par la force. La force est devenue à l'ordre du jour. Et la force est faite par l'union. L'union des Etats dans l'alliance et l'union des classes, des partis, dans l'Etat. Mais quelle est l'union qui fait la vraie force ?

Nos ennemis, eux aussi, parlent de l'union ; mais pour eux l'union c'est la conquête, l'absorbtion du faible par le fort. Pour nous, l'union c'est la solidarité, c'est la paix. Voyez leur alliance. L'Autriche vassale de l'Allemagne, la Turquie son esclave, la Bulgarie son valet. Voyez leur union. Les socialistes renient leurs croyances, acclament l'invasion de la Belgique. De notre côté, Messieurs, une telle union serait matériellement impossible ; nous n'en aurions pas l'étoffe

nécessaire. Aussi nous ne la concevons pas ainsi. Pour nous, l'union qui fait la force des alliances, et aussi celle des états est autre chose : et quels qu'aient pu être en pratique les écarts déplorables du principe — on n'est pas infaillible — notre notion d'union reste intacte. L'union c'est le respect mutuel des droits réciproques des classes, des nations, des personnes ; c'est l'harmonie des intérêts souvent opposés, la bonne foi comme base des rapports, l'équité aequum jus, comme arbitre. Cette union là est plus difficile à manier, elle porte des résultats moins immédiats. Nous l'avons souvent senti dans notre alliance militaire et maintes fois déploré. Mais, en revanche, elle donne des résultats plus durables ; elle seule survivra à la guerre ; elle seule fournira les bases de la paix. Car, au fond, n'est ce pas là toute la doctrine pacifiste ? Cette guerre est-elle autre chose que la lutte de deux principes opposés, du principe de la guerre — du droit de la force, et du principe de la paix — de la force du droit. Et si cette guerre nous impose cette union, comme moyen de salut, comme seul moyen d'abattre l'orgueil de l'Allemagne, elle aura doublement servi la cause pacifiste.

Et quand je pense, Messieurs, qu'au début de cette guerre, l'Ambassadeur d'Allemagne s'informait auprès du Président du Conseil Français, quelle serait en cas de guerre l'attitude de la France, je me dis : quelle question inutile ! Je ne parle pas du traité qui, pour la France n'est pas un chiffon de papier, je ne parle pas de l'alliance que nous avons contractée et que nous célébrons aujourd'hui. Mais était-il humainement possible de croire, que quand une telle guerre éclatait, quand une telle cause était mise en jeu, que la France put garder une neutralité indifférente ?

Mais si l'attitude de la France n'offrait pas de doute, j'ai quand même le droit d'exprimer la joie que j'éprouve de voir la France avec nous. Et ce n'est pas seulement une joie égoïste de sentir auprès de soi un allié de cette force.

Qu'il soit permis à mon ancienne admiration pour la France d'avouer que dans ce sentiment rentre un peu de joie pour la France ; que je me rejouis à l'idée que cette guerre, malgré les malheurs de toute guerre, lui sera salutaire. Je ne ferai pas d'allusion à l'Alsace-Lorraine reconquise, au souvenir de 1870 effacé ; je me réjouis à l'idée que cette guerre vous a fourni l'occasion de révéler la grandeur de votre peuple non seulement au monde étonné, mais encore à vous-mêmes. Trop souvent on a dit et vous, Français, l'avez dit les premiers, que la France était atteinte de

vieillesse, qu'après une carrière longue et glorieuse, couverte de lauriers mérités elle jouissait du repos de la retraite.

Quel démenti éclatant cette guerre a donné à ceux qui l'ont pensé ! Quelle ardeur juvénile s'est révélée dans ce vieillard présumé ! De quels miracles de bravoure, de patriotisme, de devouement, de talent organisateur la France a fait preuve !

La France est de ceux qui ont besoin de crise pour montrer ce qu'ils valent. Ah, non, Messieurs, le moment n'est pas venu pour que la France démissionne ; sa démission d'ailleurs ne serait pas acceptée ; le monde a encore besoin de la France, aux heures solennelles qui approchent. On aura besoin d'entendre sa voix. Non pas seulement la voix de cette France qui dès le temps de César aimait l'éloquence et la guerre, mais de la France généreuse qui au XVIII[e] siècle a proclamé les principes immortels, le symbole de l'idée pacifiste, liberté, égalité, fraternité. Elle a encore un service à rendre à l'humanité et à imprimer à cette paix qui approche les traits de justice permanente, qu'elle a déjà surnommés avec cette fierté justifiée « Paix Française ».

Je lève mon verre à la France, non pas seulement à la France du passé, que j'admire, à la France d'aujourd'hui devant laquelle je m'incline, mais aussi à la France de demain que je salue et que j'invoque.

(Перепечатана из журнала «Consiliation Internationale» за 1916 год, № 2, стр. 21—26).

«ЛИБО МЫ, ЛИБО ОНИ»

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА В ЗАСѢДАНІИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

3 ноября 1916 года.

(Стенографическіе отчеты, стр. 126-135).

После долгаго перерыва Государственная Дума была созвана 1-го ноября 1916 г. За это время многое измѣнилось. Если дѣла на фронтѣ исправились, снарядов изготовлялось достаточно, то внутреннее положеніе обострилось до крайних предѣлов. Борьба "темных сил" шла уже не против Думы, не против общественных организацій, а против тѣх членов правительства, которые странѣ внушали довѣріе; были уволены: Сазонов, А. А. Хвостов, Поливанов, Кривошеин, Самарин, Наумов. Выбор их замѣстителей был непонятен; его приписывали вліяніям и протекціям; и фигура Распутина, как разгадки всего, разрослась до фантастических размѣров. Единодушное отношеніе к войнѣ, как національной войнѣ, тоже измѣнилось; Германія старалась внутренніа разногласія использовать. Война населеніе утомила; и оно слушало тѣх, кто говорил, что в ней нѣт смысла, что Россію заставляют воевать не за свои интересы, и проповѣдывали мир "без анексій и контрибуцій". А с другой стороны родилось подозрѣніе, будто власть, опасаясь народнаго недовольства, готова на заключеніе сепаратнаго мира с Германіей. При таких взаимных отношеніях, государственная машина уже не могла дѣйствовать правильно. С обѣих сторон стали помышлять о "переворотѣ": власть — об уничтоженіи конституціи и возвращеніи к неограниченному самодержавію; эти помыслы были очень реальны. А в другом лагерѣ стали думать о "дворцовом переворотѣ", вспоминали 11 марта 1801 года; мысль об этом носилась в воздухѣ, хотя от осуществленія была далеко. В такой атмосферѣ была собрана Дума. С перваго дня от имени прогрессивнаго блока Милюков объявил, что блок "с правительством теперь будет бороться". Выступил ряд ораторов, в том числѣ тѣ, которых до сих пор нельзя было считать врагами правительства, как Шульгин, В. А. Бобринскій, В. М. Пуришкевич... Газетные отчеты о засѣданіях Думы выходили с бѣлыми пятнами, а три рѣчи — Милюкова, Маклакова и Шульгина были запрещены вовсе к

печатанію. Это не помѣшало им получить самое широкое распространеніе даже на фронтѣ. Онѣ были возстановлены уже послѣ Февральской революціи.

Я, господа, не хочу ни с кѣм полемизировать, даже не буду никого обличать: хочу обратиться просто к логикѣ фактов, к тому, что стало теперь необходимым и неизбѣжным.

Вѣдь ни для кого не тайна, что хотя на фронтѣ сейчас благополучно, хотя производительность наших заводов растет с каждым мѣсяцем, хотя прав гр. Капнист, что военная усталость Германіи становится для всѣх очевидной, но несмотря на все это, мы стоим перед новой и грозной опасностью.

Опасность не в продовольственном кризисѣ — мы с ним справимся общими силами, а в том, что что-то случилось с Россіей, что ея дух в чем-то перемѣнился, что начались другія теченія, которыя мы уже видим.

Мы видим, что одни уже осмѣливаются говорить о мирѣ, другіе, в отчаяніи от того, что их надежды обмануты, возвращаются к старому лозунгу и в виду непріятеля говорят: чѣм хуже, тѣм лучше. Все лучше той гнили, которую мы переживаем.

Пусть будет, что будет, пусть будет катастрофа, она куда-то все-таки нас приведет. Мы видим и третьих, которые уходят домой, там запираются, замыкаются в кругу личных своих интересов, наживаются, веселятся и спекулируют.

Все это — явленія разных порядков, но ведут к одному: стало возможным то, чего прежде не смѣли показывать. А малодушные и маловѣрные люди, которые наблюдают все это, падают духом и говорят: Россія долго не выдержит. Этот упадок духа переходит на фронт и там связывает руки воюющим. И там говорят: да что же у вас в тылу происходит теперь, в тот послѣдній момент, когда побѣда близка? Вот гдѣ опасность.

И это случилось с той самой Россіей, которая два года назад обманула надежды Германіи, которая сумѣла забыть свои распри, как забудет их и сейчас, которая смогла простить этим людям их грѣхи перед нами, которая, как вѣрно напомнил Капнист, в минуту нежданной бѣды, имѣла мужество не растеряться; это — та же Россія, которая во время войны не тѣшилась презрѣнным краснорѣчіем на общія темы, а стала к черной работѣ, эта Россія теперь представляет что-то другое.

Что это значит? Что случилось с долготерпѣливой, многострадальной, с этой нашей Россіей? Шульгин сказал здѣсь вѣрное слово: Россія чего-то испугалась. И будем ли мы удивляться? Вы, может быть, видѣли воинскую часть в минуту паники. Это — та же геройская часть, которая раньше ничего не боялась, та же часть, которая

завтра ни перед чѣм не уступит, но в минуту паники она не слышит голоса разума, и губит себя, не разсуждая.

Отчего бывает паника в войскѣ? Причина только одна: войско перестает вѣрить вождям, войско чувствует, что распоряженія властей безтолковы и вредны, чувствует, что заботятся не о нем, что его ведут к гибели; тогда в войско закрадывается страшный слух: "нам измѣнили", и когда это случится, тогда потерян смысл общаго дѣла потеряна способность повиновенія, каждый начинает думать — спасайся, кто может, — и паника наступает.

И вот нѣчто подобное подходит к Россіи. И будем ли мы этому удивляться? Вѣдь на всем протяженіи Россіи и среди самых различных политических партій ежедневно с отчаяніем ставят один и тот же вопрос: гдѣ же наше правительство? Кто управляет Россіей? Кто хозяин этого громаднаго хозяйства? Кто заботится о ней, чему эти люди служат, куда они нас ведут? Обо что разбиваются всѣ попытки что-то исправить? Кого, господа, кого, спрашиваем мы, наконец, слушают у тѣх источников власти, куда к несчастью, повидимому, уже не доходит единодушный голос страны?

И эти вопросы ставим не мы, не мы — Государственная Дума, — которые все забыли и простили, которые поддерживали эту власть и молчаніем, и словом, и дѣлом; не общество, которое пошло с ней работать и ей помогать; не революція, к которой, якобы, мы призываем, — та революція, которая сразу остановилась при началѣ войны и которую не может расшевелить пока провокація умышленная и неумышленная.

Не мы поставили перед Россіей этот вопрос, но сама власть вот уже 27 мѣсяцев, сама на глазах у нас, которые желают знать, как ее защищают, на глазах у Европы, которая желает знать, что дѣлает ея союзник, сама власть 27 мѣсяцев систематически и упорно топит всякое довѣріе к себѣ, уничтожает возможность себѣ вѣрить, уничтожает весь капитал, который был ей отпущен.

Война — это высшій экзамен для власти. Никогда власть не должна быть так едина, так сплочена, так увѣрена в своем положеніи, так увѣрена в том, что ее слушают. Ну, а наша власть? Этот министерскій калейдоскоп, когда мы даже не успѣваем разсмотрѣть лицо тѣх министров, которые падают. Этот кабинет без программы, эти отдѣльные министры без своих взглядов на дѣло, без довѣрія друг к другу, без признаков солидарности. Эти непонятныя возвышенія и столь же непонятныя опалы и паденія, политическій ребус, который разгадать могут только гадалки и знахари.

И в результатѣ всего — правительство Штюрмера. Того самаго Штюрмера, который думает, что этими мелкими средствами можно что-то скрыть и утаить, того Штюрмера, который для того, чтобы оправдать свою невозможность явиться сюда, назначает засѣданіе Государственнаго Совѣта одновременно с нами, чтобы имѣть воз-

можность туда под благовидным предлогом уйти. Того Штюрмера, который, чтобы Европа не узнала про то, что он дѣлает, под этим же предлогом уводит туда и представителей иностранных держав, Того самаго Штюрмера, который думает скрыть от Россіи то, что он дѣлает, бѣлыми мѣстами в печати, цензурой и всѣм тѣм, что ей сопутствует. Да, господа, они, может быть, привыкли лгать около Трона, они могут обмануть своего Государя. Но Россіи они не обманут, Россія знает им цѣну. *(Рукоплесканія в лѣвой части правой, в центрѣ и слѣва; голоса: браво).*

Когда мы видим, что происходит, мы с горечью говорим: вот оно, правительство Великой Россіи во время Великой Войны, в то время, когда на картѣ стоит вся будущность нашего государства. А на это наши доброжелатели нам говорят: господа, подождите, все исправится, все пройдет, все улучшится; щадите самолюбіе, щадите престиж, идите осторожно тоже путем тайной интриги, и негодные люди уйдут.

Они нам говорят, но я вспоминаю, чего стоила Россіи негодность властей, которая была нам извѣстна. Я напомню вам один из ужасных эпизодов нашей войны — позорное паденіе первоклассной Ковенской крѣпости. Когда она пала, нашли виноватаго — коменданта Григорьева; он был осужден уже послѣ паденія крѣпости. Но мы-то вѣдь знаем, что когда Ковенская крѣпость не была еще окружена, когда нѣмцы только к ней приближались, в это время к нам доходили отчаянные крики ковенских офицеров.

Они нам писали: Григорьев крѣпости не защитит, он ее даже не защищает. К нам доходило их убѣжденіе: при Григорьевѣ крѣпость пропала. И мы дѣлали, что могли, мы тоже кричали, но только в пол-голоса, чтобы не пробудить лишней тревоги; мы тоже говорили про это, кому было можно, ходили всѣми путями, для нас доступными, не тревожа настроенія арміи, опасаясь, что это может дойти и до нѣмцев. Мы, господа, сдѣлали, что могли, но тут на этой трибунѣ, мы все же молчали, мы не сказали ни слова.

И что же? У Григорьева не было довѣрія снизу, но зато к нему было довѣріе сверху. У него было все то, что покупает это довѣріе сверху: был умѣніе не волновать, а успокаивать, была наверху репутація, что он сдѣлает все, что дѣлать нужно, была протекція и связи, была, навѣрное, и преданность режиму, было все то, чѣм держался сам Сухомлинов. И Григорьев был навязан этому гарнизону. Григорьев остался во главѣ Ковенской крѣпости, и за это довѣріе сверху и за наше молчаніе Россія заплатила позором и паденіем Ковенской крѣпости. И вот этого, мы уже не забудем. Григорьев — это эмблема.. Один комендант парализовал силу всего гарнизона, цѣлой арміи, туда заключенной. Мы это знали и видѣли, мы говорили об этом, но сверху об этом узнали, только, когда было поздно, когда крѣпость уже пала.

И вот наше правительство сейчас тоже парализует силу цѣлой Россіи. Оно тоже уйдет, когда будет поздно, но теперь, в настоящее время, оно все еще держится, и в этот момент сосредоточенія всѣх сил на единую цѣль, в этот момент мы должны тратить и время, и энергію, и силу, чтобы бороться с правительством Штюрмера.

И я признаю тот упрек, который возводят на нас: зачѣм тогда мы промолчали? И я готов сказать даже Ковенскому гарнизону: почему вы слушались дисциплины, почему вы тогда не пошли на все, чтобы сказать громче, чѣм вы говорили, что при Григорьевѣ крѣпость погибнет? Да, это можно сказать. Я спрашиваю сейчас нас, членов Думы, мы, которые знаем, к чему приведет наше правительство, — имѣем ли мы какое-нибудь оправданіе, какую-нибудь отговорку, если мы промолчим, и это наше заявленіе не сдѣлаем центром нашей новой политики. *(Голоса слѣва: "вѣрно")*. И страна, которая глядит на то, что происходит, страна с тревогой спрашивает себя, почему — я скажу больше, — за что Россіи навязывают то правительство, которое погубит Россію? Что же это? Случай? Нѣт, господа, это не случай, это система. Это не случай, когда мы вѣдь знаем, чот довѣріе страны у нас низвергает министров, а ея ненависть их укрѣпляет, когда мы знаем, что элементарное требованіе, записанное в каждой политической азбукѣ, чтобы страна вѣрила тѣм, кто имѣет претензію ею руководить, что это требованіе было объявлено несовмѣстимым с основными законами. Нѣт, это не случайность, это режим, это проклятый, старый, отжившій, но еще живучій режим, который основа всего. *(Голоса слѣва: "браво, правильно")*. Он объясняет всю нашу политику, он в корнѣ неожиданных возвышеній и столь же неожиданных опал, он объясняет всѣ повороты, всѣ зигзаги политики. Старый режим и интересы Россіи теперь разошлись, и перед каждым министром стоит дилемма: служить ли Россіи или служить режиму? Служить одновременно тому и другому так же невозможно, как служить мамонѣ и Богу. *(Продолжительныя рукоплесканія в лѣвой части правой, в центрѣ и слѣва. Голоса: "Браво")*. Когда страна, — которая больше наблюдает, чѣм это, кажется, думают, — когда страна видит все это, видит, что у власти появляются только люди этого режима, видит только его фаворитов, его ставленников, видит во всем его руку, видит его пріемы, тогда она невольно спрашивает себя: а что если во время войны интересами Родины они будут жертвовать в угоду режиму? Мы касаемся здѣсь той щекотливой области, которой не коснуться нельзя; мы знаем, что удаленная, высоко стоящая верховная власть только через какіе-то органы знает о том, что дѣлается в Россіи; она может слышать голос Думы, может слышать и голос правительства. И мы спрашиваем себя, не лгут ли ей тѣ, которые с ней говорят, не скрывают ли от нея правды тѣ, кто имѣет привилегію пользоваться ея довѣріем? И к кому идет это довѣріе? Я вспоминаю слова Пуш-

кина. В 30-х годах он говорил: "Бѣда странѣ, гдѣ раб и льстец одни приближены к престолу". Да, господа, рабы и льстецы и во время Пушкина, как и теперь, вѣчные спутники высокаго мѣста; но им цѣну знали, рабов и льстецов не слушали. А теперь, видя, что происходит, страна спрашивает себя с недоумѣніем: а что, если теперь там им вѣрят больше, чѣм своему же правительству? Что, если для этих людей интересы режима важнѣе интересов и чести Россіи? И когда такіе вопросы ставятся ежедневно и нѣт на них отвѣта или отвѣты зловѣщіе, то будем ли мы удивляться, что в странѣ распространилась эта смута ума, которой не разсѣют ни краснорѣчіе Маркова, ни репрессіи Штюрмера, ни та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в Государственную Думу, в ея большинство. И когда дѣло доходит до этого, то наступает предѣл русскому долготерпѣнію.

Долготерпѣніе Россіи велико, как велика Россія сама. Но эта война всему показала предѣл. Мы уже видим предѣл в людском матеріалѣ, видим предѣл в средствах питанія и мы говорим: есть предѣл и нашей покорности, есть предѣл нашему долготерпѣнію. И пусть не думает Марков 2, что я, как и другіе, зовем к революціи. Звать к ней не нужно.. Революцію умышленно вызывают с министерских скамей: с ней сражаться удобнѣе. Но опасность, грозная опасность — совершенно иная.

В момент такой войны, которая требует такого напряженія, мало одной пассивной покорности. Россію против воли никто воевать не заставит. Россія принесла много жертв и будет приносить их и дальше, Россія ни перед чѣм не остановится, она добровольно не пойдет в холопы к Вильгельму, но Россія принесет эти жертвы на алтарь Родины для нашей побѣды, а не во славу этих людей, для чести и удовольствія имѣть их во главѣ государства. *(Продолжительныя рукоплесканія центра, лѣвой и справа).*

И я скажу вам другое. Не возстаніем вам отвѣтит Россія, я на это надѣюсь. Но я боюсь, что она отвѣтит вам тѣм, чего признаки мы уже видим: упадком духа, уныніем, равнодушіем и апатіей. Не Курловы и не Бѣлецкіе, не они поднимут этот дух. А вѣдь если это случится, господа, тогда наше дѣло будет, не говорю проиграно, но так скомпрометировано, что я не знаю, что должно произойти, чтобы дух и бодорсть Россіи вернулись. Но если это случится, если, спекулируя на этом упадкѣ, нас приведут к позорному миру, миру в ничью, о, тогда я говорю смѣло: тогда берегитесь, потому что позорнаго мира, мира ни в чью, Россія не простит никому. *(Рукоплесканія центра, лѣвой и справа, голоса: "браво").* Она знает, что если бы это совершилось — не Германія нас побѣдила, а побѣдили нас здѣсь, в тылу, побѣдил этот проклятый режим, представители котораго смѣняют друг друга на министерских мѣстах. И тогда Россія позовет всѣх к отвѣту, пощады не даст никому, я повто-

ряю никому. *(Продолжительныя рукоплесканія центра, лѣвой и вправа; голоса: "браво")*. Государственная Дума тогда не будет просить ее ни для кого. Вот куда нас ведут. И когда я вижу все это, я спрашиваю себя о том же, о чем спросило себя большинство Государственной Думы: что же нам дѣлать, в чем наш долг? И правы тѣ, которые говорили: прежде всего наш долг — это сказать все до конца. Сказать, потому, во-первых, что время еще не упущено: Россія сейчас как воинская часть перед паникой; по инерціи еще стрѣляют ружья, по привычкѣ еще повинуются власти, но подозрѣніе закралось — раздастся крик: "спасайся, кто может!" и всѣ побѣгут. Но если вмѣсто этого появится вождь, которому повѣрят, или выйдет кто-либо из их же среды, котораго они будут готовы признать за вождя, словом, если появится власть, эта часть будет стоять так же твердо, как стояла и раньше.

То же будет с Россіей. Время еще не ушло. Если Россія увидит, что ей навстрѣчу пошли, что властью назначены не слуги режима, а слуги Россіи; если она у власти увидит людей, которым может повѣрить, то Россія, которая не хочет ни пораженія, ни революціи, Россія ухватится за эту власть, окружит ее полным довѣріем и вмѣстѣ с властью исправит всѣ недочеты нашего тыла.

Но это нужно сдѣлать сейчас, не откладывая ни единаго дня. Россія еще может встрепенуться тѣм старым подъемом, который мы уже видѣли. Она встрепенется, и тогда горе Германіи. И потому — долг Государственной Думы засвидѣтельствовать перед тѣми, кто имѣет очи, чтобы видѣть, и уши затѣм, чтобы слышать, засвидѣтельствовать перед ними, что это правительство и страна болѣе несовмѣстны. Этому правительству страна ни при каких условіях повѣрить не может. И если это правительство не утратило довѣрія сверху, то я скажу от имени страны: неужели страна послѣ стольких доказательств лойяльности не заслужила того, чтобы не заставляли ее идти за тѣм, кого она считает безумцем или измѣнником? Неужели страна не заслужила того, чтобы к ея душѣ, к ея совѣсти отнеслись с уваженіем? И мы, Государственная Дума, представители этой страны, мы должны сказать, и больше, должны показать, что в этом конфликтѣ страны и правительства наше мѣсто не на сторонѣ правительства. Мы должны сказать, чтобы было всѣм ясно, что пришло время выбора: или мы или правительство. Интересы страны или сохраненіе у них их портфелей? Удовольствіе тѣх, кто их получил, или интересы родины и всего государства?

Мы же работать с этим правительством больше не можем. Мы можем ему лишь мѣшать, как оно нам мѣшает, но совмѣстная работа с ним стала для нас невозможна.

Вѣдь, если мы в чем-нибудь и упрекаем тѣх членов правительства, которым мы еще вѣрим, то только в том, что и они правду скрывают, что они не понимают, что в извѣстный момент им лучше

уйти, чѣм своим присутствіем поддерживать тот обман, которым пользуются болѣе хитрые и ловкіе люди. Да, я увѣрен, что не наше правительство, не министр юстиціи посовѣтовал освободить Сухомлинова; я вѣрю, что он не взял на свою совѣсть грѣха — сдѣлать арміи вызов и нанести величайшій урон достоянію, которое он, Министр Государя, обязан был охранять. Не он это совѣтовал, но он это стерпѣл, он остался тогда, когда помимо его, за его спиной, был выпущен Сухомлинов, и отвѣт перед родиной, отвѣт перед нами за это цѣликом лежит на Министрѣ Юстиціи. И мы, либо должны быть распущены и уступить мѣсто этой власти, или должны нашим поведеніем показать, что мы ее не покрываем и этой власти не терпим. Мы должны сказать всю правду, чего бы она нам ни стоила, как бы на нее ни посмотрѣли.

А если наш голос не будет услышан, если подобно тому, как бывает в исторіи, обреченный режим будет бояться тѣх, кто его может спасти, и вѣрить тѣм, кто его погубит вмѣстѣ с собой, если будет распущена Дума, — как будто можно распустить всю страну, — если на наших глазах будет зажжен пожар, на котором спалят доброе имя и національную будущность родины, то тѣм больше мы должны все сказать. Сказать затѣм, чтобы там, в странѣ, знали, что, по крайней мѣрѣ, мы не измѣнники, чтобы сбитая с толку страна не подумала о Государственной Думѣ: в этот момент вы промолчали, вы тоже нас предали. И если власть пойдет на авантюру и поведет нас к катастрофѣ, то Дума еще может понадобиться. Она еще может стать в будущем единственной опорой власти, единственным оплотом порядка.

Но чтобы она смогла это сдѣлать, нужно, чтобы она имѣла право, не краснѣя, взглянуть в глаза нашей родинѣ. И потому мы заявляем этой власти: либо мы, либо они. Вмѣстѣ теперь наша жизнь невозможна. *(Продолжительныя и бурныя рукоплесканія центра, лѣвой и справа; голоса: "браво").*

В. А. МАКЛАКОВ
1935 г.

ПЕРІОД ЭМИГРАЦІИ

Из третьяго періода (эмигрантскаго), который продолжается с 1927 г. по настоящее время, взята только одна рѣчь, сказанная в Сорбоннѣ на Праздникѣ Русской Культуры в 1926 г. Это объясняется рѣшеніем Комитета помѣстить в сборникѣ только то, что не было напечатано за-границей. Потому другія рѣчи, которыя вышли здѣсь отдѣльными книжками (как например, "Толстой и большевизм" и друг.), а также и рѣчи, подробные отчеты о которых были напечатаны в здѣшних газетах, в сборник включены не были.

РѢЧЬ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ «ДНЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

В ПАРИЖѢ 6-го ІЮНЯ 1926 г. В СОРБОННѢ)

Вскорѣ послѣ признанія Франціей совѣтской власти, в средѣ эмигрантов, превратившихся с тѣх пор в апатридов, возникла мысль о ежегодном праздновaніи "Дня Русской Культуры", пріурочивая это празднованіе ко дню рожденія Пушкина. Цѣлый ряд профессіональных и гуманитарных общественных организацій объединились для этого празднованія, создав спеціальный "Комитет". В него входили организаціи без различія их политических окрасок, т. е. тѣ организаціи, которыя нормально себя противопоставляли друг дрўгу; так напримѣр, академическая группа и академическій союз, союз адвокатов и объединеніе адвокатов, Красный Крест и Земгор и т. д. В Комитетѣ поэтому были два противоположные фланга, каждый из которых выбирал своего товарища предсѣдателя, предсѣдателем же был непартійный по должности человѣк, предсѣдатель Эмигрантскаго Комитета. Этот Комитет вплоть до оккупаціи 1940 года ежегодно устраивал празднества, посвящая их памяти того или другого дѣятеля русской культуры. Он имѣл большой отклик в средѣ эмиграціи. Конец им положила оккупація Франціи. Послѣ освобожденія "Комитет Дня Русской Культуры" был возстановлен в 1947 г., но поневолѣ на нѣсколько иных основаніях, в связи с происшедшими сдвигами в средѣ русской эмиграціи во Франціи.

6-го іюня 1926 года было одно из самых *первых,* по времени, собраній, устроенных Комитетом; на нем выступал П. Н. Милюков с докладом "Пушкин и А. Я. Чаадаев". В. Маклаков, как предсѣдательствовавшій, посвятил свое слово самой идеѣ "Праздника Русской Культуры".

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ПУШКИН

РѢЧЬ В. А. МАКЛАКОВА

Идея праздника Пушкина уже имѣет краткую исторію и довольно убѣдительный опыт. Несмотря на печальныя, хотя и неизбѣжныя тренія, в общем опыт удался. Положительныя стороны идеи оказа-

лись сильнѣе препятствій. Пушкинскіе дни не заброшены послѣ первой попытки, а повторяются все в большем и большем масштабѣ; они расширяют свое основаніе, становятся праздником вообще Русской Культуры; им удается стать и внѣ политических партій, т. е. стать праздником *всей* эмиграціи.

Достаточно произнести это слово, чтобы понять, однако, что *таким* этот праздник остаться не может. Пушкин мог заставить нас забыть свои здѣшнія разногласія; не он отдѣлит нас и от оставшейся дома Россіи. Пушкина можно не трогать; но раз он был назван, его праздник не может быть ни праздником партіи, ни праздником всей эмиграціи; он может быть только днем національнаго русскаго праздника.

Сегодняшнее собраніе первое в рядѣ других; естественно, если первое слово на нем будет посвящено не Пушкину, а идеѣ этого праздника; это тѣм позволительнѣй, что в ней самой много глубокаго смысла.

Символична самая ея постановка. Національные праздники — явленіе совершенно естественное; если отдѣльный человѣк празднует свои именины, почему не дѣлать этого государству? Но всѣ государства, которые знают этот обычай, выбирали для подобнаго праздника событія своей *государственной* жизни. Государств так много, что их всѣх прослѣдить невозможно; но так поступают главныя, законодатели политических мод, и тѣ, которыя из снобизма им подражают. Событія государственной жизни могут быть очень различны: день объявленія независимости, как в Америкѣ, или побѣда народнаго мятежа, как во Франціи; однако и то и другое, несмотря на все их различіе, одинаково явленія *политическія*. Даже новыя государства, которыя родились послѣ войны, которым приходилось выдумывать и флаги и гимны, и тѣ, устанавливая національные праздники, брали для них дату своей кратковременной *государственной* жизни. А Польша обратилась к своей прежней исторіи — к эпохѣ наканунѣ паденія, к политическому событію 3-го мая. Словом, національные праздники повсюду пріурочивались к *этим* событіям; они представлялись самыми важными и показательными; "политика" заслоняла все остальное.

У нас в Россіи не было національнаго праздника. Ни в одной странѣ не было такого обилія праздников, как у нас. На ряду с узаконенными церковными праздниками были и самочинные. Так, в мѣстах, гдѣ я жил, усердно праздновали Ильинскую пятницу, которую ни в одном календарѣ найти невозможно. Но для русскаго государства среди таких праздников особеннаго дня не нашлось, Офиціальный мір знал многочисленные царскіе дни; но эти дни мѣнялись в каждое царствованіе, что показывает, что они и не претендовали считаться праздниками в честь государства. И хотя у нас болѣе, чѣм гдѣ бы то ни было, было замѣтно преобладаніе

государства в жизни страны, хотя історія наша богата государственными событіями, полными драматизма и содержанія, наш офиціальный мір из всей нашей исторіи не сумѣл выбрать ни одного событія для *національнаго* праздника.

Возьмем другой полюс — нашу "общественность", слово всѣм нам понятное, но которое на иностранный язык перевести невозможно и смысл котораго иностранцам нельзя втолковать. Она пыталась сама создать день Національнаго праздника. В дни моей юности его старались приспособить к 19-му февраля. Казалось бы лучшаго дня найти невозможно; всѣ элементы страны в нем приняли участіе. Его сдѣлала *власть,* он отвѣчал желаніям нашего *общества,* он, наконец, имѣл объектом *народ.* В рѣчах, которыя произносились по этому поводу, этот день любили сравнивать с взятіем *нашей* Бастиліи. Все это было краснорѣчиво, но ничего не вышло из этой попытки. День 19 февраля національным праздником все же не сдѣлался и был использован только как предмет для политической демонстраціи.

Словом, в Россіи не было національнаго праздника; самая мысль о нем сочувствія не встрѣчала. И это понятно: там, гдѣ есть реальность, не нужно символов: в домѣ, гдѣ всѣ еще живы, не нужно портретов членов семьи. Пока была жива русская государственность, мы часто ее осуждали, даже с нею боролись; но мы не замѣчали того блага, которое, несмотря на всѣ ея недостатки, ежедневно от нея получали; а, главное, даже и не представляли себѣ, что когда-нибудь ее потеряем. Что мысль о національном праздникѣ родилась среди эмиграціи — есть тоже символ. Мы *здѣсь* почувствовали всю жестокую правду тѣх слов, которыя мы, когда у нас еще была государственность, с каким-то пророческим предвидѣнієм оцѣнили у поэта, котораго и любил и переводил Пушкин. Из всего "Пана Тадеуша" мы знали только его первыя строки, которыя Мицкевич написал, когда тоже был в эмиграціи:

"Отчизна милая, подобна ты здоровью,
Тот истинной к тебѣ исполнится любовью,
Кто потерял тебя".

Когда судьба привела нас самих испытать силу этих выстраданных в эмиграціи слов, нам стал нужен національный праздник Россіи; нужен, как символ, что Россія жива, хотя и запрещено ея имя; как символ того, что мы не только бѣженцы с паспортами доктора Нансена, но граждане родины, которую у нас не отняли и не могут отнять никакіе декреты; что несмотря на всѣ разномыслія, всегда острыя в эмиграціи, есть нѣчто, что выше всего, что соединяет нас между собой и с тѣми, кто остался в Россіи.

Но если *нам* нужен день національнаго праздника, можем ли

мы искать его в событіях нашей *государственной* жизни? Мы можем мечтать и надѣяться, что в будущем эти событія сложатся так, что создастся опредѣленный день радостнаго перелома, день обновленія и примиренія, в котором всѣ признают дату національнаго праздника, уподобя его взятію Бастиліи или хотя бы 11-му ноября, окончанію великой войны. Но это тайна будущаго, быть может даже не близкаго. Но в прошлом нашем нѣт даты, которая не вызывала бы теперь грустных воспоминаній, не казалась бы днем обманутых надежд, совершонных ошибок, или даже просто "днем великой печали". Нѣт дня в нашем прошлом, который мог бы *всѣх* слить воедино.

И потому мысль эмиграціи пошла по другому руслу: в отличіе от других государств, от обычаев всѣми усвоенных, она день національнаго праздника стала искать не в событіях *государственной* жизни, а в явленіях жизни *культурной;* и днем, который ни в ком не может вызвать ни сомнѣній, ни разногласія, днем радостным и торжественным, полным историческаго смысла для нас, она выбрала день рожденія того мірового гиганта, котораго мы счастливы имѣть право называть *своим національным* поэтом, день рожденія Пушкина.

Но мы уронили бы значеніе этого выбора, если бы объяснили его одной невозможностью найти подходящую дату в событіях *государственной* жизни. Пусть это нововведеніе всего больше зависит от несчастных и преходящих условій, которыя переживает Россія;в этих условіях еще не *весь* смысл этого выбора. Он имѣет причины болѣе общія, чѣм может казаться, и предпочтеніе *культурнаго* дня в *наше* время имѣет другой символическій смысл.

Кто вздумает в наши дни отрицать государственность, как громадное достиженіе?Мы не мыслим человѣка внѣ общежитія, а общежитія внѣ государства. Анархизма, как серьезной теоріи, не существует; мы грѣшили скорѣе в обратную сторону. В наше время создалась мистика государства, преклоненіе перед ним. Любопытное явленіе, над которым стоит подумать; поклоненіе государству совпало по времени с общим и болѣзненным кризисом государств. Чѣм глубже этот кризис, доходящій до катастрофы, как напримѣр в Россіи, у нас, тѣм болѣе растут претензіи государства не знать ничего *выше себя.* И невольно на мысль приходит вопрос: не оттого ли и родился этот кризис, что слишком велики стали претензіи государства, слишком рѣзко несоотвѣтствіе их с тѣм, чѣм *может* быть государство? Вот почему в это переходное время так естественно вспомнить, что на ряду с *государственной* формой, в которую сложился народ, есть совокупность того свободнаго без всякой принудительной силы народнаго *творчества,* которое развивается по другим основаніям и которое мы называем *культурой.* Пусть эти области связаны, пусть одна в сущности покрывает дру-

гую; пусть всякое разграниченіе и особенно опредѣленіе их будет искусственным: мы все-таки понимаем их разницу. Да простится банальность сравненія; эти понятія находятся в том же соотношеніи между собой, как духовная жизнь человѣка и его тѣлесная оболочка. Как их раздѣлить и опредѣлить? Но от этого мы их не смѣшиваем; болѣе того, тѣ измѣненія, которыя происходят у всѣх на глазах с тѣлесной оболочкой, заставляют нас понимать, что жизнь человѣка *ею* не исчерпывается. Мы знаем, что когда плоть немощна, дух может быть все-таки бодр; знаем, что когда тѣлесная оболочка вовсе *разрушена,* от человѣка может что-то остаться, перейти к другим, как духовное наслѣдство покойнаго. "Весь я не умру", говорил Пушкин. Не то же ли происходит с государственными объединеніями? Они тоже не вѣчны, тоже болѣют, а иногда исчезают; мы это недавно наблюдали собственными глазами. И, вспоминая про это, мы яснѣй постигаем, *в чем* состоит самостоятельная сила національной культуры. Мы видѣли примѣры, как государственность исчезала, как народ на полтора вѣка терял свое государство и все-таки воскресал потому, что сумѣл не потерять своей національной *культуры.* Уцѣлѣвшая культура возрождала умершее государство, как бы иллюстрируя обѣты писанія о воскресеніи *тѣл.* Я существую потому что мыслю — говорил великій мыслитель; так и народ живет своей національной жизнью потому, что имѣет культуру, а не потому, что он втиснут в рамки принудительнаго объединенія — государства. Это полезно не забывать.

День "культуры" таким образом полон значенія; он не суррогат дня государственности; он самостоятельная дань понятію національной культуры. Но в этом праздникѣ есть еще одна сторона; входя в эту область, мы освобождаемся, хотя бы на время, от засилія многих представленій, навыков и суевѣрій, которыя на нас наложила современная "государственность".

Фигура Пушкина, например, сама по себѣ есть отвѣт на модное суевѣріе *о всемогуществѣ государства.* Сейчас это суевѣріе особенно расцвѣло. По мѣрѣ того, как государственная власть переставала быть удѣлом немногих и переходила в руки народа, особенно в руки тѣх элементов, которые раньше возставали против злоупотребленій власти, защищали против нея права и свободу отдѣльных людей, по мѣрѣ этого не уменьшалась, а росла вѣра во всемогущество государственной власти. Государство все *смѣет* и все *может,* — вот чему вѣрят теперь. Государство все *смѣет:* и против суверенной "воли народа" нѣт прав "Человѣка и Гражданина", как наивно выражались когда-то отсталые дѣятели времен Революціи. Государство все *может:* достаточно его повелѣнія, чтобы устроить по справедливому всю жизнь страны и установить общее счастье. Много горьких разочарованій принесет человѣчеству эта надежда, даже в тѣх областях его жизни, которыя болѣе доступны воздѣйствію

государства. Много раз будет ему суждено убѣдиться, что законы природы, даже человѣческой, сильнѣе законов, которые издает государство. Но нигдѣ безсиліе государства не обнаруживается с такой яркостью, как в области культуры, особенно при встрѣчѣ с гигантами вродѣ нашего Пушкина. Может ли государственная власть, при всем напряженіи своего аппарата, *создать* Пушкина? Государство сильнѣе его, но в чем? Оно может его затравить, искалѣчить и уничтожить; оно в силах отнять его у народа; но *создать* его оно безсильно. В области культуры обнаруживается истинное назначеніе государства: *создавать для народа условія, в которых может развиваться и процвѣтать его свободная дѣятельность.* Это очень много, но это и все. Если государство самонадѣянно претендует на большее, если оно захочет націонализировать культуру, как націонализировало имущества, захочет исправлять и направлять духовное творчество своих подданных, заставить его служить своим государственным цѣлям, то это та хула на Духа Святого, которая ему не простится. Государство понесет за нее наказаніе. Культура, свободное творчество сумѣют постоять за себя. На службѣ у государства окажутся уроды и каррикатуры, а истинная культура уходит в подполье, мстит государству насмѣшками, бѣжит из страны, гдѣ на нее посягают, или просто-напросто *гибнет.* И горе государству, которое будет считать эту гибель *своею* побѣдой.

Есть еще суевѣріе, которое обличается просто ссылкой на Пушкина. Мы живем в демократическій вѣк, под властью демократических принципов. Один из них — принцип равенства, вѣра в права большинства, в преимущество коллективнаго разума. В области государственной жизни человѣчество давно идет по этой дорогѣ, и она еще не пройдена до конца. Старый принцип "аристократіи" забыт и отвергнут. Но перейдем в область культуры, и принцип "аристократіи" в том вѣчном смыслѣ, на который указывает самое слово, в архив не сдан и никакой демократизм не станет с ним спорить. Я не буду вникать, существует ли вообще коллективное творчество. Но если оно даже есть, никакая коллективная работа, ничьи коллективныя усилія уровня "генія" не достигнут. Этой "аристократіи" демократизм не уничтожит. В области культуры — и притом совершенно безразлично какой — существуют "избранники милостью Божьей" и вожди — "по Божьему изволенію, а не многомятежному человѣческому хотѣнію", как писал Курбскому Грозный. Есть эти вожди, которые сами всѣх покоряют, которых радостно всѣ признают и водительство которых не только никому не приносит вреда, но никого не обижает: *таких* вождей не может искусственно создать ни велѣніе государства, ни воля народа; они помазанники собственной силы, как говорил Хомяков; их сама судьба посылает народу.

Но все связано между собой; гдѣ есть "герои", есть и "толпа", гдѣ есть "вожди", есть и "народ". У толпы, у народа есть и свои

права; плохо им, если они выходят за их предѣлы, претендуют на большее; но плохо и героям, если они народных прав не замѣчают, или не признают. Пушкин нашел жестокія слова для "черни пустой"; он ей сказал: "подите прочь!". За это гордое слово Бѣлинскій его осуждал. Это несправедливо; слова Пушкина относились не ко всякой, а только к той *претенціозной* толпѣ, которая осмѣлилась диктовать *свою* волю поэту, задавать ему *свои* темы. Чернь в изображеніи Пушкина та самая, про которую он говорил в своем отрывкѣ из Пидемонте: "зависѣть от властей, зависѣть от народа, не все ли мнѣ равно?". Этой самодовольной и высокомѣрной толпѣ Пушкин имѣл право бросить слова, которыя он сказал бы и властям за попытку предписать ему тему для творчества,— procul este, profani. Но не *всегда* и не *всякая* толпа такова. А главное вѣдь и сами вожди исполняют свое назначеніе только тогда, когда *ведут* за собою других. Пусть не всѣх и не сразу; но если за ними *никто* не идет, если они остаются непонятными и чужими, если вся их работа будет "мертвый слѣд, подобный узорам надписи надгробной на непонятном языкѣ", то и они пройдут по этой землѣ, без всякой пользы. Тогда "пѣсня их безслѣдно пролетѣла", как говорил другой поэт, другого поколѣнія и формаціи, но который тоже, как Пушкин, умѣл владѣть умами и "ударять по сердцам с невѣдомой силой". Нельзя посягать на права и свободу вождей; но есть своя роль и права у толпы. Я не могу слышать без раздраженія высокомѣрных слов: *"мы* создали Пушкина" или "Толстого". *Не мы* их создали; но у русскаго народа все же есть права на Пушкина и на Толстого. Они в том, что народ их понял и оцѣнил. Права Россіи на Пушкина — это тѣ сотни незнакомых людей, которые толпились у дверей его дома, когда узнали, что он умирает; это тот культ, которым народ окружил его память. Культ не создает божества и *его не возвышает;* но культ очищает и возвышает *молящихся*. Культом своих героев народ *пріобщается* к этим избранникам, но и отводит им мѣсто в исторіи. Это дает ему на них и права. Вліяніе вождей на народ, по опредѣленію Пушкина, — в том, что они умѣют пробуждать в нем добрыя чувства, умѣют найти доступ к тому доброму, что есть в народной душѣ. Эта способность отдѣляет любезных народу поэтов от развратителей-демагогов; отдѣляет их и от тѣх считающих себя существами высшаго порядка, влюбленных в себя, непризнанных геніев, которые смотрят на свой народ с высокомѣріем и равнодушіем. Эти непризнанные геніи не находят с ним ни общаго языка, ни общаго пониманія и остаются для него "мѣдью звенящей и кимвалом бряцающим". Здѣсь затрагивается великая тайна, взаимодѣйствіе *толпы* и *героев*.

В наше время, когда "государство" с своим принужденіем все заслоняет, эти законы культурной жизни полезно припомнить; в них тоже значеніе "культурнаго" праздника. Но если от общих понятій

перейти специально к нашей *русской* культурѣ, это станет еще очевиднѣй.

Это — щекотливая задача сопоставить русскую культуру и русскую государственность, особенно, если имѣть, как я, твердую цѣль никого не задѣть. В области государственных взглядов разногласія между всѣми нами не сгладились; положеніе бѣженцев их всегда лишь обостряет. Но на чужбинѣ мы лучше понимаем другое: что Россію нельзя уложить в опредѣленную партію, что она развивалась по-своему, что все то, что с нею случилось, было необходимо, и что в этом всѣ виноваты. Виноват каждый по-своему, своей особой виной, но виноваты рѣшительно всѣ. Сейчас не время заводить препирательства, обвинять непремѣнно друг друга, защищая себя; единственно, что умѣстно сейчас, это постараться уразумѣть, что случилось, а для этого — прежде всего признать то, что было.

Если так, то кто же из нас рѣшится отрицать величіе нашей прошлой государственности, всего нашего прошлаго, которое сумѣло создать страну, которая могла бы ни от кого не зависѣть и ни в чем не нуждаться? В день праздника Пушкина, краснорѣчиваго и убѣжденнаго поклонника Петра Великаго, могли ли бы мы легкомысленно посягнуть на красоту нашей исторіи? В этом мы всѣ *должны* быть согласны.

Но хотим ли мы этого, или нѣт, мы должны будем признать другое: что эта могучая государственность не вынесла испытанія. Тяжелое испытаніе обрушилось на всѣх, всѣх придавило; многіе и по сейчас не изжили ран, которыя оно им нанесло. Но именно мы, русскіе, которые с гордостью воображали, что время за *нас,* что *нас* свалить невозможно, что для *нашей* выносливости и сопротивляемости предѣла не существует, именно *мы* развалились раньше и полнѣе других. Пусть в этом повинны отдѣльныя лица или отдѣльныя направленія. Это не утѣшеніе. Если ошибки отдѣльных людей могли привести к таким результатам, это вина уже не их, а всей государственности, которая от этих ошибок свалилась. Это показывает, что она в своей совокупности была нездорова, что, как говорил человѣк, котораго никто не упрекнет в недостаткѣ патріотизма, мы были "колоссом на *глиняных* ногах", который оказался слабѣе многих из тѣх, на кого смотрѣл сверху вниз.

В нашей государственности была другая черта, которая теперь стала виднѣе; знакомясь ближе с жизнью Европы, мы лучше оцѣниваем, *что* наша государственность дала для других, *чему* она мір научила. Были моменты, когда нам казалось, будто мы, русскіе, несем с собою "новое слово", будто мы сильнѣе других, будто мы возстановляем в Европѣ порядок, и можем руководить другими народами. Знаменательно, что именно в такіе моменты нашей гордыни мы, под видом спасительнаго новаго слова, несли Европѣ тот самый яд, от котораго дома мы у себя погибали. Так было с Петербур-

том, в началѣ прошлаго вѣка, когда он был оплотом европейской *реакціи,* так с Москвой сейчас, когда она хочет быть руководителем міровой *революціи. Новыя* слова *нашей* государственности не удавались.

Сравним с этим нашу культуру; здѣсь другая картина. Культура наша была молода и скромна; она не считала своей жизни вѣками; чѣм была она до *Петра* и даже до *Пушкина?* Она смотрѣла на Запад снизу вверх, как ученик на учителя; не несла ему новых слов, а часто покорно ему подражала. И что же? Именно наша *культура* сумѣла поразить этот Запад; принести ему откровенія, двинуть его культуру вперед, оказать на нее то вліяніе, о котором на Западѣ догадались раньше, чѣм мы сами это замѣтили. В знаменитом стихотвореніи в прозѣ Тургенев нашел в "языкѣ" утѣшеніе от раздумія и отчаянія, в которое его повергли событія нашей *государственной* жизни. То же можно сказать про нашу "культуру", про наши духовныя достиженія. Благодаря им, только им, и теперь к нам не потеряли довѣрія, и думают, что мы *не можем погибнуть*. Русская культура оказалась могучѣй и живучѣй, чѣм наша русская государственность. И мы отдаем ей только заслуженную дань, когда выбираем *ее* для національнаго праздника. А для этой культуры есть ли болѣе радостный, содержательный и показательный день, чѣм день Пушкина? Вѣдь он из тѣх людей, которым, как сказал Вольтер про Ньютона, нельзя завидовать; он безспорен для всѣх.Достоевскій называл *пророческим* его явленіе. А Герцен задолго до Достоевскаго сказал знаменитую фразу, что на царскій приказ образоваться, Россія через сто лѣт отвѣтила чудесным явленіем Пушкина. Вот діапазон поклонников Пушкина, мѣра его обаянія для таких различных умов. Можем ли мы для русскаго національнаго праздника придумать лучшее, болѣе безспорное знамя?

Но условія, в которых мы празднуем день русской культуры, властно напоминают еще о том, что *сейчас* самое важное; о том, что наша культура переживает исключительно трудное время, что ея размах остановлен, что ей угрожает опасность и дома и здѣсь.

В этом залѣ я не хочу дѣлать политики, или ломиться в открытыя двери. Я могу не разсказывать, чему подвергается *дома* наша культура; мы это знаем; все, что только может сдѣлать дурного грубая, невѣжественная и самоувѣренная государственная власть, все это дѣлается. Она губит культуру не только тогда, когда с нею борется, но еще больше, когда воображает, что ей покровительствует. Пусть в Россіи остались герои, которые не перестали работать; пусть найдутся таланты, коих не сумѣют ни сломить, ни развратить. Но чего стоит им эта борьба с государством?

И потому, когда здѣсь, на чужбинѣ, обломки культурной Россіи стараются объединиться вокруг праздника русской культуры, они этим напоминают сами себѣ, что на *них* лежит историческій долг.

Если позволительно сомнѣваться, чтобы *отсюда* мы были в силах служить *государству,* то мы можем по крайней мѣрѣ служить нашей *культурѣ.* Во многих отношеніях мы для этого поставлены лучше, чѣм тѣ, кто дома. Наш долг поэтому беречь нашу культуру, развивать ее, распространять ее, знакомить с ней мір. Но мы должны все-таки помнить, что ей и здѣсь угрожает опасность.

Здѣсь опасность другая. В Россіи культура страдает от насилія государства, в Европѣ ей грозит соблазн европейских культур. Наша культура всегда славилась способностью воспринимать все чужое; в этом была одна из ея сильных сторон; на этом строил Достоевскій свою рѣчь в память Пушкина. Но сейчас в этом свойствѣ *угроза* для нея. Там, дома, на стволѣ національнаго дерева, прививки чужеземных культур опасности не представляли; мы могли их переработать, оставаясь сами собой. Иначе стоит дѣло среди эмиграціи, оторванной от земли и родного народа, живущей разсѣянной среди чужих людей и чужих иногда болѣе высоких культур. Наша способность приспособляться в этих условіях может привести и к тому, что чужое задавит и осилит наше родное. Если мы хотим выполнять нашу культурную миссію, мы должны *защищаться;* мы должны считать недостатком то, чѣм *прежде* в себѣ дорожили. Мы имѣем право быть нетерпимыми; это привилегія слабых; то, что отвратительно в сильном и побѣдителѣ, разрѣшается слабым и побѣжденным. Мы должны беречь свои культурныя достиженія со скупостью человѣка, который не имѣет права быть расточительным; мы защищаем послѣднее, защищаем то, что не нам одним принадлежит.

Есть и другая опасность для нашей заграничной культуры; она может сдѣлаться не столько русской, сколько исключительно эмигрантской. Своей миссіи тогда она не исполнит. Эмиграція явленіе преходящее, не живущее дольше одного поколѣнія; второе ея поколѣніе вернется в Россію, либо сольется с Европой. Культура, которая была бы понятна и близка лишь для одной эмиграціи, прошла бы безслѣдно. Но эта опасность не страшна, если мы ее понимаем, если своей національностью мы дорожим *больше,* чѣм сліяніем с иностранцами. Тогда в этом случаѣ мы будем держать ревнивую связь со своим *прошлым, им* будем питаться; а через него мы поддержим и связь с современной Россіей. В одном вѣдь нельзя сомнѣваться: и мы и они там, в Россіи, одинаково послѣдствія нашего *прошлаго;* как ни различна наша судьба и наши взгляды, мы *всѣ* вышли *оттуда,* всѣ *им* одинаково созданы. Чѣм болѣе воображают в Россіи, что современныя событія принесли в нее нѣчто новое, чѣм больше владыки момента отрицают стараго, тѣм больше Россія возвращается к этому старому, уходит вглубь того темнаго и печальнаго прошлаго, от котораго она начала было освобождаться. Когда Россія излѣчится от большевистскаго гнета, станет сама собой, она не будет похожа на ту, в которой мы жили; но и эта будущая и неизвѣстная Россія

будет тѣсно связана со старой, вырастет из нея, как растеніе вырастает из сѣмени. Если и мы тоже не разорвем с этой *старой* Россіей, мы в новой Россіи не окажемся иностранцами, и несмотря на всѣ наши различія мы *друг друга* поймем. У нас останутся с ней общія исходныя точки, общія воспоминанія, радости и сожалѣнія. И если мы не перестанем сознавать, что нам придется еще жить вмѣстѣ с той новой Россіей, которая сейчас так болѣзненно там создается, мы будем стараться не столько от нея отмежеваться, сколько *ее понимать*.

Вот тѣ различныя мысли, на которыя наводит праздник русской національной культуры; их полезно продумать; в них есть и воспоминанія, и утѣшеніе, и призыв.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.